

**И. ЭКОНОМЦЕВ**

**ЗАПИСКИ**

**ПРОВИНЦИАЛЬНОГО**

**СВЯЩЕННИКА**

# ЗАПИСКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО СВЯЩЕННИКА

*25 мая 1985 г.*

*Я* получил должность приходского священника в захолустном городке Сарске.

За назначением мне нужно было явиться в епархиальное управление областного центра, куда я и прибыл рано утром московским поездом. Выйдя из вагона, я прошел на привокзальную площадь и встал в очередь на такси. Народу на стоянке было много, и взоры окружающих сразу обратились на меня. Одни меня рассматривали прямо, в упор, другие бросали в мою сторону короткие любопытные взгляды. Очередь представляла собой беспорядочную плотную толпу, и только вокруг меня образовалось некоторое свободное пространство — своего рода магический круг, пределы которого никто не решался переступить. Это было табу: я был отверженным, неприкасаемым, и место вокруг меня было проклято. Да, конечно, не случайно латинское слово «сацер» — от него и происходит «сацердос» (жрец, священник) — означает не только «священный», «святой» «внушающий благоговение», но и «преданный проклятию».

К этим устремленным на меня взглядам, в которых сквозило любопытство, беспокойство, а порой и страх, презрительная ирония и даже ненависть, за десять лет священства я так и не смог привыкнуть. Чувство собственной отверженности было мучительно для меня. И все-таки я никогда не снимал рясу и не делал попыток, надев на себя маску, затеряться в толпе, притворившись таким же, как все. Это было бы обманом, кощунственным нарушением данного мною обета. Я нес свой крест. И к тому же я знал, что «магический круг», отделивший меня от мира, вовсе не есть непреодолимая стена, да его, собственно говоря, и не существует — он только порождение диавольского внушения, и достаточно одной Божией искры, чтобы это стало очевидно для всех. Вот и сейчас... Ко мне вдруг приблизилась пожилая женщина, стоявшая в начале очереди.

— Батюшка, проходите, — сказала она спокойно и просто.

— Спасибо, не беспокойтесь. Я не тороплюсь.

— Проходите, проходите, — повторила она.

И тут же толпа молча расступилась передо мной.

Я заколебался: в очереди были дети, а мне действительно торопиться было некуда. Но с другой стороны... я чувствовал, что отвергать предложение нельзя, нельзя потому, что оно шло от души, и потому, что мое дальнейшее пребывание в очереди становилось тягостным, мучительным и для меня, и для тех, кто стоял вокруг. Все разрешилось, однако, очень легко и быстро. Ко мне вдруг подошел водитель такси, подошел как-то молодцевато-непринужденно, я бы сказал, даже по-гусарски и, не испытывая, видимо, никакого смущения перед толпой, а может быть, и, наоборот, получая удовлетворение от своей дерзкой смелости, громко произнес:

— Отче, благословите!

— Господь благословит, — ответил я.

Таксист-гусар этим не удовольствовался. Он наклонился и приложился к моей руке, что произвело шоковое впечатление на толпу.

Шофер взял мою сумку с книгами.

— Ого! — воскликнул он. — Кирпичи для строительства духовного храма! Бедному грешнику это не подъем.

— Позвольте мне самому, — произнес я, смутившись.

— Нет, нет, ни в коем случае!

Таксист поставил мою сумку в багажник, открыл передо мной дверцу, учтиво пропустил меня, наклонившись, поправил внизу мою рясу и бесшумно закрыл дверцу. Но перед тем как она закрылась, до меня донесся чей-то негодующий ропот:

— Как министра обслуживают! До чего дожили! Ради чего революцию делали?

— Денег куры не клюют — вот и обслуживают! Полная сумка денег! Не подъем!

Водитель метнул в толпу резкий, колючий взгляд, хотел что-то сказать, но только махнул рукой. И, лишь сев за руль, он глухо произнес:

— На вулкане живете, отче, на вулкане... Ведь эти люди не только могут петь «осанна», они и распинать умеют. По-настоящему! Так, чтоб гвозди в живую плоть и чтобы муку нестерпимую можно было видеть. Но вы это и без меня знаете... Куда мы едем? В епархиальное управление, полагаю?

— В епархиальное управление.

— Будете у нас служить?

— Нет, я получил приход в Сарске.

— В Сарске? Знакомый городок. Там у меня теща живет. Будет вашей прихожанкой. В храм регулярно ходит, но ведьма она настоящая! Впрочем, таких, как она, там пруд пруди. В адово пекло едете, отче.

— А мне говорили, тихий городок...

— Тихий! — Таксист раскатисто рассмеялся. — В тихом омуте черти водятся! Ваш предшественник, отец Василий, умел с ними ладить. Богу — Богово, черту — чертово! Потому и сподобился получить высокое назначение — уехал с важной церковной миссией на остров Маврикий! Где этот Маврикий находится и в чем заключается там важная церковная миссия отца Василия, понятия не имею. Конечно, не моего ума это дело. А вообще-то он был номенклатурным работником!

— Как так, номенклатурным?

— Ну вот вы, например, не номенклатурный работник. Это сразу видно. И потому трудно вам в Сарске придется. И дело вовсе не в деликатесах: икорке, севрюжке — без них вы, я уверен, сможете обойтись. А вот, допустим, потребовалось храм отремонтировать. Что

для этого нужно? Прежде всего, знать номер телефона. Но и этого мало. Если вы не номенклатурный работник, с вами никто разговаривать не будет. А с отцом Василием разговаривали. И не только разговаривали — он был на высоком уровне принят. Его и на демонстрации приглашали по случаю 7 ноября и 1 Мая. Отец Василий на трибуне стоял вместе с отцами города в полном парадном облачении, в камиллавке и с крестом, крестом с украшениями! Правда, с ним однажды любопытнейший казус вышел. На одной из демонстраций какой-то остряк после возгласа «Да здравствует КПСС!» крикнул: «Да здравствует Русская Православная Церковь!», а толпа, как положено, «ура» заорала. Все это произошло очень быстро, и отец Василий не успел правильно сориентироваться, да и времени у него не было «кое с кем» посоветоваться. Вместо того чтобы сразу же ретироваться или хотя бы присесть, он на цыпочках приподнялся и толпе рукой помахал. И это «кое-кому» очень не понравилось. Отца Василия, впрочем, и после этого случая на трибуну приглашали, но рекомендовали держаться на заднем плане, на цыпочки не вставать и ручкой толпе не помахивать...

— Любопытно...

— Очень любопытно. Так вы, значит, теперь вместо отца Василия... А отказаться вам, пока не поздно, нельзя?

— Нельзя. А потом... кто-то должен и туда ехать.

— Вы правы, кто-то должен... Но не вы, с кирпичами для духовного храма! Или начальство ваше умышленно вас на заклятие посылает?

— Я думаю, вы сгущаете краски.

— В том, что касается ситуации в Сарске?

— Да. Сарск, Ангарск — мало ли таких городов на Руси? А что касается «кирпичей», то без них действительно храма не построишь...

— Не построишь, ничего не построишь... Это верно. Но одних кирпичей мало. Жертва нужна. В основание храма кости мученика положить надо. Только тогда он будет стоять непоколебимо.

Я с удивлением взглянул в переднее зеркальце, в котором отражалось лицо водителя. И в тот же миг мы встретились взглядами. Словно прочитав мои мысли, он сказал:

— Профессиональным шофером я стал недавно. А вообще-то я актер по образованию и, думаю, по призванию. Артистическая карьера моя, однако, не сложилась по многим обстоятельствам. Прежде всего, я слишком серьезно к этому делу отнесся: вообразил, что у меня дар Божий. А если дар Божий, какой тут главреж и какая тут может быть идеологическая линия, согласованная с отделом культуры? И вот меня раз мордой об стол, два раза, три... И стал я выходить на сцену в лакейском фраке и провозглашать господам: «Кушать подано!» Запил я тогда, отче, по-черному... Ой как запил! Отрезвила меня теща. Для нее мой дар Божий, известное дело, что ладан для черта. Говорит она мне: «Шел бы ты, Витек, в таксисты». Выпил я последнюю бутылку и пошел. Променил свой Божий дар на чечевичную похлебку! С тех пор не пью. Ни-ни! Душевное равновесие приобрел. В семье полный порядок. Зарабатываю денег столько, сколько мне и не снилось раньше, когда публика мне рукоплескала. Исправно плачу дань начальнику колонны и прочим сатрапам, и все равно остается прилично. Главное же, никто в душу не лезет с идеологической линией.

Полная свобода! Человеком себя почувствовал. Не ты для публики, то бишь для клиентов, а они для тебя. Хочу — повезу, хочу — нет! В театре они тебя могут освистать, а здесь ты сам их можешь грязью обрызгать. И ничего не скажут, утрутся и пойдут дальше. Вот на что я променял свое первородство, свой дар Божий!

Таксист минуты две помолчал, а затем сказал:

— Вы, конечно, не поверили мне, когда я говорил о душевном равновесии. Нет в моей душе равновесия! По ночам сцена снится. И решаю один и тот же извечный вопрос: «быть или не быть?» Помолитесь о душе моей грешной. Не помню уже, когда в последний раз в храме был. На Пасху это было. Смертию смерть поправ... Смертию смерть поправ, — повторил он задумчиво. — Видно, иначе нельзя. Вот и вы на заклятие идете.

— Я иду выполнять свою обычную повседневную работу.

— Ну конечно... Смертию смерть поправ... И вот что удивительно — я не шел к Богу, так Он Сам ко мне пришел. Когда я вас увидел, я сразу подумал: «Это Он вас послал». И вспомнил я о своем первородстве... Да! Но вот мы и приехали. Простите меня, отче.

— Вы меня простите.

— Я? Вас?

— Да, да. Простите.

— Что ж, прощайте, отче. Господи! Ведь «прощайте» — это и есть «простите»!

Он помог донести мои книги до ворот управления и, получив от меня благословение, промолвил:

— Может быть, еще увидимся.

— Может быть, увидимся, — ответил я.



Епархиальное управление еще было закрыто, но на скамеечке во дворе одноэтажного здания уже сидели посетители.

Из их разговоров я понял, что они прибыли из какого-то отдаленного прихода, добиваясь возвращения им закрытого при Хрущеве храма. В Москве, в Совете по делам религий, их не приняли, в местном совете с ними не пожелали разговаривать, в Патриархии им рекомендовали обратиться к епархиальному архиерею, с мнением которого, как им сказали, местные власти считаются. Кроме ходоков на скамеечке сидела женщина с грудным ребенком, и еще четверо маленьких детей возились возле нее. Полгода назад умер ее муж, регент приходского храма. Райсобес, сославшись на отделение Церкви от государства, отказал ей в помощи, а епархиальное управление назначило пенсию в пятнадцать рублей в месяц (и это на пятерых детей!). Взяв их всех с собой, она приехала сюда добиваясь повышения пособия. Рядом с ней сидела еще одна женщина, молодая, лет тридцати, в черном платье и черном платке, с окаменевшим бледным лицом. Она ничего не рассказывала о себе, но мне с первого взгляда было ясно: передо мной родственница, скорее всего жена самоубийцы, явившаяся за разрешением на отпевание покойника. Женщины с такими же застывшими, окаменевшими лицами ежедневно приходят в наши епархиальные управления, а сколько их не приходит! Статистика молчит, чтобы не огорчать нас ошеломляющим фактом, что по количеству самоубийств на душу населения мы, по-видимому, побили печальные рекорды Рима эпохи упадка. Общество пребывает в счастливом неведении, а глас священнослужителей, имеющих дело с живыми и мертвыми, а потому посвященных в эту страшную тайну, — глас вопиющего в пустыне.

К девяти часам стали приходиться служащие управления. В начале одиннадцатого на черной «Волге» прибыл епархиальный секретарь. Я не сразу узнал его. За два года, что мы не виделись, он сильно изменился. Нет, это было, все-таки не два, а три года назад. Я тогда принимал экзамен по истории поместных православных Церквей на заочном секторе Московской семинарии. Передо мной стоял молодой человек, высокий, худой, ряса на нем висела, как на палке. И хотя ему было, наверно, около тридцати, выглядел он нескладным подростком. Это впечатление усугубляли прыщи на лице, светлый пушок над верхней губой и редкие волосенки на подбородке. Глаза его преданно глядели на меня. В них не было заметно ни проблеска интеллекта. Мне предстояло вытягивать его на тройку. Ставить двойки я не любил, входя в положение несчастных заочников, не имеющих необходимой литературы для занятий дома и получающих дурацкие учебные пособия лишь накануне экзаменов ввиду их острой нехватки. Но на этот раз моя задача оказалась на редкость трудной. Экзаменуемый не знал ничего, в буквальном смысле ничего! И билет-то ему достался легкий — крещение Болгарии.

Я предложил экзаменуемому вытащить второй билет, он охотно согласился, с глубокомысленным видом сел за подготовку, но... повторилась та же история. Он был нем как рыба и с наглой преданностью смотрел мне прямо в глаза, именно с наглой преданностью, ибо за нею скрывалась невозмутимая уверенность в том, что я поставлю ему не то чтобы удовлетворительную — хорошую, а может быть, даже отличную оценку! Когда же я вывел ему «неуд», он и бровью не повел, но в тот же день подошел ко мне и сказал, что готов пересдать экзамен и что согласие администрации на это уже имеется. На вопрос, когда он хотел бы пересдавать, я получил нахальный ответ: «Сегодня». Это было выше моих сил. Не помню, что я ему сказал, но только после этого мы уже не встречались. Да, я был готов к сегодняшней встрече, мне было известно, что он, сделав за два-три года головокружительную карьеру, стал секретарем той самой епархии, где мне теперь

предстояло служить. И все-таки я его не сразу узнал. Вместо тщедушного долговязого подростка я увидел важно шествующего к дверям управления грузного церковного сановника. Борода его стала длиннее и гуще, вернее, только теперь она и появилась, ибо те редкие волосенки, которые три года назад вились у него на подбородке, можно было назвать бородою лишь с известной долей снисходительности или иронии. Его взгляд приобрел суровую неподвижность. Епархиальный секретарь даже не взглянул на посетителей, которые при его появлении встали, сразу поняв, что перед ними тот самый большой начальник, от которого зависит судьба прихода, пенсии и несчастного покойника, самочинно ушедшего из жизни.

Первой на прием отправилась вдова псаломщика. Из приемной долго доносились препирательства — ее не хотели пускать к епархиальному секретарю вместе с детьми, но она все же добилась своего. Аудиенция продолжалась не более пяти минут. Бедная женщина вышла вся в слезах. Она громко причитала. Младенец плакал. Ревели четверо старших детей.

— Матушка, успокойтесь, — сказал я, — Господь не оставит вас.

— Церковь Господня отказывается нам помочь.

— Тот, кто вам отказал, — не Церковь. Не будем загадывать на будущее, будет день, и будет пища, а сегодня я вам помогу.

Я вынул кошелек и все деньги, которые были в нем — что-то около двухсот рублей, — вложил в руку женщине. Ходоки покряхтели и стали вытаскивать из карманов смятые рубли, трешки, пятерки и десятки. Женщина в черном молча и отрешенно наблюдала эту сцену, и вдруг впервые признак жизни появился на ее каменном лице. Она открыла свою сумочку, вынула из нее, видимо, только что полученную в сберкассе запечатанную пачку новеньких ассигнаций и передала вдове псаломщика.

— Ему уже ничего не нужно, — сказала она, — и мне ничего не нужно.

— Родненькие! — воскликнула вдова псаломщика. — Как же мне вас благодарить за это?

Она широко перекрестилась и, прижав к груди младенца, низко поклонилась.

— Идемте, деточки, идемте. Мир не без добрых людей. Не пропадем. Слава Тебе, Господи! — Осенив себя крестным знамением, она направилась к выходу.

Затем на прием отправилась женщина в черном. Вопрос об отпевании покойника затруднений не встретил. С покойниками всегда легче. Епархиальный секретарь решил проблему собственной властью, без бюрократических проволочек, то есть без необходимого благословения правящего архиерея, молча начертав какую-то закорючку на прошении женщины. Теперь усопший мог благопристойно оставить этот мир.

Ходоки задержались в приемной значительно дольше — дело с ними оказалось посложнее. Живые люди! И к тому же — настырные! Добиваются открытия храма! Ишь чего захотели! В местный совет их нужно отправить, в местный совет! Там с ними поговорят по-другому. Там и милиция стоит у дверей.

— В местный совет отправляйтесь! — услышал я резкий, срывающийся на крик голос епархиального секретаря. — Решение вашего вопроса в его компетенции.

Так их, батюшка, так! Вот это деловой разговор и в полном соответствии с государственным законодательством, по которому решение этого вопроса действительно находится в компетенции местного совета. Одна только неувязочка: почему вы говорите: «вашего вопроса»? К вам он, значит, не имеет никакого отношения?

Понурые ходоки вышли из приемной.

— Что делать, батюшка? — обратились они ко мне.

— Вам нужно разговаривать с правящим архиереем, с архиепископом. А это лишь епархиальный секретарь.

— Кто же нас допустит к архиепископу?

— Господь допустит, Господь!

Ходоки вновь заняли свои места на скамеечке, а я отправился на прием.

Епархиальный секретарь сидел за необъятным письменным столом в просторном кабинете, уставленном книжными шкафами. Одного беглого взгляда на переплеты книг было достаточно, чтобы убедиться, что здесь собраны несметные богатства. **Я** почувствовал легкое головокружение. Боже мой, кому все это досталось!

При моем появлении хозяин кабинета не соизволил подняться. Он молча смотрел на меня, смотрел с нескрываемым торжеством в глазах, по-кошачьи ласково.

— Вот, отец Иоанн, — наконец произнес он, — и вновь довелось нам встретиться.

— Довелось, отец Иннокентий.

— А ведь как обстоятельства изменились... Разве могли вы тогда, три года назад, подумать, что мы встретимся при таких вот обстоятельствах?

— Неисповедимы пути Господни.

— Воистину, неисповедимы. Но как же вы так, ученый иеромонах, профессор, со стези высокой премудрости свернули? В академии к вам и подступиться было невозможно — легче к заоблачным высям подняться! Да вы садитесь, профессор, садитесь, разговор у нас долгий будет. Как же вы вдруг решились, а? Со стези высокой-то премудрости? Ведь вас не то что студенты, преподаватели Иоанном Богословом называли! В «Богословских трудах» статьи ваши ученые печатали. Мудреные статьи! Просматривал я их... Откровенно скажу: мало что понял. Обескуражило это меня сначала, а потом подумал я: «А что, если за всеми этими словесами учеными ничего нет?» Что скажете, господин профессор? Может быть, в самом деле нет ничего? Пустота одна... И кажется мне, что все это чувствуют, только боятся признаться — как бы за дураков не приняли. Настоящая истина всегда понятна. Святые евангелисты, тот же Иоанн Богослов (настоящий Иоанн Богослов!), понятно писали...

«Боже мой! — с ужасом подумал я. — Он, наверно, Апокалипсис не читал!»

— Мало толку от этой учености, — продолжал епархиальный секретарь. — Вот поэтому вы до сих пор лишь иеромонах, хотя за десять лет можно было и епископом стать.



Но должно быть, и в Загорске ученость эта не очень-то нужна. Не потому ли вас в Сарск, в Тмутаракань, загнали?

— Не вижу в этом трагедии, отец Иннокентий.

— Увидите.

— Все в руках Божиих.

— Конечно, все в руках Божиих. Но ведь недаром говорится: «На Бога надейся, а сам не плошай». Погорячились вы тогда в Загорске, после экзамена... Высокие слова о Византии говорили... Кому нужна теперь эта Византия? Мне? Вам в Тмутаракани? Нет Византии и никогда не было. Никогда! А Тмутаракань была, есть и будет! Погорячились вы, отец Иоанн, теперь небось и жалеете?

— Да ведь и вы слишком робко тогда себя держали... Молчали больше... Трудно было предположить, что такие афоризмы изрекать можете... Про Тмутаракань и Византию. За них не глядя можно пятерку ставить.

— Жалеете, значит, жалеете... Но я на вас зла не держу. Хотя из-за вас я не смог в академию поступить.

— Зачем вам академия?

— Я ведь все же епархиальный секретарь, в областном центре служу... Мне бумажка нужна, для престижа. И я получу ее. А вы мне кандидатскую диссертацию напишете. Не смотрите так на меня. Напишите! Так за что же вас из академии в Сарск?

— Я священник, а священник должен служить.

— Но вы и профессор!

— Прежде всего священник. Профессор — дело второстепенное.

— Вот как заговорили. Второстепенное, значит... Однако хотелось бы все-таки узнать: за что же вас из академии?

— Это что, допрос? — вспыхнул я.

— Разговор начальника с подчиненным. Я, как начальник, должен знать, за что вас отстранили от преподавания в академии.

— Давайте поставим все точки над **i**. Моим начальником является не епархиальный секретарь, а правящий архиерей. Это, во-первых. А во-вторых, поскольку наш разговор принял официальный характер, я могу вам заявить, что в предъявленном мне официальном уведомлении говорится, что я командируюсь в распоряжение вашего правящего архиерея. Ни о каком Сарске в нем нет ни слова. В нем не указано и какими мотивами руководствовалось Священноначалие нашей Церкви, принимая это решение.

— Ах, вот как... Опять горячитесь. Не забывайте, однако, здесь не академия. И перед вами не ученик. Это, во-первых. А во-вторых, у вас превратное представление о реальном положении в епархии и... полномочиях епархиального секретаря.

— Предпочитаю остаться при своем превратном представлении. Думаю, что долгого разговора у нас не получится. Я хотел бы получить документ о назначении и... деньги на проезд. Можно под расписку. У меня нет ни копейки.

— Документ о назначении вы получите. А что касается второй просьбы... Право, удивительно, как же вы так, без денег...

— Хорошо. Ограничимся получением документа. В это время зазвонил телефон. Отец Иннокентий неторопливо взял трубку.

— Добрый день. Благословите, владыка, — без заискивания, с достоинством произнес он. — Так, всякая рутина. Никаких серьезных вопросов. Отец Иоанн? — Брови епархиального секретаря в невольном удивлении поднялись кверху. — Здесь. У меня. Хорошо. Хорошо. Благословите.

Епархиальный секретарь не спеша положил трубку и, выдержав паузу, холодно произнес:

— Поедете к владыке на дачу. Епархиальный шофер вас отвезет. — А затем сухо и резко добавил: — Я не прощаюсь. Вам еще предстоит вернуться ко мне за назначением.

Дача архиепископа находилась в зеленом пригороде. Туда вела прекрасная асфальтированная дорога. По обеим ее сторонам тянулись глухие высокие заборы. Чуть ли не через каждые двести метров — милицейские посты. За заборами — скрытые соснами виллы отцов города. И среди них — дача архиерея Русской Православной Церкви. Пусть «развертывается и углубляется» атеистическая пропаганда и ведется «непримиримая идеологическая борьба», на уровне истеблишмента материализм и религия прекрасно уживаются друг с другом. Парадокс? Как знать...

Машина свернула с дороги и подъехала к мощным тесовым воротам. Такие были, наверно, у древнерусских городов и острогов. Около ворот находилась будка. Из нее вышел милиционер и отдал нам честь. Вот чудеса! Да, чудеса чудесами, а ходоков к архиепископу он, пожалуй, не пропустил бы...

Ворота бесшумно открылись. Я сначала подумал, что сработала электроника. Нет, их с помощью лебедки открыл благообразный старичок — привратник. Он в пояс поклонился — не мне, вряд ли он мог видеть меня через затемненное стекло лимузина, — поклонился машине.

Мы подъехали к двухэтажному особняку. Молодой человек в подряснике проворно подошел к автомобилю, открыл дверцу и сделал вид, что помогает мне выбраться из блестящего чудища двадцатого века. Он пригласил меня в дом.



Гостиная, в которой я очутился, напоминала скорее дворцовую залу аристократа XVIII века. Глядя на архиерейский дом снаружи, его правильнее было бы назвать дворцом, и все-таки помпезная роскошь интерьера оказалась для меня неожиданной. Позолота, огромные зеркала, старинные гобелены и картины в массивных резных рамах, расписной потолок, ослепительный узорный паркет, фарфоровый камин, развешанные по стенам тарелочки и веера... Все это представляло собой разительный контраст с миром, из которого явился я. Немного ошарашенный, я не сразу заметил вошедшего в зал архиепископа. Он направлялся ко мне легкой, быстрой походкой. Архиепископ был в одном подряснике, без панагии, это обстоятельство и необычная процедура приема, по-видимому, свидетельствовали о его желании побеседовать со мной неофициально и доверительно. И это сразу же насторожило меня.

— Отец Иоанн, рад вас видеть, — произнес он с такой естественной доброжелательностью, что я несколько растерялся. Во всяком случае после злоключений, которые обрушились на меня в последние месяцы, рассчитывать на это не приходилось.

Архиепископ благословил меня. Его умные, пронизательные глаза, казалось, читали мои мысли. Но он не стал уверять меня в том, что действительно рад меня видеть. Он сказал:

— Мы с вами уже встречались... на богословских собеседованиях в академии, на конференции в Ленинграде. Там на меня очень хорошее впечатление произвел Ваш доклад. И вот Господь снова благословил нас встретиться... Как вы хотите: мы посидим здесь или, может быть, погуляем по саду? Вы не очень устали?

— Я совершенно не устал, владыка.

— Вот и прекрасно. Тогда мы погуляем, а в это время нам приготовят трапезу.

Мы вышли в сад и некоторое время молча шли по аллее. Терпкий, пьянящий сосновый воздух, благоухающие цветы, шелест листвы и щебетание птиц. Ни один резкий посторонний звук не нарушал благодатного покоя этого отрешенного от мира уголка земли.

Архиепископ почувствовал мое состояние.

— Золотая клетка, — мрачно произнес он. — Эта глухая тесовая стена, эти ворота и милиция возле них, соглядатаи внутри дома создают невыносимое ощущение того, что я являюсь здесь узником.

Такое заявление архиепископа поставило меня в тупик. Я не знал, как реагировать на его слова. Неужели он настолько уверен во мне, что может позволить себе подобные признания? Конечно, человек, сосланный за свои убеждения в глухую провинцию, вряд ли может быть тайным осведомителем. Но чего не бывает на этой грешной земле?! Мне приходилось слышать об осведомителях среди заключенных, в тюрьмах и лагерях. Не хочет ли архиепископ спровоцировать меня на откровенность? Так ли уж невыносимо для него пребывание в «золотой клетке»? Не он ли с любовью украшает ее японскими тарелочками и веерами, картинами Фрагонара, Греза и, прости Господи, Буше? Ведь одна из них, как мне показалось, действительно была Буше. И потом, не кощунственно ли называть себя узником, проживая пусть даже в «золотой клетке», но зная о мученичестве тех, кто всходил на Голгофу на Соловках и в других, не менее отдаленных местах? И в тот же миг я с горечью

подумал: «Господи, до чего же мы дожили, если откровенный разговор между епископом и священником становится невозможным, если тот и другой не верят друг другу и боятся друг друга! И не чудо ли, что Церковь при этом еще продолжает существовать?!» «Что бы ни было на уме у архиепископа, — решил я, — мне-то, мне-то что терять? Дальше Тмутаракани только Тмутаракань».

От архиепископа не ускользнуло мое замешательство. Он слегка смутился.

— Надеюсь, — спросил он, — я не шокирую вас своими высказываниями? Я знаю, с кем говорю. Объяснять, почему не оставляю «золотую клетку» — ведь дверца в нее как будто остается открытой, — наверно, нет смысла. Я архипастырь. А то, что клетка сделана из золота, а не из железа, разве имеет принципиальное значение?

Архиепископ вопросительно взглянул на меня, словно ожидая поддержки с моей стороны. Опустив глаза, я ничего не сказал. Архиепископ еще больше смутился. Оправдываясь, он стал не совсем связно говорить о том, что сан налагает на него определенные обязанности, что в интересах Церкви ему приходится поддерживать официальные и неофициальные отношения с влиятельными людьми мира сего, а это вынуждает считаться с принятыми среди них нормами поведения, из чего следовало, что «золотая клетка» лучше и полезнее, чем клетка «железная»... Определенная логика в его рассуждениях была, и тем не менее... Он явно был недоволен. Разговор сразу пошел не в том направлении. Архиепископ, видимо, рассчитывал покорить меня своей открытостью, которая должна была производить особое впечатление в условиях окружавшего его изысканного комфорта и роскоши. Легко можно было предвидеть и мою реакцию на проявление симпатии и сочувствия к опальному священнику, особенно после приема, устроенного мне в епархиальном управлении. «Стоп, стоп! — остановил я себя. — Не заносит ли меня слишком далеко в моих предположениях? В конце концов какая корысть архиепископу демонстрировать мне свое расположение? Какая выгода ему приглашать меня в свою резиденцию и вести со мной доверительные беседы? Никакой! А вот вред возможен. Что стоит тому же епархиальному секретарю сообщить о моем визите сюда, живописав его, конечно, окружению патриарха? Архиепископу наверняка это когда-нибудь припомнят, причем в самый неподходящий для него момент. Там умеют делать такие вещи очень виртуозно». И в который уже раз я с сожалением отметил свою удивительную способность портить отношения с людьми, симпатизирующими мне и готовыми в трудный момент прийти мне на помощь.

— Владыка, простите меня.

— Нет, нет, мне не в чем вас упрекнуть. В моих словах действительно была доля лукавства. Все мы грешные люди, и я, быть может, больше, чем многие другие. Вряд ли я был бы до конца искренен, утверждая, что в «золотой клетке» меня удерживает одно только чувство долга...

Архиепископ окинул взглядом свой уютный, ухоженный сад, в который не доносилось ни звука из того мира, где существует дисгармония, где совершаются преступления, мучаются и умирают люди, и вновь тень смущения появилась на его лице.

Некоторое время мы шли молча.

— Как святейший? — наконец спросил архиепископ. — Я давно не был в Москве...

Вопрос не был просто этикетной попыткой сменить тему. В пронизательном взгляде моего собеседника сквозил острый интерес. И в уме невольно мелькнула мысль: не ради ли этого вопроса я и был приглашен сюда? Слухи об ухудшающемся состоянии здоровья патриарха получили широкое распространение. Архиереи уже раскладывали пасьянсы с именами наиболее вероятных кандидатов в патриархи. Нервной стала обстановка в Синоде. Засуетились временщики из патриаршего окружения. В этой ситуации вполне понятным было желание моего нового архиерея получить свежую информацию от человека, прибывшего из Москвы. Тем более что у архиепископа были основания проявлять особый интерес к данной теме. Отношение к нему патриарха было, мягко говоря, неблагоприятным, и на то были свои причины. Архиепископ принадлежал к партии покойного митрополита Никодима, когда-то одного из ведущих иерархов, чуть было не ставшего патриархом и даже, как говорят, уже шившего себе патриарший куколь — настолько он был уверен в своем избрании. Власти, однако, решили иначе. Блестящие способности Никодима, несмотря на весь его конформизм и безусловную лояльность, внушали опасения: а вдруг надует? Пимен был понятнее и ближе, он не хватал звезд с неба, его интересы и менталитет были примитивными, такими же, как и у тех, кто решал его судьбу. Он был их церковным подобием. вполне естественно, что они предпочли его Никодиму. Тот не пережил нанесенного ему удара. Он умер от сердечного приступа во время аудиенции у Папы Римского в возрасте сорока девяти лет. Никодим умер, но остались его сподвижники, рукоположенные им архиереи, усвоившие его конформизм и гибкость, но, как всякие эпигоны, лишенные широты его взглядов. Оказавшиеся в немилости у Предстоятеля Церкви, разбросанные по различным епархиям, они сохраняли между собой связь, поддерживали друг друга и составляли по существу сплоченную церковную партию. Они были даже внешне похожи, причем не только манерой поведения, интонацией голоса, но и, как мне казалось, чертами лица. И, глядя сейчас на своего собеседника, я вновь поразился этому обстоятельству.

Итак, архиепископа интересовало состояние здоровья патриарха. Для никодимовцев, так же как и для патриаршего окружения, это был больной вопрос.

— Что вам сказать? — промолвил я. — Мне известно лишь одно: пребывание в Карловых Варах не пошло на пользу святейшему. Он и не хотел туда ехать, но «иже с ним» настояли: не упускать же такую возможность! И вот результат. Впрочем, диабет — непредсказуемая болезнь. Все может разрешиться очень быстро, но патриарх может прожить и пять, и десять лет. Кстати говоря, сейчас ему легче.

— Вы не подумайте, что я желаю ему смерти, однако факт есть факт, это позорнейший понтификат в истории нашей Церкви, и единственная услуга, которую он мог бы оказать ей, так это уйти на покой.

— На покой он не уйдет. И дело даже не в нем. Есть влиятельные силы, заинтересованные в том, чтобы понтификат, который вы назвали позорнейшим, продолжался как можно дольше.

— Знаю, знаю и должен вам сказать, что власти совершают непростительную ошибку, делая ставку на таких людей, как Пимен. Безусловно, их легче держать в руках, ими легче управлять. Но ведь положение в стране может измениться, выйти из-под контроля. Смогут ли тогда успокоить и повести за собой верующих архиереи и священники, скомпрометировавшие себя в их глазах? Они будут изгнаны из храмов и с епископских кафедр. Их место займут нетерпимые фанатики и демагоги. В Церкви и стране возникнет хаос. Вот что нам грозит. Митрополит Никодим это предвидел. Он хотел обновить,

преобразовать Церковь в интересах самой Церкви и государства, но его не поняли. Его даже не попытались понять.

— Вы полагаете, — осторожно заметил я, — что Церковь можно преобразовать путем кадровых перестановок, осуществляемых сверху при содействии государства?

— Я понимаю, что вы хотите сказать: Церковь живет и преобразуется Духом Святым. В этом не может быть никаких сомнений. Но Церковь осуществляет свою спасительную миссию на этой грешной земле. И здесь нам приходится иметь дело не только со святыми избранниками Божиими, но и с такими людьми, как отец Иннокентий.

— Что же мешает вам, как правящему архиерею, освободиться от него?

— Это мой крест, отец Иоанн. Я виновен перед Богом и Церковью в том, что рукоположил его во диакона, а затем во иерея. Не сразу я распознал его, а когда распознал, было уже поздно. Он появился в кафедральном соборе лет семь назад. Прислуживал в алтаре, иподиаконствовал и, хотя не блистал умом и знаниями, был очень исполнительен. Быстро освоил церковную службу. Усердно молился. Одним словом, раб Божий. В храме возникла нужда в диаконе — он подал прошение о рукоположении. Каких-либо сомнений у меня не возникло: службу знает, усерден, скромн. Когда возник вопрос о рукоположении во священника, я уже заколебался — для того чтобы быть пастырем, нужно иметь иные качества, которых я у него не находил. Ситуация, однако, складывалась таким образом, что все предлагаемые мной кандидаты на вакантное место священника в кафедральном соборе отвергались уполномоченным. Кандидатура же отца Иннокентия прошла без звука. Тогда у меня впервые появилось подозрение, что он не так прост. Та же самая история повторилась при подборе кандидата на пост епархиального секретаря. Тут уж мне все стало ясно, но я оказался связанным по ногам и рукам. Мои попытки добиться его смещения ни к чему не привели. Нет никаких сомнений в том, что при постановке вопроса ребром — или-или — решение будет не в мою пользу. Передо мною встала мучительная проблема: имею ли я право уступать ему епархию? Поймите меня правильно. Я не хотел бы, конечно, перевода на другую кафедру и тем более удаления на покой. Дело, однако, в другом: имеем ли мы право уступать свое место таким людям, как отец Иннокентий? Думаю, что нет. И вот возникло чудовищное положение, когда я вынужден терпеть его присутствие рядом с собой, бессильный что-либо изменить. Скажу откровенно: у меня заранее портится настроение при мысли о необходимости ехать в епархиальное управление. Встреча с Иннокентием и даже простое упоминание о нем вызывают во мне отвращение... Как будто касаешься рукой чего-то скользкого, нечистого... Да простит меня Господь.

Гримаса безгливости исказила лицо архиепископа.

— Я сделаю все возможное, — сказал он, — чтобы устранить его отсюда. Уверен, что и он не упустит своего шанса.

Все, что говорил архиепископ, мне было знакомо и понятно. Ситуация была патовая, тупиковая, типичная для нашей церковной жизни на всех ее этажах, где противостояние сторон парализовало всякую инициативу и волю к действию. Было ясно и другое: в этом противостоянии проявляла себя третья сторона, незримая и могущественная, к которой сходились все нити и которая была заинтересована в стагнации и параличе церковной жизни. Что же касается отца Иннокентия, то он был всего-навсего марионеткой, впрочем, так же, как и сам архиепископ. С этой точки зрения между ними не было большой разницы. Да, да, не было большой разницы между ограниченным карьеристом Иннокентием и образованным,

умным, интеллигентным архиереем, который в нормальных условиях был бы хорошим, а может быть, даже очень хорошим епископом.

— Мое положение и положение моих собратьев, — продолжал архиепископ, — трагическое. Трагическое, отец Иоанн! И вы не во всем правы, когда нападаете на епископат. У меня нет сомнений в благородстве ваших помыслов. Но... будем откровенны...

— Будем откровенны, владыка.

— Я с глубоким интересом прочитал вашу статью о Симеоне Новом Богослове, ту самую статью, которая переполнила чашу терпения синодалов. Я прочитал ее с жадностью, залпом. И когда читал, меня разрывали противоречивые чувства. Мне было ясно, что, обратившись к истокам, вы стремитесь найти ответ на вопросы нашего времени. Но меня смутило другое: ваш исторический анализ был очень похож на мистификацию. Слишком прозрачны намеки на современность. Статья читалась, как памфлет. В самом деле:

Патриархи!

Если вы не друзья Бога, Не сыновья Его, Не боги по благодати, Отступите тогда от престола!

Яснее сказать невозможно. Цитирование Симеона Нового Богослова никого не введет в заблуждение. Наоборот, оно придает особую весомость вашему призыву не к абстрактным патриархам, а к конкретному Первосвятителю, Пимену Извекову. Тут я с вами солидарен. Но вы идете дальше. Опять же, ссылаясь на преподобного Симеона, противопоставляете церковной иерархии старчество, противопоставляете харизматический дар, полученный непосредственно от Бога, благодати, передаваемой через рукоположение. Если эту мысль довести до логического конца, Церковь как организация оказывается ненужной для спасения.

— Что значит, владыка, «до логического конца»? Если следовать законам формальной логики, церковное учение легко свести к абсурду. Я священник, призванный заботиться о спасении душ вверенной мне паствы. И как таковой, я могу выполнять свою миссию только в церковной общине, в Церкви. Для меня очевидно также, что Церковь, являющаяся сообществом братьев во Христе, должна вместе с тем иметь определенную иерархическую структуру. Я не противопоставляю спасение посредством индивидуального подвига спасению через общую молитву. Дело в другом, владыка. Мы оба видим, что наша Церковь находится сейчас в критическом положении. Она нуждается в оздоровлении. Это бесспорно. Но каким путем? Вы считаете, что оздоровить ее можно путем реформ сверху, с помощью нынешней иерархической структуры. Я в такую возможность не верю. Более того, я думаю, что одними человеческими усилиями из той зловонной ямы, в которой мы оказались, уже не выбраться. Будем уповать на милость Божию и на Его святых избранников. Вот откуда у меня такой интерес к старчеству.

— Где они, отец Иоанн, наши святые избранники? Где те святые старцы, на которых вы уповаете?

— Что мы можем знать, владыка, о Духе Святом, который дышит где хочет и когда хочет? Бог вещь, может быть, и есть уже такие святые избранники, но только мы не знаем о том.

— А если нет? Будем ждать их появления?

— Будем ждать и молиться. И будем действовать. В конце концов каждый христианин — божественный избранник. Все мы избранники и отличаемся друг от друга лишь своеобразием харизматических даров. Но каждому дан этот божественный дар и по неизреченной милости Божией дан в изобилии, в большей степени, чем мы можем вместить. И от нас зависит — принять его или отвергнуть, а если принять, то в какой мере.

— Все это так, отец Иоанн, все это так... Только вот в обыденной жизни не так-то просто отличить пророка от лжепророка, божественную харизму от отраженного сияния падшего ангела. Бриллиант от искусной подделки может отличить ювелир, но обычному человеку легко в этом обмануться.

— Я верю во внутреннее чутье народа. В конечном счете оно безошибочно.

— В конечном счете! А не в конечном счете? Разве народ не требовал распятия Христа? Разве история двадцатого века не представляет собой пандемию чудовищных заблуждений? Да ведь вы и сами прекрасно это понимаете. Взять хотя бы вашу злополучную статью. Вы в ней обронили одну любопытную мысль, обронили как будто случайно, хотя в действительности обдумывали ее очень долго. Те несколько фраз, в которых выражена она, выделяются в вашей хорошей по стилю статье изумительной филигранностью формы, особой тщательностью отделки. Вам хотелось закамуфлировать их смысл от оппонентов, сделав его предельно ясным для своих единомышленников. Сложная задача! И вы с нею справились виртуозно. Вас не поняли те, кто не должен был понять, но зато понял Никита Струве, к которому каким-то образом попала она и который опубликовал ее в своем журнале. А вот тогда начали анализировать в ней каждую фразу те, другие. И постепенно им открылся смысл вашей концепции. И какой концепции! Вы улыбаетесь?

— Теперь только мне все стало ясно.

— Что ясно?

— Почему я еду в Тмутаракань, то бишь в Сарск.

— В самом деле? А до этого не догадывались? Неужели вы думали, что виной всему филиппики, заимствованные у Симеона Нового Богослова? Окружение патриарха и синодалы реагировали на них довольно болезненно. Но не настолько же! И к тому же формально придтаться было очень трудно. Тут вы ловко прикрылись преподобным Симеоном. А вот что касается главной идеи, то она изложена от имени автора. В изысканной пастернаковской форме вы поставили вопрос о том, почему наш народ, который называли наихристианнейшим и богоносным, поддержал атеистическую вакханалию в России. Вопрос не новый, можно даже сказать — дремучий. На него отвечал и протоиерей Георгий Флоровский, и отец Александр Шмеман. И мнение их стало почти общепринятым, мнение такое, что не был наш народ ни богоносным, ни наихристианнейшим, что под покровом неукоренившегося христианства в его душе бушевали языческие страсти, которые и вырвались наружу, когда с них были сняты вериги. Все логично и ясно и для власть имущих приемлемо. И вдруг вы опять о богоносности заговорили! Получается, что богоборческая вакханалия у нас случилась от того, что наихристианнейший народ оказался введенным в заблуждение идеями, на первый взгляд заимствованными у христианства, но на самом деле являющимися искусной подделкой. И далее следует вполне прозрачный намек на падшего ангела, дьявола, лишеного дара творчества, способного лишь паразитировать на том, что создано Богом, извращая смысл Божьего замысла до противоположности, создавать бесплодные миражи, ведущие к гибели. И разве не понятно, почему оказался обманутым именно наихристианнейший народ? Благоразумный и прагматический Запад обмануть было



труднее, и он на дьявольскую удочку не попался. Все закономерно. И если мы оказались жертвой дьявола, то разве не ясно, кто был его орудием? Вы, отец Иоанн, только намекнули, только завесу приподняли, и глазам такая чертовщина открылась! Вот почему решили вас от греха подальше — в Тмутаракань. Но все это только к слову, к замечанию насчет того, что чутье народа в конечном счете безошибочно. Безошибочно оно постфактум, когда уже ко кресту пригвоздили, когда десятки миллионов невинных жертв закопали во рву. Так кто же призван тогда отличить бриллиант от подделки, пророка от лжепророков? Церковь и ее иерархия.

— Но способна ли на это наша нынешняя иерархия?

— С помощью благодати Духа Святого — да. Другого средства у нас нет.

— С помощью благодати? А если не будет ее? Если будет только попущение Божие?

— Тут мы уже бессильны...

— Значит, осудят пророка, не признав его за пророка? Значит, опять гвозди в живую плоть? Значит, опять десятки миллионов можно закопать во рву? Вы, владыка, говорили о народе, который требовал распятия, но ничего не сказали о первосвященниках, которые произнесли приговор. Поймите меня. Я не против церковной иерархии. Когда Священный Синод вынес свой вердикт: «СЛУШАЛИ — ПОСТАНОВИЛИ» и направил меня сюда, я без ропота подчинился этому вердикту. Но для меня Церковь — это не поместная община, это Тело Христово. Это Вселенская Церковь, включающая в себя всех живущих ее чад, всех умерших и будущих ее членов, а также ангельский чин, Церковь, Глава которой — Христос. Страшный Суд этой Церкви не имеет ничего общего с резолюциями Синода.

— Отец Иоанн, мы сейчас говорим не об этой Церкви...

— Да, мы говорим о земной поместной Церкви, которая управляется грешными людьми, которая может впадать в заблуждения и ересь и которая сегодня больна. Я глубоко убежден в том, что излечить ее синодальными постановлениями, согласованными с государственными властями и жрецами безбожной религии, невозможно. В этом была роковая ошибка и трагедия митрополита Никодима, и не только его одного.

Было видно, что архиепископ болезненно воспринял мои слова. Что ж, этого следовало ожидать. Он не сразу ответил мне, но ответил спокойнее и мягче, чем я ожидал.

— Вы максималист, — сказал он. - Вы принципиально не хотите идти ни на какие компромиссы. Но представляете себе, что было бы с нашей Церковью в двадцатые и тридцатые годы, если бы ее руководство стояло на ваших позициях, если бы митрополит Сергей не пошел на компромисс!

— Было бы то же самое, только на компромисс пошел бы кто-нибудь другой.

— А если бы никто не пошел?

— Вот тогда, пожалуй, не было бы того, что было, и того, что есть. Впрочем, такое вряд ли возможно. Конформисты всегда существуют и будут существовать. Правда, конформисты конформистам рознь. Я могу понять людей, которым угрожает физическое уничтожение. Труднее мне понять компромиссы эпохи Хрущева, когда такая угроза ни перед кем уже не стояла.

Я хотел было сказать о современных компромиссах, но, вовремя спохватившись, сослался на эпоху Хрущева. Такой вираж, однако, мало что менял. Мысль моя была достаточно ясна. И я пожалел, что высказал ее. К тому же, подумал я, максимализм и конформизм всегда идут рядом. И не обязательно они должны противостоять друг другу. Разве не очевидно для меня, что в современных условиях церковная иерархия объективно не может не быть конформистской? Я осуждаю ее и не хотел бы быть на месте моего собеседника, но не означает ли это, что я просто отчуждаю свой конформизм, передаю его другим, поскольку мне так удобнее? Разве я перестаю от этого быть конформистом? И не поступает ли аналогичным образом мой собеседник, отчуждающий свой максимализм и втайне, может быть, заинтересованный в том, чтобы этот максимализм продолжал существовать где-то вовне! Странная ситуация!

— Простите меня, владыка, — произнес я. — Вопрос этот, по-видимому, намного сложнее... И говоря откровенно, я сам не такой уж максималист.

Архиепископ улыбнулся открыто и доверительно.

— Отец Иоанн, не напоминаем ли мы с вами параллельные прямые, которые пересекаются в бесконечности? У каждого из нас своя роль, но цели у нас одни.

Архиепископ положил руку мне на плечо.

— Вы знаете, — сказал он, — приглашая вас сюда, я имел в виду предложить вам остаться в епархиальном центре. Юридически вы направлены в мое распоряжение. Мысль о Сарске родилась в Совете по делам религий. Я мог бы попытаться уладить этот вопрос. Два дня в неделю вы были бы заняты на службе в кафедральном соборе, остальные дни — для ваших ученых занятий. Вы могли бы пользоваться моей библиотекой. Жилье вам найдем. Ну как, согласны?

Предложение архиепископа застало меня врасплох. Оно, конечно, было более чем заманчиво. Пять дней в неделю для ученых занятий! Об этом я мог только мечтать при моей академической нагрузке. И это звучало как чудо сейчас, когда я оказался в опале. Однако в тот же миг холодная отрезвляющая мысль пронзила меня: а чем я должен буду расплачиваться за такое благодеяние? Ведь в нашей жизни, за исключением самой жизни, ничто не дается даром. И хотя мой благодетель не выдвигает никаких условий, несомненно, из чувства благодарности я должен буду впредь вести себя так, чтобы не ставить его в затруднительное положение. Не предлагается ли мне в обмен на конформизм некое подобие «золотой клетки»? Это искушение. Изыди, сатана!

— Сердечно благодарю, владыка. Вы исключительно добры ко мне. И потому я прошу вашего благословения на служение в Сарске.

Архиепископ ответил не сразу. Он пристально взглянул на меня. Наши взгляды встретились. Мы без слов поняли друг друга, поняли до конца.

— Жаль, отец Иоанн. Предлагая вам остаться здесь, я руководствовался самыми благими побуждениями.

— Я не сомневаюсь в этом, владыка.

— Неужели вы думаете, что в Сарске будете более свободны? Обстановка там очень тяжелая. Приход разлагается. Власти добиваются его закрытия. В своих действиях вы будете связаны по ногам и рукам.

— Я буду ограничен в своих действиях, но не буду связан никакими обязательствами. По отношению к тем, кто будет противостоять мне, у меня не может быть никаких обязательств. Мы существуем в разных измерениях, в разных мирах.

— И все-таки мир один. В этом-то и трагедия.

— У каждого своя роль, владыка. Это вы сказали.

— Да, у каждого своя роль. Поэтому я не буду препятствовать вашему служению в Сарске, если это решение для вас окончательное и бесповоротное. И сказать откровенно, где-то в глубине души я даже завидую вам. Ну хорошо. — Тон архиепископа сразу приобрел деловой оттенок. — Поскольку решение принято, вам нужно посетить уполномоченного Совета по делам религий и пройти регистрацию. Эта процедура будет носить формальный характер. Ведите себя сдержанно, в дискуссии не вступайте. Уполномоченный — человек угрюмый и ограниченный. Бывший сотрудник КГБ. Подарки берет.

Архиепископ усмехнулся, из чего я заключил, что подарки тот берет не только «борзыми щенками».

— От меня он получает достаточно, — без обиняков заявил архиепископ, — но я вам все-таки дам для него какой-нибудь сувенирчик, без этого с ним разговаривать очень тяжело: уж очень угрюм.

Архиепископ хитро подмигнул мне.

— Ничего, ничего, с ним можно иметь дело. Кое-какие вопросы он помогает мне решать. К сожалению, мало что от него зависит. Руководство обкома занимает в отношении нас очень жесткую позицию. И все-таки наши областные вожди — либералы по сравнению с отцами города Сарска. Вы скоро это почувствуете. Вам придется зарегистрироваться в местном совете. Там есть некий Валентин Кузьмич... Загадочная личность! — Владыка похлопал себя пальцами по плечу, давая понять, что Валентин Кузьмич хотя и не в военной форме, но с погонами. — Так вот, он вашего предшественника, отца Василия, в бараний рог скрутил. Будьте предельно внимательны и осторожны. Ну, кажется, все вопросы мы обсудили. Теперь можно и чайку попить.

Мы вернулись в резиденцию. В отделанном розовым мрамором трапезном зале для нас двоих уже был накрыт стол. Чаю, которым обещал попотчевать меня архиепископ, предшествовали роскошные овощные и рыбные закуски, черная и красная икра, рыбная солянка, шашлык из севрюги, фруктовый салат и мороженое. Обслуживали нас четверо одетых в подрясники молодых людей, бдительно наблюдавших за каждым нашим жестом и готовых в любой момент исполнить малейшее наше желание. За «чаем» никаких серьезных разговоров мы не вели. Ясно было, что в таких помещениях и стены слышат.

После «чая» архиепископ позвонил уполномоченному и договорился о моем визите к нему. Он вручил мне красиво упакованную коробку и пояснил:

— Коньячок для уполномоченного. А это для вас. Здесь десять тысяч. Я не знаю, в каком состоянии вы найдете храм, ведь он пустует уже более полугода. Здесь же документы о назначении на приход. Ехать к отцу Иннокентию вам теперь нет необходимости.

— Спасибо, владыка.

— Не за что. Да хранит вас Господь.

— Владыка, у меня есть к вам одна просьба. В епархиальном управлении сейчас находятся ходоки из какого-то отдаленного села вашей епархии. Они добиваются открытия храма. Примите их.

Архиепископ тяжело вздохнул.

— Хорошо, — сказал он. По его глазам я понял, что он примет ходоков, и не только примет, но сделает все возможное, чтобы помочь им.

Получив благословение архиепископа, я на епархиальной машине отправился к уполномоченному. Его управление размещалось в квартире (не знаю, сколько там было комнат) старого дореволюционного дома. Секретарь сразу же провел меня к нему в кабинет. Там за письменным столом сидел стриженный ежиком угрюмый человек лет шестидесяти. На нем был довоенного покроя темно-синий костюм в полоску и синий галстук в горошек, как у Ленина. При моем появлении он, естественно, не встал, не сделал ни малейшей попытки улыбнуться и сразу же бросил пристально-тоскливый взгляд на коробку в моей руке.

— Садись, — сказал уполномоченный. — Как звать-то?

— Иеромонах Иоанн.

— Эти финтифлюшки ты оставь для себя. Как звать тебя по-настоящему? Фамилия? Имя? Отчество?

Памятуя мудрый совет архиепископа не вступать с уполномоченным в дискуссии, я назвал и то, и другое, и третье.

— Вот это уже по-нашему, — произнес уполномоченный, продолжая с тоскою глядеть на коробку.

Видя, как он мучается, я поспешил освободиться от коробки.

— Это вам... небольшой сувенир.

— Благодарствую, — рявкнул уполномоченный, поспешно схватил коробку и поставил ее к себе под стол. И хотя в лице его я не увидел ни благодарности, ни малейшего просветления, обстановка в кабинете как-то разом вдруг разрядилась.

— Так чего, решил все-таки в Сарск ехать? Архиепископ предлагал тебе здесь остаться?

— Предлагал.

— Отказался?

— Отказался.

— Ну и дурак. Архиепископ к тебе всей душой. Несколько раз мне звонил. Ученый человек, говорит. А что толку от твоей учености? Одни неприятности, наверно. Разве не так?

— Так.

— В последний раз спрашиваю: едешь в Сарск?

— Еду.

— Много дураков видел, но такого впервые!

Уполномоченный принялся писать какую-то бумагу, а, пока он писал, я окинул взглядом кабинет. По всем его стенам стояли застекленные шкафы, и в каждом из них папки с делами, в которых, наверно, вся подноготная жизнь епархии. В одном из этих шкафов будет теперь красоваться мое персональное досье.

— Бери направление, — уполномоченный протянул мне бумажку. — Явишься с ним в местный совет. И не особенно там выкобенивайся! Умный! Впрочем, Валентин Кузьмич тебе спуску не даст. У него, брат, бульдожья хватка! Ну, чего сидишь?

Я поднялся. Вопрос уполномоченного, видимо, означал, что аудиенция окончена. Вести со мной дискуссии у него явно не было желания. Он уже ерзал в своем кресле: ему, должно быть, не терпелось познакомиться с содержимым коробки. Про себя я возблагодарил доброту и заботу обо мне премудрого архиепископа.

— До свидания, — сказал я.

— Будь здоров, Иван Петров!

— Почему Иван Петров?

— Юмору не понимаешь! — мрачно изрек уполномоченный. — Плохо тебе придется.

## 29 мая

**Я** увидел ее сразу, как только автобус сделал крутой поворот, и передо мной неожиданно открылась панорама города. Построенная на самом высоком месте, она возвышалась над ним, белоснежная, стройная, с голубыми куполами. Солнце уже село, и только церковь была ярко освещена, она сама, казалось, излучала сияние, наполняя пространство белым, голубым и золотым светом. Ее кресты сверкали и искрились.

«Это она! — с содроганием подумал я. — С крестами, значит, действующая, а другой действующей церкви в городе нет. Какое же чудо, что она до сих пор уцелела!»

Автобус въехал в город, миновал квартал современных пятиэтажек и медленно стал подниматься в гору. По ее склону лепились деревянные одноэтажные дома с зелеными двориками. Вдоль улицы разгуливали куры. На скамейках возле калиток сидели женщины в белых платочках. «Моя паства», — подумал я.

Типичный деревенский ландшафт сменился затем каменной городской застройкой, которую составляли в основном старые купеческие дома в один, два, редко три этажа. Когда-то они выглядели, наверно, очень симпатично, но сейчас их серые облупленные фасады наводили скорее уныние.

— Центр! — объявил остановку водитель.

**Я** вышел из автобуса. Церковь была совсем рядом. Ее купола возвышались над домами. **Я** направился к ней и, пройдя метров двести — триста, оказался на обширной, мощенной камнем площади. На одной стороне ее располагалось старинное дворцового типа двухэтажное здание — над ним развевался красный флаг, значит, здесь размещались местные органы власти, — а на другой стороне стояла церковь Преображения. Такое соседство не могло не вызвать у меня беспокойства. Храм, в котором мне предстояло служить, был, вне всякого сомнения, бельмом в глазу у отцов города. Моя тревога возросла, когда я приблизился к церкви. Если издали, на общей панораме города она выглядела сказочно прекрасной, то вблизи вид у нее был удручающий: крыша проржавела, штукатурка во многих местах была отбита, на стенах — хамские надписи. Вполне достаточный предлог для закрытия прихода и даже для сноса храма.

Центральные двери церкви были наглухо закрыты. **Я** подошел к боковому входу и нажал на кнопку звонка, думая о том, что мне делать и где искать ночлега, если в храме никого не окажется. Мне, однако, повезло. Послышались шаги, заскрежетал ключ в замке, дверь отворилась. Передо мной стояла довольно красивая женщина лет тридцати пяти, с тонкими подведенными бровями, с непокрытой головой, в сером, неброском, но элегантном костюме. В ее глазах сквозило сдержанное и вполне благопристойное любопытство.

— Добрый вечер, отец Иоанн, — сказала она. — **Я** вас ждала. Мне позвонили из епархиального управления и сообщили о вашем приезде. Позвольте представиться: староста прихода Елизавета Ивановна. Проходите, пожалуйста.

Благословения Елизавета Ивановна не попросила.

**Я** сделал шаг вперед... и тут произошло неожиданное: наши взгляды встретились вновь. На этот раз непредвиденным образом и для меня, и для нее. Она, конечно, ожидала, что мое внимание сразу же будет привлечено к интерьеру храма. Это было естественно, и естественно было ее желание увидеть мою реакцию. Не знаю, что меня заставило взглянуть

на нее... Что-то заставило... Она находилась слева от меня, чуть-чуть впереди... И она не успела отвести глаз. Ее взгляд был острым, колючим, он полоснул меня как бритвой. Но главное было не в этом. В острие ее взгляда сконцентрировались все ее мысли, желания, вся ее жизнь, все существо... И все это оказалось раскрытым для меня. Я ее понял, и она это поняла. На какой-то миг она растерялась, не зная, как вести себя дальше: сделать вид, что ничего не произошло, и вновь надеть на себя благопристойную маску или... или, отбросив дурацкие приличия, предстать передо мною такой, как есть. В этом состоянии растерянности я оставил ее у входа.

В храме был полумрак. Не поворачиваясь к Елизавете Ивановне, я сказал:

— Зажгите, пожалуйста, свет.

Однако, прежде чем вспыхнуло паникадило, я с ужасом увидел, что в иконостасе почти не осталось икон. При электрическом свете стали видны грязные ржавые потеки на сводах и стенах. Краска живописи шелушилась и отходила клочьями. На полу храма стояли лужи.

— Что здесь происходит? — спросил я.

Тонкие на помаженные губы Елизаветы Ивановны растянулись в саркастической улыбке. Она, видимо, все-таки решила не валять дурака и предстать передо мною такой, как есть.

— Как вам известно, в храме полгода не было служб.

— И что из этого следует?

— Следует то, что вы видите, — с издевкой произнесла она.

— Почему вы, как староста, не позаботились своевременно починить кровлю?

— Денег не было, батюшка!

— Куда девались иконы из иконостаса?

— Похитили.

— Кто?

— Любопытные вопросы задаете. Откуда я знаю? Сбили ночью замок и похитили.

— Сторожа разве нет?

— Нет сторожа. Платить нечем.

— Судя по оставшимся иконам, это иконостас XVI века. Вы представляете ценность того, что похищено?

— Не представляю.

— Вы заявляли в милицию?

— Не заявляла.

— Почему?

— Церковь отделена от государства. Милиции нет никакого дела до того, что здесь происходит.

— Ошибаетесь! Речь идет о национальном достоянии. Понимаете? О национальном достоянии!

Елизавета Ивановна все прекрасно понимала. Она улыбалась нагло и снисходительно. Она чувствовала свою силу.

И тут у меня в буквальном смысле опустились руки. Положение было безвыходное. Приход явно доживал последние дни. Вернее, прихода уже не было. Он существовал лишь в бумагах епархиального управления.

Все было ясно как божий день. Никакой церковный староста, кто бы он ни был — верующий или воинствующий безбожник, — не будет рубить сук, на котором сидит. Благолепие дома Божия его может мало волновать, но разрушения храма он не допустит. И если в данном случае дело дошло до разрушения, значит, вопрос предрешен, значит, есть «мнение» и староста, повязанная с этим «мнением» (иначе она и не была бы старостой), стремится урвать последний кусок у Церкви путем откровенного разбоя и святотатства. Мой вопрос относительно милиции был более чем наивен. Какая тут милиция, если есть санкция свыше, если грабеж предусмотрен сценарием, авторы которого наверняка находятся в доле?

Я прошел в алтарь. Запрестольная икона, семисвечник, священные сосуды и священнические облачения были на месте.

— Ну как? — ехидно спросила Елизавета Ивановна.

— Слава Богу.

— Вы что, собираетесь служить?

— А зачем иначе я сюда приехал?

Елизавета Ивановна с неподдельным удивлением взглянула на меня.

— Рассчитывать на ваше сотрудничество в возобновлении богослужений, — сказал я, — видимо, бессмысленно.

Моя собеседница продолжала молча, с недоумением смотреть мне в глаза.

— Можно ли расценить ваше молчание как согласие с тем, что сотрудничество между нами невозможно?

— Мне это было ясно еще до вашего приезда сюда.

— Вот и прекрасно. Приходского совета при храме, нужно полагать, не существует?

— Почему же? Список двадцатки где-то есть...



— Я говорю не о мертвых душах.

— Живая душа здесь я одна, — ухмыльнулась Елизавета Ивановна.

— Нет даже казначея?

— К чему казначей, если денег нет?

— Если дело обстоит таким образом, извольте передать мне ключи от храма.

Тонкие брови Елизаветы Ивановны удивленно взметнулись вверх. Такой акции с моей стороны она не ожидала и не знала, как реагировать на нее. Да, да, Елизавета Ивановна была права: она была единственной «живой» душой в списке «мертвых душ», хранящемся где-то в городском совете. Она была полновластной хозяйкой храма. Кто ее назначил председателем несуществующего приходского совета — секрет полишинеля. Об этом не принято спрашивать. Во всяком случае, к ее назначению не причастны ни прихожане, ни тем более настоятель храма, лишенный всякого права голоса и выступающий в качестве наемной рабочей силы. Елизавета Ивановна полновластно решала до сих пор, сколько заплатить священнику, сколько положить себе в карман (об этом умолчим!), сколько передать в конвертах таинственным лицам, от которых зависит ее пребывание в этой должности, сколько перечислить в местный бюджет, в Фонд мира (о, она, должно быть, великая миротворица!) и сколько, наконец, оставить на поддержание предприятия. Впрочем, все это уже в прошлом. Предприятие прогорело. Здание комбината разваливается. Видимо, где-то восторжествовало мнение, что идеология превыше всего! Но ничего страшного! Не получим очередную медаль от Фонда мира, получим грамоту по идеологическому ведомству, а это не фунт изюма! Не отремонтируем за счет церковных средств участок дороги от города до областного центра, ну и Бог с ними! Что толку от отдельного участка, если дорога полностью все равно никогда не будет отремонтирована? Зато можно будет отрапортовать о полной и всеобщей атеизации населения и тем утереть нос соседям. Наверху обязательно это отметят, не могут не отметить! Вопрос о закрытии храма был решен. Вот почему Елизавета Ивановна после некоторого колебания с ехидной ухмылкой достала из сумочки и передала мне ключи. Так, пожалуй, даже удобнее: если исчезнут последние иконы, ответственность ляжет на священника.

— Простите, Елизавета Ивановна, у меня к вам еще один вопрос: где бы я мог расположиться на ночлег?

— Ваш предшественник, отец Василий, имел квартиру в городе, неплохую квартиру, и загородный дом. У вас, конечно, не будет ни того, ни другого.

— О! Я на это и не рассчитывал.

— Входя в ваше положение, я могу попытаться помочь вам устроиться в гостинице, но успех не гарантирую. К себе, извините, не приглашаю.

— Уверю вас, я и не принял бы такого приглашения.

— А вот отец Василий принимал такие приглашения, и весьма охотно.

— Давайте оставим в покое отца Василия. Скажите, в храме нет никакой комнатухи?

— Есть. Видите дверцу? За ней винтовая лестница, она ведет наверх. Там есть келья, в которой когда-то, давным-давно, жил некий старец Варнава. Потом там ночевал сторож, это еще когда были деньги. Не знаю, удовлетворит ли она вас. Можете посмотреть. Только, извините, сопровождать вас туда я не буду. Все-таки женщина... Это было бы не совсем прилично...

Я вспыхнул.

— Елизавета Ивановна, не будем говорить о приличиях.

— Почему же? — наигранно-наивным тоном спросила она. — Где же еще, как не здесь, поговорить о приличиях?

— Здесь говорят о грехах.

— Можно и о грехах. Я могла бы рассказать вам много удивительного.

— Все, что вы можете мне рассказать, старо как мир. И ничего интересного для меня в этом нет.

— Не думаю. Впрочем, я вижу, вы не расположены к разговору о грехах. Позвольте откланяться.

— Странная манера разговаривать со священником...

— То ли еще бывает, батюшка, то ли еще бывает!

— Прежде чем мы с вами расстанемся — а мне хотелось бы расстаться с вами навсегда, — я вынужден задать еще один вопрос — относительно регента и хора.

— Что касается расставания, то, к сожалению, это не от нас зависит. Мы с вами тут только пешки. В отношении регента и хора могу сказать определеннее. Хора нет. Хору платить нужно. Регент был. Древний старец. Кто-то мне говорил на днях, что он при смерти, а может быть, и умер уже.

— Адрес!

— Чей? Регента? Пожалуйста.

Елизавета Ивановна достала из сумки блокнотик, что-то написала в нем, вырвала листок и передала мне.

— Свой адрес я тоже написала. Вдруг пригодится. Как знать! Ваш предшественник, отец Василий... Не глядите, не глядите на меня так! Все, ухожу. Прощайте!

Председательница приходского совета неприличной походкой направилась к выходу и, не перекрестившись, вышла из храма.

Я остался один в разрушающемся, приговоренном к уничтожению храме. Несколько веков здесь молились люди. Они шли сюда со своими скорбями, радостями и надеждами... Тысячи, десятки, сотни тысяч людей... Поколение за поколением. Здесь их крестили, здесь они венчались, исповедовались в своих грехах, молили Бога о помощи, здесь их отпевали,

когда они заканчивали свой земной путь. Все самые яркие и драматические события их жизни связаны с этим храмом. Неужели все это ушло, исчезло безвозвратно и передо мною только мертвый склеп?

Нет, нет, нет! Я стоял на коленях перед царскими вратами и почти физически ощущал, как от закопченных, потрескавшихся икон и фресок, от самих стен храма исходила незримая живая энергия. В народе есть выражение: «намоленный храм», то есть насыщенный, пропитанный молитвенной энергией тысяч и тысяч людей. Его можно разрушить и осквернить, устроить в нем склад и конюшню, но он никогда не станет мертвым склепом. Каждая его частица будет оставаться святыней, обладающей чудесной целительной силой.

В последнее время внимание ученых привлекает феномен интенсивного радиоизлучения Земли. Говорят, что наша планета, только что вступившая в фазу технологической цивилизации, кричит, как младенец, на всю Вселенную. Нет, наша планета не кричащий младенец. Что значат темные радиозумы по сравнению с ярчайшим светом пневмосферы Земли, излучающей духовную энергию! Свет пневмосферы в отличие от радиозумов, не теряя своей интенсивности, мгновенно достигает любой точки пространства, тотчас становясь достоянием Вселенной. И вот сейчас я нахожусь в одном из источников этого света. Он доверен мне. Я должен сохранить его во что бы то ни стало, не дать ему угаснуть, и не только ради той общины, настоятелем которой я назначен Священноначалием моей Церкви.

Не знаю, сколько времени прошло. Я поднялся наконец и, дважды перекрестившись перед престолом, прикоснулся к нему губами. И я понял вдруг, что сегодня же я должен совершить всенощную, а затем литургию, пусть даже один, пусть даже в пустом храме. И в голове мелькнула мысль, что от этого будет зависеть все: судьба храма и прихода и моя личная судьба.

Я решил осмотреть комнату, в которой мне предстояло отныне жить. С большим трудом удалось открыть заржавевший замок. Не было никаких сомнений в том, что он не открывался уже много лет. Что касается сторожа, который якобы там ночевал, то он скорее всего лишь числился в ведомостях Елизаветы Ивановны.

Открыв дверь, я почувствовал застоявшийся запах пыли. Поскольку электричество туда проведено не было, я зажег свечу и по узкой винтовой лестнице поднялся наверх. На лестничную площадку выходила дубовая, обитая медью дверь. Я толкнул ее. Она со скрипом подалась, и я оказался в небольшой келье со сводчатым потолком и узкой щелью вместо окна. Возле этой щели стоял покрытый сукном стол и старинный, с высокой резной спинкой, стул. У противоположной стены находился огромный кованый сундук, видимо служивший для прежнего обладателя кельи и лежанкой. В углу висела икона.

Я вставил свечу в стоявший на столе медный, с зеленоватым налетом подсвечник, подошел к сундуку и открыл его. Сверху лежал набитый соломой матрац. Под ним находилось бережно завернутое в простыню, стертое и потемневшее от времени священническое облачение: епитрахиль, фелонь, пояс, палица и поручи. Рядом лежали изданные в прошлом веке Служебник и Чиновник и толстые тетрадки, исписанные аккуратным бисерным почерком, с дореволюционным правописанием, с «ятью», «фитой» и «ижицей». Это были дневниковые записи и заметки по истории храма. В верхнем углу лицевой страницы тетрадей было написано имя: «Иеромонах Варнава».

Боже мой! Эти записи пролежали в сундуке по крайней мере лет шестьдесят! Невероятно! Но почему невероятно? Кого они могли заинтересовать? Елизавету Ивановну? Отца Василия? Вряд ли их мог соблазнить и старинный сундук... Впрочем, как они сумели бы вынести его отсюда? Но ведь сундук каким-то образом оказался здесь! Выходит, мастера изготовили его в самой келье по заказу ее обитателя... Когда же это было? Наклонившись, я разобрал на металлическом орнаменте цифру «7174», год от сотворения мира, 1666-й по новому исчислению. Век Алексея Михайловича! Стол у окна принадлежал уже новому времени. Однако и он, судя по габаритам, изготовлен здесь, в келье. Стул, конечно, можно было бы вынести, и в Москве коллеги Елизаветы Ивановны наверняка бы так и поступили. Они и сундук бы вынесли, прорубив полутораметровую стену храма. Но провинция есть провинция. Тмутаракань, одним словом.

Невероятным усилием воли я преодолел свое любопытство и отложил записи иеромонаха Варнавы. Спустившись вниз, я обнаружил во дворике около храма санузел, нашел ведро и половую тряпку и, набрав воды, вновь поднялся в келью. Я совершал омовение кельи в особом, приподнятом настроении, я почти священнодействовал. Ведь это была не просто уборка комнаты — смывалась пыль десятилетий: семидесятых, шестидесятых, пятидесятых, сороковых, тридцатых и, наконец, двадцатых годов. Воссоздавалась первозданная чистота святого жилища благочестивых старцев, неведомых мне божественных избранников, куда я сподобился подняться по узкой лестнице, как по лестнице Иакова. Это не было погружение в бездну веков, это было восхождение к Небу. «И увидел во сне [Иаков]: вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот Ангелы Божий восходят и нисходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака; (не бойся): землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему».

Вскоре келья сияла чистотой. Втиснувшись в щель окна, я открыл его. Свежий воздух впервые более чем за полвека ворвался в комнату.

Прочитав канон, я взял с собой облачение старца Варнавы, вино и просфоры, которые промыслительно дал мне архиепископ, и спустился в храм.

Сколько раз я облачался в алтаре перед службой, сколько раз машинально надевал на себя священнические одежды, почти бездумно читая подобающие молитвы! Сейчас все было иначе. С волнением и трепетом я рассматривал поблекшие облачения старца Варнавы. Господи, да им же нет цены! Они расшиты настоящими золотыми и серебряными нитями, украшены не стекляшками, а жемчугом и камнями! Это не жалкие поделки Софринской мастерской. Как случилось, что на них не обратили внимания ни отец Василий, ни Елизавета Ивановна, ни их предшественники, ни вездесущие чекисты, ни лихие комсомольцы двадцатых годов? А может быть, никто из них, полагаясь друг на друга, так и не удосужился подняться в келью старца Варнавы?

Облачения были тяжелыми, как рыцарские доспехи. Возлагая их на себя, я испытывал чувство подъема, пьянящего возбуждения, как воин, готовящийся на брань. Не случайно ведь при возложении набедренника читают: «Препояши меч Твой на бедре Твоей, Сильне». Доспехи и меч! Как герой рыцарской сказки, я обрел их сегодня. Они ждали меня десятки лет. Они были ниспосланы мне свыше, чтобы укрепить меня, сделать неуязвимым для врагов. Это ли не чудо? И разве не чудо то, что облачения, только что казавшиеся ветхими и тусклыми (может быть, потому и сохранились они), вдруг обрели блеск и сияние и при свете свечей заискрились драгоценные камни, ожил, стал чистым и ясным, казалось бы, умерший жемчуг.

Впервые в жизни я служил один в пустом храме.

Я был чтецом и диаконом, певцом и иереем. Я совершал службу неторопливо и размеренно — впереди была целая ночь, а если нужно, и утро. Не было ни малейшей усталости, и не было чувства того, что я один в храме. Наоборот, я почти реально ощущал присутствие в нем великого множества людей, молившихся здесь и год, и сто, и четыреста лет назад. И порою я зримо и явственно различал в полумраке храма вдохновенные лица детей, согбенные фигуры старух, суровые лики мужчин, залитые слезами глаза молодых грешниц. А за ними, в глубине храма, находилась — я знал — моя паства, нынешние жители города Сарска, они должны были быть на моей первой службе, и они были на ней. А еще дальше молились будущие чада Церкви. Господи, что же это? Галлюцинация? Самообман? Или, может быть, прозрение? Ведь если те, кто еще не рожден, присутствуют здесь, значит, храм не будет разрушен, значит, удастся все-таки сохранить его!

Я выходил на солею и, обратившись лицом к алтарю, читал за диакона:

— Миром Господу помолимся!

— О свышнем мире и спасении душ наших Господу помолимся!

— О светем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь Господу помолимся!

— О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды Господу помолимся!

— Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию!

Провозглашая слова ектеньи, я испытывал столь знакомое, на этот раз только многократно усиленное чувство единения с верующими. Я не видел их, я стоял к ним спиной, но я ощущал тысячи устремленных на меня взглядов, грехи и скорби молящихся невыносимым бременем ложились на меня. Стоявшие за мной мучались, страдали, словно не находя спасительных слов, способных вывести их из ада. Я произносил слова, которые пробивали незримую брешь между землею и небом, и в эту брешь устремлялось все то, что бродило, металось и не находило выхода в душах людей.

Я люблю диаконское служение. И хотя иеродиаконом мне довелось быть всего несколько месяцев, об этом времени у меня остались самые теплые воспоминания. Конечно, служение иерея, жреца и пастыря дает особое и, возможно, более полное и глубокое удовлетворение... И все же, что может сравниться с тем чувством, которое испытывает диакон, выступающий перед Богом как предстатель всех страждущих и скорбящих.

Наступил главный момент литургии — Евхаристия, когда происходит таинственное превращение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Я запел Херувимскую песнь. Но удивительное дело — голос мой становился все глуше и глуше, пока я не понял, что лишь беззвучно шевелю губами. Однако Херувимская песнь продолжала звучать. Она звучала на клиросе, и как звучала! Я никогда еще не слышал такого пения. Это пели ангелы, это пели херувимы! Все вокруг преобразилось. Изменилось само пространство. Своды храма стали легкими и воздушными. Они расплывались и колебались как дымка. И невозможно было уже определить реальные формы и размеры храма.

— Приидите, ядите, сие есть Тело Мое, Еже за вы ломимое во оставление грехов! Пийте от Нея вси, Сия есть Кровь Моя Нового Завета, Яже за вы и за многая изливаемая во оставление грехов!

Я причащался Святых Даров. Тело и Кровь Христа становились моим телом и моей кровью. Теплота, возникшая где-то в области моего сердца, разливалась по мне. Восторг охватил меня. Я становился богом, и становились богами все, кто находился в расширившемся до пределов Вселенной храме.

И дерзкая мысль возникла в моем уме, мысль о том, что служение, совершаемое мной, имеет космическое значение, что оно есть выражение вселенского закона, определяющего бытие мироздания. В самом деле, почему законы обязательно должны выражаться в математических формулах и логических умозаклучениях! И неожиданная догадка пронзила меня: до тех пор, пока совершается литургия, Земля будет стоять непоколебимо и Господь утвердит «Вселенную, яже не подвижится».

## 30 мая

Было уже утро, когда я вернулся в келью. Я постелил на сундук набитый соломой матрац, лег на него и моментально заснул.

Проснулся я часа через два бодрым и полным сил, как будто бы проспал целые сутки, и некоторое время недоумевал: была ли ночная служба, или все это мне приснилось — настолько необычными, выходящими за рамки реальности были мои впечатления. Вспомнились все события прошедшего дня: приезд в областной центр, прибытие в Сарск, храм, келья, старец Варнава и, наконец, служба — она была!

Я поспешно встал, съел вместо завтрака просфору и направился в горисполком — благо, он находился рядом, по другую сторону площади, которая раньше наверняка называлась Соборной.

Стоявший у дверей горисполкома милиционер бросил испуганный взгляд на мою рясу и наперсный крест и попросил (именно попросил, а не потребовал) пропуск, паспорт или партбилет. Ни того, ни другого, ни третьего у меня не оказалось. Милиционер растерялся. Мой «экзотический» вид лишил его дара речи. С обычным посетителем он не стал бы церемониться, но перед ним был не обычный посетитель. Поэтому милиционер, поколебавшись, вызвал дежурного по горисполкому. На того я произвел не менее сильное впечатление. Он некоторое время молча смотрел на меня, а потом вдруг сел, точнее, рухнул на стул, стоявший возле столика со служебным телефоном.

— Что вам угодно? — наконец спросил он.

— Нанести визит вежливости соседям и вручить свои верительные грамоты.

Лицо дежурного вытянулось от удивления. Глаза его расширились, но постепенно они стали сужаться, приобретая холодный металлический блеск, рука потянулась к телефону, и мне стало ясно, какая страшная мысль родилась в его голове. Я поспешил достать свои верительные грамоты, то бишь письмо уполномоченного Совета по делам религий. Дежурный настороженно взял бумагу. Взгляд его не то чтобы смягчился, а просто утратил напряженность, а лицо приняло снисходительно-презрительное выражение.

— Сегодня суббота, неприемный день, — брезгливо скривив губы, произнес он.

— В таком случае могу ли я попросить вас передать эту бумагу кому следует?

Дежурный задумался, затем набрал трехзначный номер телефона.

— Валентин Кузьмич, к вам посетитель, поп... с письмом из области... Хорошо.

Положив трубку, дежурный раздраженно промолвил:

— Я же сказал: сегодня неприемный день. Вас вызовут, когда нужно будет. Письмо оставьте.

Официальная часть моей программы на сегодня была завершена.

Теперь мне предстояло навестить регента церковного хора. Он жил в центральной части города, недалеко от Соборной площади, в огромной коммунальной квартире.

Поднявшись по «черной» лестнице на второй этаж, я оказался в темном, лишенном дневного света коридоре. Из общей кухни и туалета разносились жуткие миазмы. По коридору с дикими криками бегали и разъезжали на велосипедах дети. Вышедшая из кухни и чуть было не столкнувшаяся со мной старушка, увидев меня, от неожиданности перекрестилась, а затем, придя в себя, спросила:

— Вы, наверно, к Георгию Петровичу? Плох Георгий Петрович, батюшка, плох. Вот уже неделю лежит, не встает. Митька-пострел, ну-ка покажи батюшке дверь Георгия Петровича.

Митька подкатил ко мне на трехколесном велосипеде.

— Батюшка, дяденька, тетенька, — пролепетал мальчуган (священника в длинной рясе он, конечно, видел впервые), а потом ему вдруг стало смешно, он весело рассмеялся и крикнул: — Поехали!

Георгий Петрович лежал на высокой кровати с металлическими спинками, украшенными блестящими никелированными шариками. Он лежал на спине, неподвижно, с закрытыми глазами, руки его были скрещены на груди. Перед ним на коленях стояла пожилая женщина и горько причитала. Мое появление не могло не удивить ее, но вопросов она не стала задавать, а только сказала:

— Проходите, батюшка, умирает Георгий Петрович. Будете соборовать его?

При этих словах Георгий Петрович открыл глаза и, не поворачивая головы, взглянул на меня, взглянул с наивнейшим интересом, разительным образом контрастирующим с обликом умирающего человека и всей атмосферой в комнате. Но тут же вновь закрыл глаза.

— Как вы себя чувствуете, Георгий Петрович? — спросил я.

Ответом мне был лишь тяжелый вздох.

— Позвольте представиться: иеромонах Иоанн, настоятель вашего храма и вашего прихода.

— Какого храма? Какого прихода, батюшка? — простонал Георгий Петрович.

— Храма Преображения в городе Сарске.

— Нет такого храма.

— Сегодня ночью я отслужил там всенощную и литургию. Значит, есть такой храм.

Георгий Петрович вновь открыл глаза. Теперь уже, повернув ко мне голову, он разглядывал меня с нескрываемым любопытством.

— Правда, — добавил я, — ночью я служил один, в пустом храме. Но сегодня в шесть часов вечера служба будет для всех прихожан.

— Вы когда приехали в Сарск?

— Вчера вечером.



— Так... Так... Вчера вечером... Елизавету Ивановну видели?

— Видел и забрал у нее ключи от храма.

— Забрали ключи от храма? Плохо! То есть хорошо... И вместе с тем плохо!. Плохо, потому что это вызов, потому что такого здесь еще не бывало... А Валентина Кузьмича видели?

— Пока еще не сподобился.

— Но слышали о нем?

— Слышал.

— И без его согласия сегодня служить будете?

— Буду.

— Клавдия! — приказал Георгий Петрович. — Беги к Антонине, Марии, и Марфе, и другой Марии. Пусть к пяти часам соберут всех певцов в храм. Антонина будет читать часы. Слышала, что отец Иоанн сказал? В шесть часов всенощная! Где мой подрясник? Погладь его.

— Да ты что, Георгий?..

— В последний раз попоем, причастимся, а там и умирать можно будет.

— Как же ты с постели встанешь? Ведь целую неделю ничего не ел.

— Вот и хорошо, что не ел. Перед последней службой можно было бы и подольше попоститься.

— Почему перед последней, Георгий Петрович? — спросил я.

— Батюшка мой, дорогой отец Иоанн, неужели вы думаете, что Валентин Кузьмич и иже с ним позволят, чтобы такое повторилось?

— Что повторилось?

— Служба Божия, совершаемая без их санкции. Ведь Валентин Кузьмич ни одной службы еще не пропустил! Первый приходит и последний покидает храм. Службу знает, как афонский монах. Бывало, к отцу Василию пристанет: «Почему сегодня с полиелеем служил? Какой политический подтекст в этом?» Всех прихожан не то что в лицо, поименно знает! Да что тут поименно — всю подноготную: где работаешь, где живешь, какие с тещей взаимоотношения, предков до седьмого колена перечислить может. Увидит незнакомца в храме, сразу же: «Кто такой? Ах, не хочешь говорить... Ладно, поговорим в другом месте!» Выходит незнакомец из храма, а его уже комсомольцы-дружинники поджидают — хват за белы ручки и к Валентину Кузьмичу в кабинет. Там бедняга все, как на исповеди, расскажет. Вот какие у нас дела творятся.

— Удивительные дела!

— Обычные дела, самые что ни есть обычные, заурядные, скучные. Что же касается удивительных дел, то они здесь в двадцатых годах совершались. Великим чудесником был чекист Митька Овчаров, он же выпускник местной семинарии, была здесь когда-то семинария... Когда-нибудь расскажу вам о его подвигах...

Георгий Петрович преобразился. От мертвенно-бледной маски на его лице и следа не осталось. Он уже полусидел на кровати. Руки, которые только что, как у покойника, неподвижно лежали на груди, теперь отчаянно жестикулировали. Глаза горели.

— Господи! — Жена Георгия Петровича со слезами на глазах развела руками. — Никак умирать раздумал!

— Ты еще здесь? Я же сказал тебе, куда идти. И подрясник готовь мне!

— Иду, иду, Георгий. Слава Тебе, Боже! — Жена Георгия Петровича перекрестилась и опрометью бросилась из комнаты.

— Где вы остановились, отец Иоанн? — спросил Георгий Петрович.

— В храме, в келье старца Варнавы. Что вы можете мне рассказать о нем, хотя бы в двух словах?

— Что рассказать о нем? Святой жизни человек, умнейший, образованнейший человек, бывший оптинский старец. После революции, когда закрыли Оптину Пустынь, он оказался в Сарске. Служил в соборе. Говорили, что патриарх Тихон тайно рукоположил его и еще двух старцев во епископы, чтобы сохранилось апостольское преемство и святая Православная Церковь на Русской земле, в случае если бы большевики уничтожили весь епископат. В моей жизни он сыграл особую роль. Я приехал в Сарск из Тамбовской губернии, спасаясь от голода. Родители и все близкие мои умерли. Было мне тогда пятнадцать лет. В Сарске я собирал милостыню на базаре и возле собора. А однажды во время службы я вошел в храм. Красота его поразила меня. И еще больше поразило пение церковного хора. В нашем селе была деревянная церковь, пели там мужики и бабы, пели неискусно, но все равно любил я клиросное пение. Прирожденный дар у меня к нему был, так же как у отца и деда. И вот в тот день в Сарском соборе, впервые в жизни слушая изумительное гармоническое пение поставленных голосов, я позабыл обо всем на свете и незаметно для себя стал подпевать. И вдруг хор смолк, а голос мой продолжал звучать на весь храм. Придя в себя, я испугался и хотел уже бежать. Но тут чья-то рука мягко опустилась мне на плечо. Передо мной стоял священник в монашеском клобуке и смотрел мне в глаза с такой теплотой и любовью, что на сердце сразу отлегло. Это был старец Варнава.

— Хочешь петь на клиросе? — спросил он меня.

— Хочу, — ответил я.

Он взял меня за руку и отвел на клирос. Так я стал певцом, а затем и регентом. В той самой келье, где вы поселились, отец Варнава занимался со мной не только музыкальной грамотой и литургией, но и русским языком и литературой, историей и богословием. А в двадцать четвертом году бывший семинарист Митька Овчаров расстрелял старца Варнаву в подвале здания горисполкома как «гидру контрреволюции и английского шпиона». В собор он привел красного попа, обновленца, протоиерея Венедикта Мухоедова. Тот брил себе лицо и голову, служил без облачения, в полувоенном френче, с папироской в зубах, вместо

проповеди читал статьи из «Правды» и все собирался сокрушить алтарную перегородку, но не успел — Митька Овчаров расстрелял и его как «японского шпиона, троцкиста и диверсанта». А через несколько дней Димитрий Прохорович Овчаров геройски погиб, сраженный бандитской пулей затаившегося врага народа, каковым оказался муж его секретарши, сотрудницы ЧК Катеньки Миловановой. Клялись отомстить за него врагам народа. Соборную площадь (значит, все-таки Соборную, подумал я) переименовали в площадь товарища Овчарова. Знатные были похороны! Кое-кто предлагал даже мавзолей ему воздвигнуть, но в Москве такую инициативу не одобрили. Старца Варнаву хоронили скромнее, ночью. Мы выкупили его тело у похоронной команды — сердобольные люди везде есть. Им и забот поменьше — не нужно к Волчьему Рву ехать, куда свозили расстрелянных еще с гражданской. Похоронили его честь по чести, священника пригласили из окрестного села — в самом деле, не звать же красного попа Венедикта Мухоедова. Я покажу вам его могилку, если Бог даст...

— Георгий Петрович, мне показалось, что в келью старца Варнавы со дня его смерти никто не входил.

— Очень может быть. Насколько помню, на двери, которая ведет в нее, всегда висел замок. Да и что там было делать? Поселиться там нормальный человек не мог.

— Выходит, меня, — с улыбкой заметил я, — вы не относите к их числу.

— Конечно. Ни вас, ни старца Варнаву.

— Ну на этом спасибо.

— Что касается товарища Овчарова, то ему там тоже делать было нечего. Он был не дурак и знал, что доказательств шпионской деятельности старца Варнавы в его келье не найдешь. Да и не нужны ему были доказательства. Каких-либо ценностей там также быть не могло. У того, кто хоть раз видел старца Варнаву, и мысли такой не возникало. Было, правда, еще одно обстоятельство... Существует предание, что старец Варнава предрек мученическую смерть всякому, кто войдет в его келью. Это чепуха, конечно, он говорил о мученическом, голгофском пути обитателей кельи, таких, как он и вы, но в восприятии невежественных, суеверных людей подобные высказывания могли приобрести искаженный смысл. А наши доморощенные атеисты, согласитесь, невежественны и суеверны.

— Думаю, вы близки к истине. Не буду вас больше беспокоить. Увидимся в храме перед службой. Объясните только, как найти могилу старца Варнавы. Я хотел бы отслужить у нее панихиду.

— Прямо сейчас?

— Ну конечно.

— Без санкции Валентина Кузьмича?

— Не будем осложнять жизнь ни ему, ни себе.

— Такой подход мне нравится.

Георгий Петрович легко встал с кровати. На нем была длинная, почти до пят, белая рубаха, наподобие той, в которой постригают и хоронят монахов, — он надел ее,

приготовившись к смерти, к смерти, которую неожиданно пришлось отложить. Он оказался маленьким и щуплым, почти на целую голову ниже меня.

— Сейчас, сейчас, отец Иоанн. Обождите минутку. Вот только надену подрясник. Жена не погладила его, но ничего, это не самое главное. Я всегда надевал его только в храме. Теперь впервые пойду в нем по городу открыто! Вот и все. Я готов.

Георгий Петрович расчесал гребенкой длинную седую бороду и остатки волос на голове, заплетенных в тонкую косичку.

— Идемте, отец Иоанн!

С какой торжественностью прошествовал Георгий Петрович в черном подряснике по длинному коридору коммунальной квартиры впервые за шестьдесят лет открыто, не таясь, с величавым достоинством отвечая на приветствия соседей, оторопело глядевших на него, как на воскресшего Лазаря! С таким же величественным видом он шел рядом со мной по улицам города. Он был счастлив, и невозможно было поверить, что этот человек полчаса назад неподвижно лежал на постели со скрещенными на груди руками и ждал смерти. И ведь умер бы — вот что самое удивительное!

Кладбище находилось на окраине города. Часть его была окружена узорной металлической оградой. «Новодевичьевка!» — сообщил мне Георгий Петрович. Все понятно. Спецкладбище для слуг народа районного масштаба. Его главной достопримечательностью была могила товарища Овчарова, которую украшала мраморная скульптура Геракла, борющегося со львом. Геракла привезли сюда из городского парка. Видимо, горожане решили, что тут ему самое подходящее место. Должно быть, мощный торс античного героя, как ничто иное, ассоциировался в их представлении с нестигаемым чекистом, а лев, конечно, с гидрой контрреволюции. Сюда приводили пионеров. Здесь они трубили в горн, били в барабаны и давали клятву продолжать дело товарища Овчарова. Другие памятники в «Новодевичьевке» были не столь величественны, но объединяло их одно: все они относились по стилю к XIX и XVIII векам, то есть были похищены с других могил и кощунственно изуродованы. С памятников были сбиты кресты и имена купцов различных гильдий — их заменили пятиконечные звезды и приснопамятные имена новых городских чиновников.

А за пределами «Новодевичьевки» безбрежный лес могильных крестов. Атеистический официоз, окруживший себя чугунной оградой, выглядел среди них как осажденная крепость. Есть тут и третье кладбище, без крестов и оскверненных надгробий, с безымянными захоронениями. Сколько погребенных в каждом из них? Сотни? Тысячи? Это Волчий Ров.

Их больше нет на этой земле, погребенных на «Новодевичьевке», на диком кладбище и в Волчьем Рву, христиан и богоборцев, жертв и преступников, в свой час естественным или насильственным путем покинувших этот мир, но драма продолжается. Похищенные и оскверненные памятники за чугунной оградой, лес крестов и безымянные холмики вопиют об этом. Драма продолжается.

— Отец Иоанн, идите сюда, она здесь, около часовни.

Мы подошли к полуразрушенной кладбищенской часовне, и я увидел могилу с деревянным осьмиконечным крестом. На ней лежало несколько свежих гвоздик, положенных, видимо, сегодня. Никакой таблички на могиле не было. Георгий Петрович поймал мой недоуменный взгляд.

— Бесполезно, — сказал он, — каждый раз табличку срывают. Но все равно все знают его могилу. Цветы каждый вечер с нее убирают, а утром они появляются вновь. Старца Варнаву здесь почитают как святого. Многие у его могилы получили исцеление. Я записывал все, что мне становилось известно о таких случаях. Эти записи я передам вам — может быть, пригодятся при будущей канонизации.

Около могилы стояло несколько человек. При нашем появлении они расступились.

Я надел епитрахиль и поручи старца Варнавы и начал совершать панихиду. Присутствовавшие стали подпевать. Георгий Петрович вступил в права регента. Нужно было его видеть в этот момент! Маленький, щедедушный человек с седой бородой и редкими седыми волосами, заплетенными в косичку, только что вставший со смертного одра, презираемый и никому не нужный, он преобразился! Лицо его светилось. Оно излучало ласку и доброту. И в то же время во всем облике Георгия Петровича ощущалась непоколебимая властная сила, которой невольно покорялись певцы импровизированного церковного хора. Порой его седые брови сурово сдвигались и он гневно грозил пальцем кому-нибудь из певцов, взявшему неверную ноту. «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего», — разносилось по кладбищу. Хор постепенно увеличивался. Вот уже у могилы старца Варнавы стояла толпа человек в пятьдесят — собрались все, кто в то время находился на кладбище.

Да, мне приходилось слышать различные церковные хоры, профессиональные и не совсем профессиональные. Но ни один из них не производил еще на меня такого сильного впечатления. Сейчас звучали голоса, пели души! Что же касается недостатков и промахов отдельных певцов, то они погашались мощными волнами, рожденными в глубинах человеческих душ. Все, что подавлялось, все, что сдерживалось долгие годы внутри людей, вдруг вырывалось наружу. Это был миг неожиданного раскрепощения, выхода в иной мир, мир подлинной свободы.

И тут я понял, откуда эта гармония, что заставляло звучать в унисон не только голоса, но и человеческие души. Я убедился в святости этого места, в святости погребенного здесь старца Варнавы. Это чувство внутренней убежденности невозможно рационально объяснить, и тем не менее оно реально, безошибочно. Подобное чувство я неоднократно испытывал, находясь у мощей преподобного Сергия Радонежского. С чем это связано? С ощущением близости к сильному источнику духоносной энергии? Не знаю. Но всякий раз, приближаясь к преподобному, я замечал, что каждая частица моей души приходит в движение. Все мои переживания многократно усиливались. Обострялась жажда совершенства и чистоты. Но в то же время в памяти оживали темные желания и помыслы, столь неуместные здесь, у источника света. А может быть, потому и оживали они, что свет вырывает их из темноты, давая возможность увидеть их в отвратительной наготе, убивая их тайну и притягательность и тем самым вызывая в душе чувство мучительного стыда и покаяния. По своему опыту я знал, что к службе у преподобного Сергия нужно особенно тщательно готовиться: если внутренне я был готов к ней, служба проходила легко и вдохновенно и даже мой слабый голос звучал так, как будто принадлежал не мне; в противном случае нужно было ждать неминуемых искушений и срывов. Здесь, у могилы старца Варнавы, я внезапно почувствовал тот же самый, столь знакомый мне, рационально необъяснимый прилив сил. И не только я... Этот подъем испытывали все участники панихиды. Чтобы понять это, достаточно было услышать их пение, взглянуть им в глаза...

Панихида закончилась. Но никто и не думал расходиться. Люди молча, выжидательно глядели на меня. И вот тогда Георгий Петрович выступил вперед.

— Братья и сестры, православные! — на удивление крепким голосом произнес Георгий Петрович. — Возлюбленные во Христе, родные мои! Мы только что впервые за полвека совершили панихиду у могилы новомученика старца Варнавы. Мне довелось его лично знать. В сане иеромонаха он служил в соборном храме нашего города. Это был святой человек, обладавший даром провидения. Немало удивительного я мог бы рассказать о нем. По молодости многого я тогда не понимал. Но теперь, завершая восьмой десяток; свидетельствую: все, все он предвидел — все беды, обрушившиеся на нас, страшную войну, которую нам пришлось пережить, и катастрофы, которые нас еще ожидают. Каюсь, однако, перед вами: сомнение я испытал. Видя запустение нашего соборного храма, усомнился я в словах, которые слышал от старца Варнавы. А говорил он мне вот что: «Знай, дорогой брат мой Георгий, никогда не прекратится служба Божия в этом храме». В последние месяцы, после того как настоятель прихода протоиерей Василий (да простит Господь грехи его!) уехал служить в заморские страны, не выходили у меня из головы эти слова. «Как же так, — думал я, — не прекратится служба? Ведь прекратилась же!» И от мысли этой мне стало невыносимо. Жить расхотелось. Как жить без храма? Как жить, если святой праведник предрекает неверно? Ведь если он в одном ошибиться мог, как другим словам его верить? Но посрамил меня Господь. Он послал нам нового настоятеля — отца Иоанна, который сегодня ночью совершил литургию в храме и только что, как прямой преемник старца Варнавы, отслужил панихиду у его могилы. Прошу любить его и жаловать. Отныне он вам пастырь. Подходите к нему под благословение. А сегодня вечером, в шесть часов, в храме состоится всенощная! — последнюю фразу Георгий Петрович произнес с особой торжественностью, почти с торжеством.



В центре города, недалеко от храма, у меня произошла неожиданная встреча — лицом к лицу я столкнулся со своим бывшим другом Вадимом Бурковым. Мы с ним вместе учились в семинарии и академии. Вадим резко выделялся среди однокашников своим интеллектом, способностями и, я бы сказал, энциклопедизмом знаний. Последнее поражало меня. Какая бы тема ни затрагивалась в беседе с ним, обо всем он судил компетентно, со ссылкой на источники и авторитеты. Когда и как он сумел прочитать такое количество научных и богословских работ (о художественной литературе я не говорю) и, главное, усвоить и систематизировать прочитанное?! Я бы не сказал, что он больше, чем я, проводил времени за книгами. Может быть, дело заключалось в его феноменальной способности быстро читать? Действительно, когда я видел его сидящим с книгой в руках, мне казалось, что он не читает, а просматривает ее, небрежно перелистывая страницу за страницей. Учебники и конспекты он вообще не брал в руки, открыто иронизируя над ними. Преподаватели побаивались его и чувствовали себя явно неуютно в его присутствии. В то время как другие семинаристы зубрили Катехизис, он уже основательно знал творения отцов Церкви, читал отца Сергия Булгакова, Бердяева, Розанова, Флоренского, Лоского, Франка. Но однажды Вадим не явился в академию, а на следующий день в одной из центральных газет было опубликовано его заявление об отречении от Бога. В заявлении религия представлялась как «опиум». Оно изобиловало грубыми выпадами против администрации духовных школ, преподавателей и учащихся. Обстановка в академии и семинарии изображалась в карикатурном виде. Несколько дней в печати продолжалась атеистическая вакханалия, но неожиданно она как по команде прекратилась. После этого в газетах и журналах несколько раз мелькали подписанные Вадимом «теоретические» статьи, «разоблачающие» религию. Они изобиловали обычными атеистическими штампами, отличались удивительным примитивизмом, и невозможно было поверить, что их писал тонкий знаток Бердяева и Флоренского, пусть даже и утративший веру. Потом его имя окончательно кануло в небытие. И вот неожиданная встреча на улице захолустного городка. Видно, на стезе атеистической пропаганды Вадим не снискал себе лавров, если, как и я, оказался в конце концов в Тмутаракани.

Почти столкнувшись со мной, Вадим растерялся. Он охотно бы прошел мимо, сделав вид, что не заметил меня, но было поздно. Наши взгляды встретились. Он кивнул мне и остановился.

— Здравствуй, Вадим, — сказал я.

— Здравствуй... Не знаю, как теперь тебя величать. Судя по клобуку, ты сменил имя.

— Позволь усомниться в том, что ты не знаешь, как меня величать. Думаю, что твоя новая профессия обязывает тебя следить за церковной печатью.

— Да, я просматриваю «Журнал Московской патриархии» и «Богословские труды». Из любопытства, отец Иоанн, только из любопытства...

— А трудишься все на той же ниве?

— Ну как тебе сказать... Не знаю, что ты имеешь в виду.

— Я имею в виду «наркологию».

— Но ты-то, ты-то должен был понять!

— Что понять?

— Все!

— Извини меня...

— Я занимаюсь сейчас литературной работой... Чистой литературой. Ты же знаешь...

Да, я знал. Вадим имел несомненное литературное дарование. Он писал талантливые стихи и драмы в стихах, в основном религиозного содержания. Они отличались изяществом формы и философской глубиной. Он был, может быть, не очень яркий, но самобытный поэт. Однако что-то в его поэзии смущало меня. В своих философско-религиозных размышлениях он зачастую настолько далеко уходил от православия, что его вполне можно было считать неоплатоником. Я прекрасно понимал, что поэзия не может быть хрестоматией по догматике, и тем не менее для меня был очевиден назревавший конфликт: соединение несоединимого в одной личности, усиливавшаяся на моих глазах напряженность во взаимоотношениях двух начал — христианского и языческого — создавали драматическую коллизию. И только в нашей уродливой действительности неизбежная мучительная развязка могла превратиться в непристойный фарс на страницах низкопробной атеистической печати. Вадим был прав — я знал лучше, чем кто-либо другой, подоплеку этого фарса, поскольку в академии я один был посвящен в тайну его творчества и мне одному во время вечерних прогулок по лавре он читал вполголоса свои стихи, которые не имели ни малейшего шанса встретить понимание ни в нашей академической среде, ни в официальных литературных кругах. Лихорадочный блеск, которым светились в эти минуты его глаза, предвещал страшную развязку, но мне, конечно, не могло тогда прийти в голову, что все завершится таким примитивным, дурацким, мелкобесовским образом. И главное, его отчаянный шаг ничего не решал. Он вел в тупик, в безысходность. Что значит в этом контексте заниматься «чистой литературой»?

— Чистой литературой? — переспросил я. — Что это значит?

— Это значит, что я пишу.

— А живешь ты на что? Вадим покраснел.

— В этом отношении наметился прорыв. В местном театре приняли к постановке мою пьесу.

— «Юлиана Отступника»? «Василия Великого»? «Киприана»?

— Нет, пьесу на современную тему.

С моего языка готово было сорваться что-то язвительное относительно творений соцреализма. В самом деле, какую иную пьесу могли принять к постановке в провинциальном театре? Но я промолчал. «Чистая литература», о которой говорил Вадим, конечно же не имела никакого отношения к настоящей литературе. Его падение продолжалось. По-человечески мне было жаль его, однако какие-либо увещевания тут были бесполезны и говорить нам в сущности было не о чем.



— Решением Священного Синода, — сказал я, — ты отлучен от Церкви, поэтому на службу в храм я тебя не приглашаю, но в частном порядке, если пожелаешь увидеться, я в твоём распоряжении.

При словах об отлучении от Церкви лицо Вадима исказилось, как от боли. Потом его губы скривились в иронической улыбке.

— Ты намерен здесь служить?

— А зачем иначе я сюда приехал?

— Ну-ну... Желаю успеха.

— Взаимно.

Мы разошлись. Но, сделав два шага, Вадим вдруг резко повернулся и бросил мне:

— Что же ты ничего не спрашиваешь о Наташе? Мы поженились с ней. У нас сын.

— Сколько ему? Вадим усмехнулся.

— Четыре года, — произнес он с ехидным торжеством и, повернувшись, зашагал прочь.

## 31 мая

Около входа в храм меня поджидала толпа народа — весть о приезде священника уже распространилась по городу. При моем появлении толпа расступилась. Некоторые из собравшихся стали подходить ко мне под благословение. Другие с любопытством смотрели на меня.

Возле самых дверей стоял мужчина карликового роста, с короткими ногами и мощным торсом. Еще издали я почувствовал его взгляд. Он смотрел на меня испытующе, с надеждой и страхом. Когда же я приблизился к нему, он широко и истоиво перекрестился, схватил мою руку, прижался к ней губами и, не выпуская ее, зарыдал. Он силился что-то сказать, но из уст его исторгались только какие-то нечленораздельные звуки и мычание.

— Это Гришка-алтарник, — сказала одна из женщин. — Он немой от рождения, прислуживал здесь в алтаре, пока Елизавета Ивановна его не уволила.

Повинуясь внезапно охватившему меня чувству сострадания, я наклонился и поцеловал его.

— Идем со мной, — сказал я и, открыв дверь, пропустил его вперед.

Войдя в храм, Гришка-алтарник положил три земных поклона, затем, вобрав в ноздри воздух, блаженно заулыбался. Он учуял запах ладана. Своими короткими ногами Григорий засеменял в алтарь. Оттуда донеслось его радостное мычание. Я вошел в алтарь. Григорий с ликованием держал в руках свой короткий подрясник и стихарь. Они были на месте — Елизавета Ивановна не пустила их на половые тряпки.

Поцеловав и бережно повесив стихарь и подрясник, Гришка-алтарник стал поспешно перебирать висевшие в шкафу облачения. Затем он стал хаотично метаться по алтарным помещениям, заглядывая во все щели. Порою он удивленно причмокивал губами и возмущенно покачивал головой. Как я понял, производилась инвентаризация церковного имущества. Гришка-алтарник обошел и внимательно осмотрел весь храм, потом сел и стал что-то долго писать карандашом на помятых листах бумаги, в которые обычно заворачивают просфоры. Через некоторое время мне был вручен длинный список пропавших предметов. Он включал в себя иконы с их подробным описанием, священные сосуды, кресты, богослужебные книги, облачения и даже такие вещи, как утюг, вешалки и умывальник (мелочитесь, Елизавета Ивановна!).

В притворе храма висел набор небольших колоколов — свидетельство того, что голос колоколов на церковной колокольне давно уже не звучал, может быть целых полвека. Гришка-алтарник поманил меня в притвор. Перекрестившись, он взял в руки веревки колоколов. Минуту-две он стоял неподвижно. Его лицо побледнело, взор погас. Он уже ничего не видел и ничего не слышал. Он полностью погрузился в себя. И вдруг я явственно ощутил, что его взгляд и слух достигли таких сокровенных глубин, что сейчас, через какое-то мгновение, совершится чудо. И чудо совершилось! Григорий сделал легкое движение пальцем, и самый большой колокол издал звук. Боже мой, этот звук прозвучал для меня как откровение! Это был акт сотворения мира, сотворения из небытия. Я никогда не думал, что такой неисчерпаемый источник чувств и мыслей, такая бездна информации может таиться в одном только звуке, в одной ноте! Но тут прозвучал второй колокол, возник другой звук, другой по тембру, по окраске, по темпераменту, по своей сущности, — возник тогда, когда не угас еще первый. Они прозвучали одновременно, но отдельно, неслиянно, как диссонансы. Я слушал их звучание, оглушенный и растерянный, воспринимая их

раздельность и невозможность слияния как крушение единства мира, как космическую драму, катастрофу. Прозвучал третий колокол — и новое откровение. В возрастающей множественности вдруг возник элемент стабильности и совершенства. Троица! Начало преодоления хаоса! Из нее рождается гармония. И вот я уже слышу эту божественную гармонию.

Как прекрасно лицо Гришки-алтарника, Григория! Маска мертвенной бледности спала с него. Глаза его излучают свет, от которого становится легко и радостно. Глухая немота разверзлась. Он заговорил, заговорил языком звуков. Наконец-то он может выразить то, что наболело на душе. Я слышу его печаль и страдание, его радость, которая достигла апогея в пасхальном звоне. Пасха Господня! Это высшая точка, кульминация в жизни Вселенной и каждого отдельного человека. А разве не таков сегодняшний день для меня и для Григория? Не знаю, позволит ли Господь мне отслужить в этом храме Страстную неделю и Пасху, но сегодня у нас воистину пасхальный день. И не случайно, конечно, звучит пасхальный звон в ограбленном и поруганном храме.

— А что, Григорий, ты не мог бы позвонить ко всенощной в большие колокола на колокольне?

Невероятная гамма чувств всколыхнулась в устремленном на меня взгляде Гришки-алтарника. Он понял мою мысль раньше, чем я произнес фразу до конца. И я увидел в его глазах радость и муку, дерзкую решимость и растерянность, веру в мои слова и сомнение, почти отчаяние.

— Ты не проводишь меня на колокольню? Мычание, подобное боевому кличу, вырвалось из его груди. Он схватил меня за руку и, поспешно засеменя ногами, потащил за собой.

Дверь на колокольню оказалась обшитой мощным листовым железом. И если бы я не знал о ее назначении, то подумал бы скорее, что она ведет в укрепленный бункер. Ясно было, что эта броня не является исторической реликвией. На двери висел пудовый замок вполне современного образца.

— А ключ? — вырвалось у меня.

Гришка-алтарник что-то промышчал и тут же исчез. Вскоре он вернулся с ящиком старых ключей разных размеров и конфигурации. Сначала он пытался подобрать ключ к замку, но затем, махнув рукой, взял кусок толстой проволоки, согнул ее с помощью пассатижей, вставил в замок, крутанул пару раз, и тот открылся.

Мы долго поднимались по винтовой лестнице наверх, пока не оказались перед еще одной бронированной дверью с таким же массивным замком. Та же самая отмычка помогла нам преодолеть и это препятствие. Перед нами открылась великолепная панорама города. Внизу простиралась центральная, Соборная, площадь. Подо мной над зданием бывшей городской думы развевался красный флаг. Там даже сегодня, несмотря на субботний день, бдели отцы города, все в заботах о нуждах его жителей. У подъезда здания постоянно сновали блестящие черные «Волги». Из них вылезали и вновь садились в них с высоты колокольни похожие на муравьев высокие должностные лица. Какие думы омрачают их чело, какие ответственные задачи они решают? На фасаде здания огромный транспарант: «Трудящиеся Сарска! Больше продукции стране!» На окраине города, как страшное допотопное чудовище, пыхтит и скрежещет железными зубами гигант индустрии. Из его пасти вырывается пламя. Смердящий сизый дым с жутким зеленоватым отливом заволакивает

полнеба. Это его продукцию нужно увеличить в два, три, пять, десять раз! Колокольня Преображенского собора и черная труба гиганта индустрии — два самых высоких сооружения города. Они как бы противостоят друг другу: Начало и анти-Начало, сросшийся с этой землей за пятивековую историю Преображенский собор и изготовившийся к прыжку, огнедышащий языческий Левиафан.

На здании бывшей городской думы, теперь исполкома и горкома, красуется еще один транспарант: «Граждане Сарска! Неуклонно повышайте свой идейный уровень!» И над этой, наверно не менее важной, задачей ломают головы отцы города. Уж Валентин Кузьмич-то наверняка ломает. Какое же может быть повышение идейного уровня без борьбы с религиозными предрассудками, без всеобщей и полной атеизации населения? Но вот тут-то как раз и неувязочка получается — не повышение, а понижение, настоящий прокол. Полгода в городе храм не действовал, как при коммунизме! И вдруг священник — как снег на голову. А ведь они еще не знают, что я уже совершил в храме литургию, правда без присутствия прихожан... Для них присутствие прихожан — самое главное. Без этого и литургия ненастоящая. Они никогда не понимали и никогда не поймут, что важнее всего сам факт совершения литургии. Ведь это объективнейший, наиреальнейший, действенный акт, не зависящий от условий, в которых он был осуществлен. А совершен он может быть и вне храма — им станет тогда келья, камера тюрьмы или окружающий нас мир. Они, однако, никогда этого не поймут. Но для верующих тут все ясно. Вот почему поднялся со смертного одра Георгий Петрович, вот почему пасхальным звоном возликовала душа Гришки-алтарника! Они еще не знают, наверно, не знают, что сегодня в шесть часов в этом храме состоится всенощная, и уж, конечно, не знают, что к ней на весь город зазвонят колокола. Интересно, как они воспримут столь непривычный для их слуха колокольный звон. Впрочем, реакцию предвидеть нетрудно. Колокола зазвучат для них как набат, как призыв к мятежу, как предвестник катастрофы! Пусть будет так. Это будет вызов рыкающему и смердящему Левиафану.

— В порядке ли колокола? — спросил я Гришку-алтарника.

Тот словно не слышал моего вопроса. Как загипнотизированный, он не сводил глаз с колоколов, поражавших воображение своим совершенством и изяществом (а ведь главный колокол весил не менее тысячи пудов) . Но вот рука Григория потянулась к веревке.

— Подожди. Не сейчас. Будешь созывать ко всенощной. Пасхальным звоном!

И только тут я оглядел площадку звонницы. Она была сильно изгажена. Повсюду валялись окурки, коробки из-под сигарет, бутылки, ржавые консервные банки.

— Откуда все это?

Гришка-алтарник с помощью пантомимы тут же дал мне наглядное пояснение. Сначала он, кивнув в направлении площади, смешно изобразил марширующего с флагом демонстранта. Затем представил целющегося из ружья стрелка-чекиста. Теперь все стало понятно. Вот почему здесь бронированные двери! Мы, оказывается, самочинно проникли на важный стратегический объект. Но теперь уж будь что будет. Валентин Кузьмич не счел нужным принять меня и предупредить. Откуда мне было знать, что церковная звонница превращена в секретный объект КГБ? Очень даже хорошо, что он меня не принял. Разрабатывая хитроумные гамбиты, промашку вы дали, Валентин Кузьмич, и, можно сказать, просто дурака сваяли!

Мы спустились вниз. До службы оставалось часа три. Я решил немного прибраться в храме. Григорий, однако, не позволил мне делать это, и в конце концов я с ним согласился. Перед службой мне нужно было прочитать Правила и, учитывая бессонную ночь, хоть немного отдохнуть.

Я поднялся в свою келью, лег на сундук и моментально заснул. И снился мне сон. Как будто стою я на Соборной площади в одном белом подризнике, босиком. И, чувствуя в себе необыкновенную легкость, понимаю, что стоит мне сделать небольшое внутреннее усилие, как я поднимусь в воздух. Я делаю это усилие и действительно начинаю подниматься все выше и выше. Вот уже подо мной блещут кресты и купола собора, у подъезда горисполкома снуют игрушечные черные «Волги», люди на площади и на прилегающих к ней улицах, запрокинув головы, смотрят вверх и показывают на меня руками. Мне легко и весело. Но постепенно какое-то неясное беспокойство закрадывается в душу. Я уже чувствую, откуда исходит оно, и догадываюсь, в чем дело. Не поворачивая головы, я делаю в воздухе полукруг, и мой взгляд встречается с устремленным на меня взглядом. В кроваво-черном месиве копошится змееподобное существо. Оно пристально следит за каждым моим движением и нетерпеливо бьет хвостом. Оно стремится оторваться от земли, но сделать это ему, видимо, намного труднее, чем мне. Для этого ему нужно разъярить себя, довести до кипения, до бешенства. Чудовище дико затряслось, оно сделало несколько прыжков, круша и сминая под собой дома и людей, и, наконец, взвилось в воздух. Оно устремляется мне навстречу. Теперь в его облике появилось что-то человекообразное, вернее, человеко-звериное. Мы летим навстречу друг другу. Столкновение неизбежно. Но страха во мне нет...

Я проснулся от грохота. Гремел гром. В стекло окна остервенело били капли дождя. Я подошел к окну. Все небо заволочла черная туча, ливень лил как из ведра. Господи, хоть бы поскорее прекратился он, чтобы ко всеобщей пришло побольше народу! Пока я вычитывал Правила, тучи рассеялись, и на небе опять выглянуло солнце. Я открыл окно — повеяло удивительной свежестью.

Храм за время моего отсутствия преобразился. Григорий тщательно вымыл полы и всюду, где смог, стер пыль. Под лучами вечернего солнца засверкала поблекшая позолота иконостаса. Через открытые окна и двери в храм вливался напоенный озоном воздух.

Хор был уже в сборе. Дюжина женщин и пяток пожилых мужчин. Георгий Петрович торжественно представил их мне: «Мария, Марфа, другая Мария...» Все они чинно подошли под благословение. Одеты были празднично. Лица их светились.

Храм стал наполняться народом. «Ну, что же, пора!» Я позвал Григория:

— Можно звонить.

Григорий, бросив на меня пристальный взгляд, в котором сквозили и восхищение, и тревога, направился на колокольню, а я пошел облачаться.

И вот ударил колокол, многопудовый большой колокол, молчавший несколько десятилетий, и ему радостно ответили разверзшиеся голоса его меньших собратий. Конечно, в этот момент сжалось мое сердце. Но я уже не думал о том, какое впечатление все это произведет на жителей и отцов города, на верующих и богоборцев. Начиналась служба.

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков!

Когда я вышел на каждение, храм был уже полон, а люди все еще входили в него! Я кадил иконы и народ, почтительно расступавшийся передо мной. Я вглядывался в лица прихожан. Десятки, сотни устремленных на меня глаз. Я открыт для них. «Глядите, глядите! У меня нет от вас тайн. Я слабый, грешный человек. Но у меня есть вера! Это стержень, основа моего бытия. Это главное, что у меня есть. Вера переполняет мое существо. Я готов поделиться ею с вами. Берите, берите ее! Это не мое. Это все от Бога!» Я, как губка, впитывал взгляды людей, пришедших в храм, и отдавал им всего себя без остатка.

Неторопливо, необычно долго я совершал каждение храма. Это была прямая встреча, лицом к лицу, со святынями собора и народом, — встреча, от которой зависело все дальнейшее мое служение.

Это были для меня, пожалуй, самые напряженные, самые эмоциональные минуты вечерней службы, затем она уже шла спокойно и размеренно, как и положено. Замедленным ритмом и умиротворением всенощная и отличается от Божественной литургии, динамичной и полной драматизма. Во время литургии я нахожусь в постоянном напряжении, — расслабиться нельзя ни на секунду. Чуть расслабишься — неизбежно впадешь в искушение и произойдет срыв. Это не значит, конечно, что вечерня и утренья допускают отвлечение внимания. Все дело в их более спокойном ритме.

И все-таки драматическая коллизия на всенощной произошла. Это случилось в конце службы, во время елеепомазания. Сотни людей друг за другом, приложившись к иконе, подходили ко мне. Они не похожи друг на друга, неповторимы. У каждого из них своя судьба, свои личные драмы и беды. И отношение у них ко мне разное. Одни благодарят меня за службу, смотрят мне в глаза с доверием и любовью. Другие, сосредоточенные в себе, меня как бы и не видят. Это меня не задевает, ведь они пришли сюда не ко мне, а к Богу.

Так вот, во время елеепомазания с какого-то момента я стал испытывать неприятное беспокойство. Повернув голову, я увидел его в нескольких шагах справа от меня. И я сразу понял, что это он. Поразила меня не вольтеровская усмешка на губах, не иронически-презрительное выражение глаз (они были разные, один глаз меньше другого), не напыщенная самоуверенность. Поразило меня иное: исходящее от него черное излучение. Я физически ощутил черную энергию, собственными глазами увидел черное сияние, затмевавшее свет свечей. Это не было проявлением естественного человеческого сомнения или скептицизма — тут и не пахло идеологией, — передо мной был воплощенный сатанизм.

Я приостановил елеепомазание и отложил кисточку для елея. Я посмотрел на него в упор, попытавшись вложить в свой взгляд все свои силы и всю свою веру. Не этот ли поединок предвещал кошмарный сон, приснившийся мне сегодня? «Только бы выстоять. Господи, укрепи меня!» Люди, ждавшие елеепомазания, и все, кто стоял вокруг, вслед за мной также устремили на него пристальные взгляды. И он не выдержал. Резко повернувшись, он направился вон из храма.

— Валентин Кузьмич, Валентин Кузьмич, послышался вокруг глухой ропот, и вдруг на весь храм прозвучал чей-то пронзительный голос:

— Сатана, изыди!

## 6 июня

Передо мной лежала тетрадь, исписанная ровным, четким почерком. Не нужно было быть графологом, чтобы по первому взгляду, не вчитываясь в дневниковые записи, составить вполне определенное представление об их авторе. Четкий, лаконичный, уверенный почерк. Так писать мог сильный, волевой человек аскетического склада, привыкший к постоянному самоконтролю. Но вместе с тем в дугах ровных букв ощущалась какая-то внутренняя напряженность, они как бы сковывали, сдерживали, умирляли подспудное вулканическое кипение. Каждая буква, каждое слово были чреватые взрывом.

Первые записи относились к 1904 году. Вот одна из них:

«Сегодня я был принят Государем.

— Я слышал о вас много лестного, — сказал он. — Мне нужен настоятель посольского храма в Пекине. Эта миссия, которую я хотел бы поручить вам, чрезвычайно важна.

Государь говорил о роли России на Востоке, о том, что расширение ее пределов на восток, почти не требовавшее военных усилий, было естественным и промыслительным, поскольку здесь находятся наши главные природные ресурсы, необходимые для будущих поколений.

— А ведь монгольские степи и Китайская равнина, — подчеркивал он, — являются прямым продолжением равнинных пространств России. Китайцы — народ пассивный, — развивал свою мысль Государь. — Они ненавидят европейцев, но поневоле могут оказаться в их руках. Дни маньчжурской династии сочтены, в Китае наступит анархия. Имеем ли мы право оставить на произвол судьбы богатейшую страну с 400-миллионным населением? В руках англичан она может обратиться против нас, овладеть сибирской линией или принудить нас держать там огромную армию. В этой связи важнейшее значение приобретает Тибет, самое высокое плоскогорье Азии, господствующее над всем Азиатским материком. Ни в коем случае нельзя допустить туда англичан. Японский вопрос — нуль по сравнению с тибетским\*.

Рассуждения Государя не были для меня откровением. Все это я уже слышал из уст Бадмаева, которому, несомненно, был обязан и этим приемом во дворце, и столь странным и неожиданным для меня предложением поехать в Пекин. Вспомнился разговор с Бадмаевым в моей келье в Оптиной Пустыни, — странный, фантазмагорический разговор о России. Я имел тогда неосторожность провести параллель между историческими судьбами России и Византии и высказать мысль о том, что последнюю погубила неподвижная идея возвращения на Запад, в то время как ее основные жизненные ресурсы и главные угрозы находились на Востоке. И вот тогда-то Бадмаев страстно заговорил о монгольских степях и равнинах Китая, о Тибете, который якобы ждет Россию. «Неужели истинно русский человек, — воскликнул он, — не поймет всю важность этого вопроса?! Ведь с берегов Тихого океана и высот Гималаев Россия сможет держать в руках Европу и Азию!» И я с ужасом подумал, что в раскосых азиатских глазах бурятского знахаря, высоко вознесенного судьбой, читаю в этот миг роковую участь России. Господи, не допусти этого! И конечно же я не мог тогда и предполагать, что наш разговор будет иметь продолжение в кабинете Государя.

---

\* на полях рукой автора: «И это говорилось 16 января 1904 года — за 10 дней до начала войны с Японией!»

— Ваше величество, — сказал я, — думаю, что моя кандидатура в связи с восточной миссией возникла по недоразумению. В данном случае речь идет скорее не о миссионерской, а о дипломатической деятельности. Для нее более подходил бы не монах, а женатый священник.

— Почему же? — возразил Государь. — Речь идет в значительной степени о миссионерстве. К тому же женатый священник не может стать епископом, а через какое-то время возникнет вопрос и об этом.

— Для работы на Востоке, однако, необходимы соответствующие знания и опыт. Их у меня нет. Есть и еще одно обстоятельство...

— Какое же?

— Не сочтите за дерзость, ваше величество, но я убежден в том, что драма России, а может быть и всего человечества, будет разыгрываться не в монгольских степях и не в Маньчжурии, а здесь, на русских равнинах. Если Тибет и Гималаи — крыша мира, то у нас под ногами разверзается провал в преисподнюю и над ним незримо возвышается новая Голгофа. Мое место здесь, Государь.

— Значит, провал в преисподнюю и Голгофа? Что же, будем молиться, чтобы миновала нас чаша сия.

Вопрос о поездке в Пекин больше не поднимался. Государь стал расспрашивать меня об оптинских старцах. Он явно не спешил отпускать меня, хотя, по его словам, на прием к нему в этот день было записано еще восемнадцать человек. Я был приглашен на чай и представлен Государыне и царевнам.

В глубокой тревоге я покинул Зимний дворец.

Империя и Россия... В какой мере совместимы эти два понятия? И совместимы ли вообще? Чудовище, возвращенное Петром, изготовилось к прыжку на Восток. Ради чего? Ради безопасности России? Ради ресурсов и жизненных пространств, необходимых для ее будущих поколений? Но Империи нет никакого дела до России как таковой, она паразитирует на ней. Русская духовность и русская культура для нее в лучшем случае — грим, под которым она пытается скрыть свою звериную, сатанинскую сущность. Русский народ для нее — живой инструмент, пушечное мясо, выражаясь словами Наполеона. Сколько душ погубил Петр Первый ради честолюбивых имперских планов! Страну довел до разорения! И все для чего? Чтобы силой прорваться в Европу! Империя всеядна, она может проглотить все, и ничто не в состоянии ее насытить. Она безлика, универсальна. Как Царство Божие одно, так и она стремится быть одной. Ей тесно в любых рамках. Не удалось взорвать рубежи на Западе, она будет двигаться на Восток, до Гималаев, до Индийского океана. Но остановят ли и эти естественные препятствия ее натиск?

Прав Государь, когда говорит о важности освоения безлюдных пространств Сибири. Но обширные равнины Средней Азии и Китая, населенные многочисленными народами со своеобразной древней цивилизацией, — это ведь совсем другое дело! Каким может быть место России в этом конгломерате народов? Зачем нам подобное вавилонское смешение языков?

Сознает ли все это Государь? Как бы то ни было, он, стоящий во главе Империи, по своему духу и складу (да, да, я в этом уверен!) не является выразителем имперской идеи. В



этом парадоксе — кульминация кризиса. Империя в лице своего верховного правителя пришла к самоотрицанию. И конечно же Государя влечет к себе не Восток Ксеркса, а Восток Христа! Не пытается ли он изменить характер, сущность имперской экспансии? В моем лице ему нужен был не дипломат, а апостол. Я не оправдал его надежд. Это легко можно было заметить по его грустному, усталому взгляду. Но я и не мог оправдать надежд Государя. У меня другое призвание. И он это тоже понял. Я призван взойти на Голгофу здесь, в России, так же как и он. В трагические переломные моменты истории хитроумная дипломатия бессильна. Государь, Помазанник, есть Агнец, и у него одна только возможность выполнить свой долг — принести себя в жертву».

Мое чтение дневника старца Варнавы было прервано стуком в дверь. Гришка-алтарник жестами объяснил, что пришел посетитель, и, судя по взволнованному лицу Григория, это был не совсем заурядный визит. Я спустился вниз. На паперти у дверей храма стояла Елизавета Ивановна. На ней было скромное черное платье, на голове платочек, на лице ни следа косметики.

— Благословите, батюшка, — потупив глаза, произнесла она.

— Нет, благословить вас я не могу.

— Я вас очень прошу.

— Не просите, Елизавета Ивановна. Тем более что для вас мое благословение не имеет никакого значения.

— Поймите, отец Иоанн, нам все равно необходимо найти общий язык. Это и в моих, и в ваших интересах.

— Нам не о чем разговаривать.

— Вы что, с луны свалились, батюшка? Неужели не понимаете, что этот храм — мой? Он зарегистрирован на мое имя. Я — председатель общины, а вы — только наемник. Я могу вас нанять и могу отказаться от ваших услуг. Это хотя бы вам понятно?

— Вы не можете быть председателем общины.

— Почему же?

— Община объединяет верующих, в е р у ю щ и х !

— А вы докажите, что я неверующая.

— Мне не нужно это доказывать, Елизавета Ивановна. По церковным канонам мне принадлежит право вязать и решить, допускать или не допускать вас к причастию и церковному общению.

— Я буду жаловаться.

— Кому, Валентину Кузьмичу?

— Да, Валентину Кузьмичу.

— Мне говорили, что он знает церковные каноны, как афонский монах.

— Он не хуже знает и государственные законы. Ясно?

— Куда уж яснее! Всего хорошего. И запомните: дальше паперти ни шагу! Храм для вас закрыт.

Метнув на меня уничтожающий взгляд, Елизавета Ивановна не очень твердой походкой удалилась.

«Что ж, — констатировал я, — противник чувствует себя не так уверенно, как можно было предполагать. Елизавета Ивановна предложила компромисс. Это уже кое-что значит. Выходит, вопрос о закрытии храма еще не решен. Как они будут действовать дальше? По-видимому, постараются оказать нажим на правящего архиерея. А как поступит тот? Пойдет с подношениями к угрюмому уполномоченному и таким образом сможет протянуть время, столь нужное мне для укрепления моих позиций. Некоторый резерв времени у меня есть».

\* \* \*

На следующий день мне, однако, пришлось убедиться в том, что я недооценил Валентина Кузьмича. После окончания литургии ко мне подошел молодой мужчина лет тридцати — тридцати пяти, интеллигентного вида, с рыжеватой бородкой. Я обратил на него внимание еще во время службы. Он стоял недалеко от амвона и с большим вниманием слушал мою проповедь. К причастию он, однако, не подходил и не исповедовался, ко кресту также не прикладывался. Подойдя ко мне, он попросил уделить ему несколько минут.

— Меня зовут Юрий... Лужин. Юрий Петрович Лужин. Я человек нецерковный, как вы, наверно, сумели заметить, но к христианству, и особенно к православию, отношусь сочувственно и с большим интересом. По образованию я архитектор. В Сарске оказался не по собственному желанию. Можно сказать, я сюда сослан, впрочем, так же как и вы.

— Почему вы думаете, что я сюда сослан?

— Ну, во-первых, об этом говорит весь город. А во-вторых, как же может быть иначе? Разве ваше место здесь?

— Мое место здесь.

— Не буду спорить. О себе я этого сказать не могу. Но ближе к делу. Будучи архитектором, я не мог не соприкоснуться с историей Церкви и с христианским учением. И помню, однажды подумал: «А почему бы и нет?» Учение о Фаворском свете меня поразило, словно вдруг завесу прорвало и заглянул я по ту сторону бытия. Все собирался обдумать как следует этот вопрос. Но не довелось, другие дела увлекли, миражи, которые и привели меня сюда. Здесь я работаю в отделе Госнадзора за памятниками архитектуры. Не работаю, конечно, а дурака валяю, но зарплату, правда небольшую, выдают исправно. Я вижу: все это вам не очень интересно. Перехожу к главному, к тому, что не может вас не заинтересовать. Мой начальник товарищ Блюмкин (не удивляйтесь, именно такая у него фамилия, как у чекиста, который Мирбаха убил) намерен в скором времени направить в ваш храм инспекционную комиссию. Цель комиссии — констатировать, что мракобесы-церковники довели выдающийся памятник архитектуры XVI века до плачевного состояния. Следовательно, его нужно изъять у них и превратить в музей. Товарищ Блюмкин будет назначен по совместительству директором. Значит, вторая зарплата. Но это еще не все. Начнется реставрация, и, как обычно бывает, затянется она на десятилетия. Улавливаете? Вот где золотое дно! Тут и деньги, и дефицитные стройматериалы! Какие особняки из них можно отгрохать себе и своим деткам! Кстати, мне уже предложена ключевая должность архитектора! Видите, чем жертвую, выдавая вам ведомственную тайну? Не знаю, сможете ли вы отбить атаку. Но я вам подскажу один ловкий ход. Не торопитесь его делать. Все нужно тщательно рассчитать и бить наотмашь, наверняка. Две иконы из иконостаса вашего храма висят в квартире у Блюмкина. Ну как?

— Спасибо.

— На меня не ссылайтесь, а свидетелей мы найдем. Вот моя визитная карточка. На всякий случай. Лучше пока не афишировать наше знакомство. Я сам к вам приду, когда будет нужно... Побеседовать о Фаворском свете. До свидания, отче.

Рассказанное Лужиным заставило меня серьезно задуматься. Готовящаяся акция не могла, конечно, явиться для меня неожиданностью. Мысль об этом у меня возникла сразу,

как только я подошел к изуродованному храму. Идея воспользоваться его запустением для того, чтобы изъять у верующих, лежала на поверхности. Валентину Кузьмичу в данном случае не нужно было ломать себе голову. А вот что делать мне?

Первым делом, разумеется, нужно починить кровлю. Затем следует приступить к внешнему и внутреннему ремонту. Это потребует колоссальных средств, которых у меня нет. Следовательно, в обозримом будущем можно об этом и не мечтать. Починка кровли — дело более реальное и, главное, необходимое и неотложное. Но хватит ли на это тех десяти тысяч, которые мне дал архиепископ? И где найти железо?

На следующий день во время литургии, я обратился к народу с проповедью, в которой призвал верующих принять участие в благоустройстве храма, и в первую очередь помочь отремонтировать его кровлю. Реакция последовала через день. Ко мне явился мужчина импозантного вида (судя по его поведению, в храме он находился впервые) и предложил кровельную медь. На мой вопрос о цене он заломил три тысячи. Когда я ответил, что такая сумма превышает мои возможности, обладатель меди легко согласился снизить цену сначала до двух с половиной тысяч, затем до двух и, наконец, до полутора тысяч. С кровельной медью мне никогда раньше не приходилось иметь дела, цифры, которыми оперировал мой собеседник, были для меня пустым звуком, но то, что он, почти не торгуясь, согласился снизить цену в два раза, не могло не насторожить даже далекого от коммерции профессора богословия. Я попросил его представиться.

— Иванов Иван Степанович, — с некоторой заминкой ответил коммерсант и, поскольку я продолжал смотреть на него с нерешительностью и некоторой настороженностью, поспешно добавил: — Директор городской базы стройматериалов. Да вы не беспокойтесь, через два часа медь будет здесь.

— Дело терпит, — сказал я. — Нужно подумать, куда ее сложить, а потом... было еще одно предложение...

— Кровельной меди? — с недоверием спросил Иванов.

— Кровельного железа, — ответил я.

— Но ведь это же совершенно несопоставимые вещи. Разве можно сравнить кровельную медь с железом?

— И все-таки тут есть над чем подумать. Как с вами связаться?

— Лучше я сам приду сюда.

— Хорошо.

— Скажите, когда.

— Допустим, послезавтра.

— Во сколько?

— В два часа.

— Послезавтра в четырнадцать ноль-ноль я буду у вас.

Мужчина ушел, но чувство беспокойства не покидало меня. Не понравился мне его бегающий взгляд — он избегал смотреть мне прямо в глаза, — насторожило, что он так легко вдвое снизил цену. Но может быть, три тысячи он заломил наобум — у попов, мол, денег полно! — однако, увидев жалкое состояние храма и поняв по моему виду, что все обстоит иначе, решил не тратить время на бессмысленные торги? Поколебавшись, он все же назвал мне свое имя и должность... Нет, интуиция мне подсказывала — что-то здесь нечисто. Хорошо еще, если ко мне приходил просто жулик, а если это козни Валентина Кузьмича?

Береженого Бог бережет. Не теряя времени, я решил направиться на базу стройматериалов. Директор не пожелал, чтобы я сам вступаю с ним в контакт по вопросу о покупке кровельной меди, но ведь мне нужны и другие материалы: олифа, краска, доски, гвозди и мало ли что еще.

База находилась на окраине города. Я подошел к воротам, вывеска над которыми удостоверяла, что это действительно городская база строительных материалов. На воротах висел заржавевший замок. Но смутило меня не это: дорога перед воротами, по которой по логике вещей должны были разъезжать туда и обратно грузовики с досками, бревнами и если не с кровельной медью, то по крайней мере с железом и шифером, заросла крапивой и лопухами. Чуть заметная тропинка была протоптана к находившейся рядом калитке. Я толкнул ее — она подалась. И что же предстало перед моими глазами? Глухой железобетонный забор окружал огромное, заросшее высокой травой и кустарником пространство. На нем размещался небольшой полуразвалившийся сарай и будка, около которой паслась коза. К дверям будки была прибита монументальная медная вывеска с надписью: «ДИРЕКТОР БАЗЫ». Я нерешительно постучал в дверь.

— Кто там? — послышался удивленный мужской голос. — Входи!

Я вошел. За столом, стоявшим посередине тесной будки, сидели двое: молодой детина лет двадцати пяти и пожилая женщина. Из граненых стаканов они пили какую-то жидкость с голубоватым оттенком, закусывая малосольными огурцами, помидорами и вареным картофелем. Пятилитровая бутылка с жидкостью стояла на столе.

При моем появлении работники базы замерли с открытыми ртами, продолжая держать в руках стаканы.

— Чур! Чур! — с выражением ужаса на лице произнесла женщина. Стакан выпал у нее из руки, драгоценная жидкость разлилась по столу и тоненькой струйкой потекла на пол. Женщина стала неистово креститься. А детина как замер, так и продолжал сидеть не шелохнувшись, окаменев в буквальном смысле слова. Их реакцию легко можно было понять. Появление любого посетителя должно было вызвать у них удивление. Но священник — в рясе, в клобуке, с крестом... Бог знает какие мысли мелькнули в их затуманенном мозгу.

— Мне нужен директор базы, — сказал я.

И только тут, услышав мой голос, детина медленно стал приходить в себя. Рука его, державшая граненый стакан, задрожала мелкой дрожью, расплескивая голубоватую жидкость, а глаза приняли более или менее осмысленное выражение.

— Я д-д-директор базы, — наконец, заикаясь, произнес он, — а это Н-н-нюрка, сторож.

— А где Иван Степанович?

— Какой Иван Степанович?

— Иванов.

— Не знаю такого. Это не по нашей части. «Ясно теперь, по какой он части», — подумал я. Разговаривать с директором базы о кровельной

меди (и не только о ней) не имело никакого смысла. Я повернулся к выходу.

— Так ты не за нами? — промолвил детина.

— Пить нужно меньше, — ответил я.

— Вот те крест, больше не буду! — в сердцах воскликнул детина и широко перекрестился.

\* \* \*

Я вернулся к храму и — о чудо! — увидел стоявший перед ним грузовик с кровельным железом. Два молодых человека атлетического сложения открывали борт машины, видимо, намереваясь разгрузить ее. Тут же суетился Гришка-алтарник. Женщина лет пятидесяти, в белом платочке, отдавала распоряжения. Завидев меня, она тотчас подошла ко мне и низко поклонилась.

— Благослови, батюшка, рабу Божию Агафью и сыновей ее Петра и Андрея. Железо вот привезла тебе на храм Божий. Давно купила его. Дом собиралась новый строить, да так и не собралась. Видишь, и пригодилось железо.

— Но может быть, еще соберешься дом-то строить?

— Нет, батюшка, это я твердо решила. На храм жертвую. Разве можно спокойно смотреть, как он разрушается? Будет храм Божий — будет все. Мои сыновья помогут тебе и покрыть его. Они на все руки мастера: и плотничать, и столярничать умеют. Господь меня не обидел.

Затем, понизив голос, Агафья сказала:

— Я хочу, батюшка, чтобы они поближе к храму были. Зарок я дала... Муж меня оставил, когда они совсем крохотульками были. А однажды... вот что случилось. Возвращаюсь я домой из города — мы тогда в деревне жили, — за продуктами я ездила... и вижу: пламя полыхает в полнеба. Пожар в деревне... И мой дом весь в огне. Соседи с ведрами бегают... «Детушки, детушки мои!» — завопила я. Где они, никто не знает. Бог только ведает, что я пережила в этот миг. Взмолилась: «Господи, все отдам. Ни шагу без воли Твоей! И детей так воспитаю. Спаси их, Господи!» И что же, батюшка... Выходит из горящего дома юноша — никогда я его раньше не видела — и выносит детей моих на руках. В белой рубашке он был, и, хорошо помню, крестик блестел у него на расстегнутой груди. Мне бы, дуре, в ноги ему поклониться! А я — искушение меня обуяло! — говорю: «Облигации у меня там остались, в сундуке, около печки». До сих пор все внутри переворачивается, как только вспомню об этом. Грустно он посмотрел на меня, без укора, но как бы с состраданием и вновь вошел в горящий дом. Больше уже никто его не видел. Потом мы все пепелище перерыли. Ни косточки не нашли. Только крестик. Как он не расплавился — ума не приложу. И не потускнел даже, блестит, как новенький. Учительница все уговаривала меня отдать его на экспертизу — из необычного металла, говорит. Но я не отдала. Повесила на грудь Петру — пусть носит. Пусть помнит, кому обязан своим спасением и кому должен служить. А что, батюшка, может быть, тот юноша не человек был, а ангел? И не погиб он в огне? Я все оправдание хочу найти себе... и не могу. Агафья смахнула слезу со щеки.

— Я очень хочу, чтобы мои сыновья поработали в храме. Да я и сама, наверно, могу пригодиться...

— Просфоры смогла бы печь?

— Конечно, батюшка.

— Нужен мне надежный человек - продавать свечи и пожертвования собирать...

— Благословите. Я могла бы вам и трапезу готовить... Одним Духом Святым, наверно, питаетесь. В чем только душа держится!

«В самом деле, — подумал я, — неделя моего пребывания в Сарске прошла, как в горячке. И спал я урывками, и питался в основном просфорами и чаем, который готовил мне Гришка-алтарник. Так, конечно, я долго не протяну. Жизнь должна иметь определенный распорядок и ритм. О поддержании физических сил тоже не нужно забывать. Иначе произойдет срыв. А этого только и нужно сатанинским силам, стремящимся уничтожить храм и приход».



\* \* \*

Часа через три ко мне вновь пришел Юрий Петрович Лужин.

— Железо приобрели? — с ходу спросил он. —

Отлично. Оперативно сработали. Теперь вот что я вам скажу. Немедленно начинайте ремонт кровли. Завтра утром все должно быть закончено. Час назад Валентин Кузьмич — знаете такого? Или, может быть, слышали о нем?

— Слышал и видел.

— Значит, комментарии излишни... Так вот, час назад Валентин Кузьмич приехал к Блюмкину. Он и сейчас у него сидит. Козни против вас строят. Генеральная линия, однако, уже отработана. Завтра к вам явится комиссия и запретит производить ремонт. Формально у них есть все основания для этого. Храм — памятник архитектуры. Реставрировать его должны профессионалы, а прежде вопрос нужно согласовать с десятком инстанций. На это не месяцы, годы могут уйти. А между тем кровля рухнет, и храм у вас отберут.

— Но нельзя ли как-нибудь иначе?

— Нельзя. Отец Василий Блюмкину регулярно дань платил, и тот на все глаза закрывал. Теоретически вы могли бы попросить у архиепископа крупную сумму, чтобы на какое-то время Блюмкина нейтрализовать, не две и не три тысячи — это для него копейки...

— Откуда вы знаете про тысячи?

— Валентин Кузьмич все знает.

— От продавца кровельной меди... Ивана Степановича Иванова?

— Делаете успехи! Раскусили, значит, его... Он, конечно, не директор базы строительных материалов и не Иванов — темная личность из компании Валентина Кузьмича.

— Так сколько же нужно, чтобы удовлетворить аппетиты Блюмкина?

— Много. Но сейчас это уже не поможет. Взять-то он возьмет, однако ничего не сделает для вас, потому что в это дело Валентин Кузьмич вмешался.

— А что нужно сделать, чтобы нейтрализовать, хотя бы на время, Валентина Кузьмича?

— Вот теперь вы в корень смотрите. Валентина Кузьмича можно нейтрализовать не крупной суммой, как Блюмкина, а очень крупной. Отец Василий так и делал. Но и этого недостаточно. Валентину Кузьмичу вы должны дать подписочку о том, что вы, находясь в здравом уме и полном сознании, добровольно, без всякого принуждения, из идейных побуждений соглашаетесь быть его секретным осведомителем и, избрав себе псевдоним Попов, например, или менее прозрачный, допустим, Октябрьский, намекая на свою приверженность идеалам Октябрьской революции, — как, звучит? — так вот, избрав себе псевдоним, обязуетесь регулярно писать ему агентурные донесения о всех и вся: о Елизавете

Ивановне — сколько стащила из церковной кассы и с кем блудит, о Гришке-алтарнике, о чем говорят верующие на исповеди. Но вашу совесть не должно все это отягощать. Валентин Кузьмич и так все знает: и с кем блудит Елизавета Ивановна — он и сам к ней похаживает, и сколько она из церковной кассы стащила — для этой цели он ее у вас и держит, и что верующие говорят на исповеди. Вам никогда не приходило в голову поковыряться в том ящике — не помню, как он называется, — у которого вы исповедуете?

— Аналой...

— Ну да, аналой... Уверен, что вы обнаружили бы там вмонтированный микрофон. Вы пишете Валентину Кузьмичу агентурное донесение, а он уже все знает. И агентурное донесение ему нужно лишь для того, чтобы убедиться в вашей преданности, в том, что вы ради него, Валентина Кузьмича, предадите и отца родного и Бога, и чтобы вы сами знали, что вы мразь, подонок, отрекшийся от всего святого. Только таким образом можно «нейтрализовать» Валентина Кузьмича. Но можно ли будет после этого вас называть священником, приход — приходом, храм — храмом Божиим? Так что, честно говоря, выхода я не вижу. И тем не менее мой совет — попытайтесь отремонтировать кровлю до утра, потом вам сделать этого уже не удастся.

Юрий Петрович удалился, а я отправился к сыновьям Агафьи.

— Можно ли отремонтировать кровлю храма до завтрашнего утра? — спросил я Петра и Андрея.

Ответа на мой вопрос не последовало. Оба брата недоуменно смотрели на меня. К нам подошла Агафья. И я объяснил, что если к завтрашнему утру кровля не будет отремонтирована, то мы, по всей вероятности, лишимся храма.

— Что делать?

— Нужно позвать Николая, Степана, Ефима... — спокойно, как будто бы речь шла об обыденном, заурядном деле, стала перечислять Агафья имена сарских умельцев.

Петр и Андрей забрались на чердак и обследовали его и кровлю. Спустившись вниз, Петр сказал:

— Слава Богу, прогнили только два стропила. Что касается железа, то нужно заменить лишь несколько листов.

Агафья, Петр и Андрей ушли собирать умельцев. Через некоторое время к храму стали подходить какие-то мужички — постоят, посмотрят на крышу, обойдут храм со всех сторон, почешут затылок и уходят. Вскоре у бокового входа в храм собралось человек пятнадцать мужичков с топорами и ящичками для инструментов.

Все необходимое для работы было приготовлено. Кто-то прикатил бочку с краской. Притащили бревна. И работа началась. Вот уже несколько человек, обмотавшись веревками, взобрались на крышу и стали отдиравать проржавевшие, трухлявые листы железа, другие стучали молотками внизу, сгибая края новых листов и подготавливая их к сборке. Тут же обтесывали топорами бревна для замены прогнивших стропил.

Около храма стояла толпа женщин и детей, с интересом наблюдавших за работой мужей и отцов и подбадривавших их. Руководил работами Петр, спокойно, ненавязчиво,

незаметно. Он умудрялся и сам стучать молотком или топором, и давать другим советы и указания, появляясь то внизу среди жестянщиков и плотников, то на крыше храма. По всему было видно, что он, несмотря на молодость, пользуется среди «мужичков» непререкаемым авторитетом.

— Конечно, по-хорошему, — сказал мне Петр, — жечь сначала нужно было бы проолифить, просушить, а затем уже красить, но ничего не поделаешь, в конце концов олифа в краске есть, а через какое-то время можно будет и перекрасить.

К наступлению темноты крыша была покрашена. Она блестела в лучах вечернего солнца, и храм сразу показался помолодевшим.

Я отслужил молебен, а затем мы все прошли в притвор, где стараниями женщин во главе с неугомонной Агафьей был уже накрыт стол. Они умудрились даже испечь куличи, словно на Пасху. Лица у всех были веселыми и счастливыми, как в пасхальную ночь. Я взглянул на Гришку-алтарника, и он без слов понял меня. Он подошел к маленьким колоколам, висевшим тут же, в притворе, и праздничный пасхальный звон наполнил храм.

Воистину я был счастлив: мы починили кровлю храма, мы предотвратили его разрушение, нам удалось отбить очередную попытку отнять его у нас и, наконец, совершенный в этот день подвиг спаял прихожан и вдохнул в них веру в свои силы.

А утром, как и предсказывал Юрий Петрович Лужин, в храм заявила комиссия. Юрий Петрович был в ее составе. Выбрав удобный момент, он подошел ко мне и шепнул:

— Фантастика! Вот видите, чудеса, оказывается, все-таки бывают! Впрочем, больше вам и не на что рассчитывать...

— Блюмкин Виктор Григорьевич, — представился мне самоуверенный мужчина с вальяжными манерами стареющего актера, — заведующий городским отделом Госнадзора за памятниками архитектуры. С кем имею честь?

— Я думаю, Виктор Григорьевич, вы уже знаете, с кем имеете честь. Но могу по такому случаю официально представиться — настоятель Преображенского собора города Сарска иеромонах Иоанн.

— А отчество ваше?

— К сожалению, нет.

— Как же к вам обращаться?

— Так и обращаться — иеромонах Иоанн.

— Что же, иеромонах Иоанн, вы, наверно, догадываетесь о цели нашего визита?

— Могу предполагать.

— Вот и прекрасно. Мы пришли познакомиться с состоянием архитектурного памятника XVI века, кстати говоря единственного в нашем городе. И нужно сказать, он производит удручающее впечатление. Ваша фирма оказалась не на высоте. Боюсь, что ей нельзя больше доверять содержание такого выдающегося памятника. И потом, что это такое?

Вы осуществили ремонт кровли, не согласовав этот вопрос с нашим отделом! Вы могли нанести непоправимый ущерб выдающемуся творению русских зодчих и, я уверен, нанесли его. Вы знаете, чем это грозит? Уголовным делом!

Возражать Виктору Григорьевичу не имело смысла. Он валял дурака. Он разыгрывал спектакль, сценарий которого предусматривал ознакомление с интерьером и экстерьером храма. В сопровождении свиты, то есть комиссии, Виктор Григорьевич расхаживал по храму и вокруг него, делая какие-то пометки в блокноте. Затем он подошел ко мне. Многолетний опыт общения с отцом Василием, а может быть, интуиция подсказали ему, что было бы не лишним обменяться со мной несколькими словами, которые не обязательно сохранять для истории. Когда мы отошли с ним в сторонку, он с наигранной доверительностью сказал:

— Дело дрянь, отец Иоанн (знает шельма всетаки, как ко мне обращаться!), дело дрянь. Не знаю, право, что и делать.

— Мне кажется, вы несколько драматизируете ситуацию. Кровля отремонтирована. Поезд ушел.

— Вы полагаете?

— Не сомневаюсь в этом. Сейчас самое время заняться благоустройством интерьера, и в первую очередь восстановлением иконостаса. Вы, конечно, в ближайшие дни доставите нам две иконы, взятые на реставрацию (при этих словах разбойник, прости Господи, даже бровью не повел). Реставрация требовалась самая никчемная, но, я думаю, они могут обойтись и без нее. А вашу заботу о выдающемся творении русских зодчих, конечно, по достоинству оценят Валериан Харитонович и Гавриил Захарович (я назвал прямых начальников Виктора Григорьевича из Москвы, с которыми мне несколько раз приходилось встречаться во время их посещений Троице-Сергиевой лавры).

— А вы, кажется, правы, отец Иоанн. Поезд, видимо, в самом деле ушел. Что же касается двух икон из иконостаса, то я согласен — они действительно не требуют реставрации. Елизавета Ивановна, которая их мне передала, не специалист в иконах, но вы, я вижу, понимаете в них толк. Очень рад нашему знакомству. С умными людьми всегда приятно иметь дело. А насчет поезда не беспокойтесь — ушел поезд!

## 18 июня

До чего же любопытной оказалась история храма Преображения в Сарске! Старец Варнава провел уникальную исследовательскую работу. Но что самое удивительное, здесь, в сундуке, среди собранных им бумаг лежали подлинные исторические документы, самые ранние из которых датировались XIV веком! Документы были описаны, снабжены подробным комментарием и подготовлены к публикации. Старцу Варнаве опубликовать их, естественно, не удалось, но какая удача, что они сохранились!

Я держу в руках рукопись, озаглавленную «Летопись храма Преображения в Сарске иерея Порфирия Богоявленского». Автор летописи — человек переломного, петровского века, выпускник Славяно-греко-латинской академии, однокашник Ломоносова. Он находился в переписке с первым русским историком Нового времени Василием Никитичем Татищевым, и, так же как Татищев, иерей Порфирий Богоявленский не вмещается в XVIII век. Он преодолевает сейсмический провал этого века, соединяя прошлое и будущее России.

Отец Порфирий завещал будущим настоятелям храма Преображения продолжать его летописный труд, для чего вплел чистые листы в свой журнал. Не все откликнулись на этот призыв, но большинство настоятелей оставили свой след в летописи храма. У одних летописи скупые и лаконичные, у других — более пространные. Одни дают лишь перечень пожертвований и осуществленных хозяйственно-восстановительных работ, другие рассказывают о важнейших событиях, нередко драматических, в жизни прихожан и всего города, третьи делятся своими сокровенными размышлениями, порою наивными, а иногда поразительными по глубине понимания жизни, человеческих судеб и происшедших событий. Но как бы то ни было, каждая запись важна как историческое свидетельство, даже вот эта, самая короткая, состоящая всего из четырех слов: «Служил, крестил, венчал, отпевал». Разве не ощущается здесь аромат екатерининской эпохи, века Просвещения? Сделал эту запись отец Николай Платонов. Платонов! Это уже о многом говорит. Митрополит Московский Платон, директор и проректор Московской Духовной академии, оказывал щедрую помощь наиболее талантливым студентам, составлявшим своеобразный платоновский кружок, интеллектуальное и духовное братство, члены которого получали фамилию Платонов. Сколько людей с этой фамилией оставили свой след в истории нашей духовной жизни и культуры! К их числу принадлежал и отец Николай Платонов, оказавшийся в силу каких-то неведомых нам причин в Сарске, в Тмутаракани. Высокообразованный и талантливый человек — иначе он не был бы Платоновым, — он оставил после себя только четыре глагола, которые звучат едким сарказмом, особенно если сопоставить их с известным изречением Юлия Цезаря: «Пришел, увидел, победил», а ведь именно это изречение, нужно полагать, пародировал отец Николай. В самом деле! Не пришел он в Сарск, а сослали его сюда, то, что увидел, произвело на него гнетущее впечатление, и ни о какой победе тут, конечно, не могло быть и речи. Но, вероятно, не только о своей судьбе думал он, тщательно выписывая эти четыре слова, он думал о бренности человеческой жизни, замыкаясь в броню стоической иронии. Вот в чем его драма. Он больше мыслитель, чем священник. Если бы было наоборот, он увидел бы, что такой итог жизни совсем неплох. И если в презираемом им Сарске отец Николай Платонов не стал свидетелем ни одного события, достойного упоминания, то и слава Богу! Нам, пережившим жуткие катастрофы, его бы муки!

Построенный в начале XVI века храм Преображения в Сарске имел более чем вековую предысторию. Она начинается с приезда в эти края иеромонаха Даниила, который перед этим длительное время нес послушание в городе Сарае, столице Золотой Орды. Прибыл он туда в свите митрополита Алексия. Как известно, последний во время пребывания в Орде исцелил от тяжелой болезни царицу, в результате чего приобрел

огромное влияние в окружении хана. Возвращаясь в Москву, он решил оставить в Сарае отца Даниила, который, с одной стороны, пользовался его полным доверием, а с другой — обладал качествами, необходимыми для выполнения порученной ему ответственной церковно-дипломатической миссии. Он был образован, отличался гибким, проницательным умом и обаянием, легко располагал к себе людей самого различного склада и к тому же проявил себя как искусный врач и целитель, что, как показал опыт самого Алексия, иногда может иметь первостепенное значение для решения важных государственных вопросов. Перед Даниилом была поставлена задача осуществлять миссионерскую деятельность в Орде, обращать в православие видных татарских сановников и использовать свое влияние в Сарае в интересах Московского государства, фактическим правителем которого ввиду малолетства князя Дмитрия был митрополит Московский и всея Руси.

Со своими обязанностями в Орде Даниил, по всей видимости, неплохо справлялся, в связи с чем его пребывание там затянулось на долгие годы. Но с другой стороны, все эти годы он оставался иеромонахом, хотя давно бы мог стать епископом. Значит, в отношениях Даниила с митрополитом, а впоследствии и с великим князем Дмитрием Ивановичем не все было просто. Существовала скрытая от посторонних глаз трещина, глухое недовольство с обеих сторон, которое все более усиливалось, пока и не привело к разрыву между иеромонахом Даниилом и великим князем.

Вероятно, уже в Орде Даниил оказался перед мучительным выбором: кому он должен служить — Церкви или государству, великому князю Московскому или всей Руси, включающей в себя и тех, кого в Москве считают врагами: Тверь и Великое княжество Литовское. Пока княжеством управлял митрополит, положение оставалось достаточно запутанным и неопределенным, ведь Алексий был не только регентом Московского государства, но и общерусским митрополитом. Но после смерти его, когда великий князь попытался поставить во главе Русской Церкви протопопа Митяя, жалкую посредственность, марионетку, с помощью которой намеревался использовать церковную организацию в интересах Москвы, а не всей Руси, ситуация резко изменилась. В этот момент Даниил покидает Сарай. Он оказывается в Троице-Сергиевой лавре, в ближайшем окружении преподобного Сергия Радонежского. Там он пишет и рассылает по русским монастырям (нужно думать, с ведома преподобного) едкие памфлеты против Митяя. Он ведет переписку с митрополитом Киприаном, назначенным в Константинополе первосвященником всей Руси, права которого не хотел признавать Дмитрий Иванович, ведь ему нужен был свой, м о с к о в с к и й , послушный его воле митрополит. Действия Даниила вызывают ярость у великого князя, и он грозит дерзкому монаху суровой расправой. Но и этим не ограничивается Даниил. Вместе со своими собратьями он призывает русских князей оставить распри и совместно выступить против Орды. Ему, проведшему много лет в Сарае, хорошо было известно, что Золотая Орда переживает кризис, что она не сможет противостоять натиску объединенных русских княжеств. В своих памфлетах он провоцирует великого князя Московского, прозрачно намекая, что из корыстных побуждений он не хочет освобождения Руси от власти Орды, ибо эта власть нужна ему для установления собственной власти над Русской землей (уж кому-кому, а Даниилу была известна вся подноготная московской политики в Сарае).

Гневу великого князя Дмитрия Ивановича не было предела. Но осуществилось то, к чему призывал иеромонах Даниил со своими собратьями. Полки русских князей выступили против Мамаю. Может быть, роль самого Даниила и была во всем этом совсем ничтожной, не в этом дело — он действовал как представитель Церкви, а именно Церковь, духовным лидером которой был тогда преподобный Сергий, заставила великого князя Московского Дмитрия Ивановича и других русских князей оставить распри и объединиться для борьбы с Ордою. И, когда великий князь Московский, отправляясь в поход, брал благословение у

игумена земли Русской, среди тех, кто стоял рядом с преподобным Сергием, был иеромонах Даниил.

А потом вдруг вновь, казалось бы, фантастический вираж, который дал повод князю Димитрию обвинить иеромонаха Даниила в предательстве и государственной измене. В тот момент, когда объединенные русские войска вышли на Куликово поле, Даниил оказался в стане великого князя Литовского Ольгерда, спешившего на помощь Мамаю. Там же находился и митрополит всея Руси Киприан. Неизвестно, о чем они вели разговор между собою и с Ольгердом, но ведь случилось то, чего по логике вещей не должно было случиться. Ольгерд, которого отделял от Куликова поля день пути, не выступил на помощь Мамаю, что и решило исход битвы.

Конечно же кривил душой великий князь Димитрий Иванович, обвиняя иеромонаха Даниила в предательстве и государственной измене. Не он ли сразу же после Куликовской битвы пригласил в Москву на митрополичий престол Киприана, который также находился в стане Ольгерда? Не вменялось ли тому, таким образом, пребывание у литовского князя не в вину, а в заслугу?

Вот отрывок из письма иеромонаха Даниила князю Димитрию Ивановичу:

«Не буду, княже, опровергать твои обвинения в предательстве и измене. Господь знает все, как было, и ты тоже знаешь. Хочу только предостеречь тебя от большой ошибки, чреватой многими бедами для Руси. Не стремись создать огромную державу. Все это уже было. Да, княже. Было Персидское царство, было царство Александра... Где они? Что осталось от царства римских кесарей? На твоих глазах рушится Ордынское царство. Думай о том, чтобы справедливо управлять вверенной тебе Богом Московской землей, и о том, чтобы в мире, как в единой семье, жить со своими соседями.

Помирись с Ольгердом. Великое княжество Литовское — такое же русское княжество, как и твое. Не толкай Ольгерда в объятия к папе. Будет единая вера — будет и единая Русская земля. Уйдет Ольгерд — уйдут русские иже с ним, переменят веру, и станут они ляхами и немцами, даже если и будут говорить на одном языке с нами...»

Не простил великий князь Московский Димитрий Иванович дерзкого монаха. Не помогло и заступничество митрополита Киприана. Ушел тогда иеромонах Даниил Сарский (прозванный так потому, что провел много лет в Сарае) в глухие, безлюдные места. Здесь по благословению митрополита он основал Сарский Преображенский монастырь и получил, наконец, от Предстоятеля Церкви сан игумена.

Не случайно, должно быть, Даниил основал монастырь в честь Преображения Господня. Видно, не только сближали его с митрополитом Киприаном общие церковнополитические идеи, но существовало между ними и глубокое духовное родство. Преображение Господне на горе Фавор особо почиталось исихастами, каковым был сам митрополит Киприан и, как явствует из названия монастыря, его опальный сподвижник.

Сарская Преображенская обитель при ее основателе была крохотным монастырьком с деревянной часовней и тремя избами для монахов. Но с годами она разрослась. Около монастыря появилось торговое село, а через два поколения, во время правления Ивана Васильевича, настоятель обители Филофей жаловался на шум и суету вокруг монастыря и, будучи продолжателем исихастской традиции, часто удалялся для умной молитвы в уединенные места, где возникло несколько скитов.

При Филофее Сарский монастырь достигает, можно сказать, вершины своего духовного расцвета. Сам Филофей (мирское имя его — Федор) в молодом возрасте, наслышавшись о подвигах афонских старцев, тайком бежал из родительского дома и после многих злоключений, исколесив Польшу, Германию и Италию, добрался все-таки до Святой Горы. Легко и быстро изучил он греческий язык и с жадностью необыкновенной набросился на книжную премудрость. Много читал патерики. Внимательно изучал сочинения преподобного Григория Синаита и, следуя его наставлениям, начал многотрудную борьбу с самим собой в жажде узреть собственными очами нетварный свет, просиявший на горе Фавор, и встретиться с Богом лицом к лицу. Читая творения св. Григория Панамы, он страстно переживал все драматические перипетии исихастских споров, ибо понял их главную пружину, их всеобъемлющий смысл, то, что ускользало от внимания его соотечественников, видевших в исихазме прежде всего ключ к нравственному совершенствованию. «Для россиян час еще не пробил, — думал Филофей, — но он пробьет, и они придут к той же драме и окажутся перед тем же страшным выбором, что и греки, зажатые между двумя жерновами: Западом и Востоком. И придется отвечать на вопрос, который сейчас может показаться им нелепым: как жить дальше — с Богом или без Него?» Вот он, вызов, брошенный ересиархом Варлаамом не только грекам, но и Руси, пока еще не подозревающей об этом.

Много лет провел Филофей на Афоне в молитве, размышлениях, чтении и переписывании книг. Но однажды старцы ему сказали: «Ты должен вернуться на Русь». И он понял: час пробил.

Когда, после тридцатилетнего отсутствия, Филофей вновь оказался в Москве, он не узнал ее — так изменилась белокаменная! Итальянские архитекторы строили новые стены Кремля, соборы и палаты. Иконописцы, подражая западным образцам, тщились изобразить в иконах не духовную, нетленную красоту, а плотскую прелесть. Как же молиться перед такими иконами?! И что окончательно сразило Филофея — протопопы в соборах (не какая-нибудь чернь!) святотатствовали, рассуждая о священных догматах, отрицая святость святых и Приснодевы Марии, ставя под сомнение троичность Божества и — о верх кощунства! — уподобляя Спасителя пророку («яко Моисей и Илия»). До такого не доходил и Варлаам, хотя природа ереси — это было ясно Филофею — одна и та же.

Пришел Филофей в митрополичьи палаты и, ссылаясь на священные догматы и отцов Церкви, стал разоблачать хулителей на веру. А челядь архиерейская смеется над ним: «Откуда, мол, ты такой ученый взялся? Не от греков ли пришел? Те, оказавшись под властью басурман, повредились в вере, и ты такой же!» Напрасно доказывал Филофей, что греки хоть и под властью басурман, но крепко в вере стоят и что Патриарху Вселенскому надлежит учинить суд над еретиками. Говорят ему люди архиерейские: «Что нам Патриарх Вселенский? Один суд у нас — суд Государев!» И вытолкали его взашей.

Не знал тогда Филофей, что митрополит Московский и всея Руси Зосима является ересиархом и великий князь и государь Иван Васильевич потакает еретикам, заботясь больше не о чистоте веры, а о том, чтобы Церковь верно служила ему. Когда же узнал об этом Филофей, оторопь охватила его. И написал он два письма: одно Вселенскому Патриарху в Константинополь, а другое — старцам афонским, поведав им о бедах, происходящих на Руси, прося их молитв и помощи. Но попали те письма в руки слуг государевых, схватили Филофея, нещадно били батогами, заковали в цепи и отправили подальше от Москвы — в Сарский монастырь под надзор, строго наказав цепей с него не снимать и ни в коем случае не давать ему чернил и бумаги. Так, в цепях, и водили его монахи в храм Божий для молитвы.



Недолго, однако, продолжалось заточение Филофея. Архиепископ Новгородский Геннадий и настоятель Волоколамского монастыря Иосиф изобличили еретиков, был смещен с первосвятительского престола ересиарх Зосима. С Филофея сняли оковы, прямо из темницы, где он томился, монахи проводили его в настоятельские покои и вручили ему жезл игумена монастыря.

Когда еретиков по настоянию архиепископа Геннадия осудили на смерть, игумен Филофей, сам пострадавший от хулителей веры, направил в Москву послание с протестом. «Негоже, — писал он, — перенимать дурные обычаи от папешников. Святитель Григорий Палатка боролся и побеждал еретиков еловом, и нам так подобает поступать». Его мнение, однако, как и мнение преподобного Нила Сорского, не возымело действия, и еретики были казнены.

Четверть века управлял Сарским Преображенским монастырем игумен Филофей, сам предаваясь молитвенным подвигам и воспитывая себе на замену достойных иноков. «Десять хороших монахов, — говорил он, — народ спасти могут». Был убежден Филофей, что худшие времена впереди. Вот почему он придавал такое большое значение подготовке закаленных воинов духа, а поскольку их главным оружием является слово, сделал обязательным для иноков изучение святоотеческих творений. В монастыре возник первоклассный скрипторий, где переводились с греческого и переписывались труды Иоанна Лествичника и св. Дионисия Ареопагита, преп. аввы Дорофея и Симеона Нового Богослова, Исаака Сирина, святителя Григория Паламы и Григория Синаита. Стараниями игумена при монастыре была создана также иконописная мастерская, где иконы писались духовно, с молитвой. Сам Филофей называл иконописание высочайшей молитвой, умным деланием. «Трудитесь, братия, — обращался настоятель к переводчикам, переписчикам, справщикам, иконописцам, — придут тяжелые времена, этим и спасемся».

В сундуке в келье старца Варнавы я обнаружил несколько старых рукописей, несомненно, вышедших из скриптория игумена Филофея. Одна из них сразу же привлекла мое внимание. Когда же я прочитал название, то не поверил своим глазам — она называлась «Откровение, которое дано игумену Филофею в Крестовоздвиженском скиту, что на Речице, в день Воздвижения Честнаго Креста Господня в лето 7008». Почерк этой рукописи заметно отличался от других особой каллиграфической изысканностью, чувствовалась афонская школа, но вместе с тем было заметно, что писец быстро уставал, рука у него начинала дрожать. Несомненно, писал человек в преклонных годах. Вывод напрашивался сам собой: текст написан рукой Филофея. И я тихо порадовался, когда, читая комментарии старца Варнавы, обнаружил, что тот пришел к аналогичному выводу.

Передаю текст Апокалипсиса Филофея в своем неискusном переводе на современный язык:

«Братия, поведаю вам об откровении, которое дано мне, недостойному игумену Филофею в Кресто-воздвиженском монастыре, что на Речице, в день Воздвижения Честнаго креста Господня. Не гордыня побуждает меня к этому, но долг и смирение.

В оный день после совершения Божественной литургии в монастырском храме Преображения Господня я направился в уединенную часовню на Речице, где имею обыкновение предаваться молитвенному деланию. Сидя на скамеечке и опустив голову на грудь, я повторял про себя слова молитвы Иисусовой и почувствовал вскоре знакомую теплоту в области сердца. И просветлился ум мой. И вдруг — о чудо! — часовня, в которой мерцала только одна свеча перед Крестом Господним, озарилась сиянием. Вострепело сердце, и восторг охватил меня. Я не видел Его, но чувствовал Его дыхание. Он был рядом

со мной, Он был весь во мне. Я ощутил в себе силу необыкновенную, способную сдвинуть с места Землю и остановить Луну и звезды. И перед глазами моими разверзлась завеса, скрывавшая от меня суть вещей. Не знаю, был ли я на земле или на небе, в себе или вне себя, в настоящем, в прошлом или в будущем. Мне не нужен был слух, чтобы услышать Слово — Оно было во мне. Мне не нужны были глаза, чтобы видеть мир, я видел его внутренними очами.

Я хочу поведать вам, братия, о том, что открылось мне в этот великий, сладостный и страшный миг единения с Богом.

Не могу назвать срока времен, ибо века для меня были подобны мгновению, но говорю вам, братия: грядет час великих искушений и катастроф.

Родится сын на земле, наделенный блестящим умом и многими талантами, но, уязвленный в детскую пору, возгорится он злобою и жаждою мести. И заключит он союз с диаволом, и тот подвигнет его восстать против Бога и установленного Им миропорядка. Соблазнит сей человек, а вернее, диаволочеловек великое множество людей словами о добре и справедливости, украденными у Христа. Но пообещает он им дать все это, а также блага несметные уже в этой жизни, теперь же, немедленно. «Для этого, — скажет он, — от вас потребуется самая малость. Следуйте заповеди моей, совсем для вас необременительной. Если Иисус сказал: «Не убивай», то я вам позволяю убивать. Если Иисус сказал: «Не прелюбодействуй», то я вас освобождаю от этого запрета. Я разрешаю вам грабить и лжесвидетельствовать, не почитать мать и отца, брата и сестру и ненавидеть ближних лютою ненавистью. Вы должны любить только меня и верить только мне. Любое преступление, совершенное ради меня, есть не преступление, а подвиг, и вам сторицей воздастся за это».

Восстанут и последуют за ним, как за мессией, сто племен и народов. Царь Земли сей, подобно Агнцу, предан будет на заклятие, и диаволочеловек воссядет на троне. Будут курить ему фимиам и, как земному богу, сооружать языческие капища, поклоняясь идолам его. Воздвигнет он гонения на христиан, каких не было и при царях Рима. Будут ненавидеть и убивать за одно имя Христово. Божий храмы и монастыри подвергнет он разрушению. Тьмы и тьмы подвижников примут мученический венец.

Смотрите, говорит Христос, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ и будут глады, моры и землетрясения. И мерзость запустения будет повсюду.

Немногим праведникам удастся избежать Голгофы, скрываясь в пустыне, горах и катакомбах. Туда унесут они с собой священные предметы, книги и иконы. И будут молиться они так, как, по греховности нашей, не способны молиться мы с вами, братия. И по их молитве рухнет царство диаволочеловека, оно развалится само собой, исчезнет как призрак, как исчадие ада.

После этого мир на какое-то время установится на Земле. Однако по попущению Божию настанут затем времена еще более страшные. Теперь уже не диаволочеловек, не антихрист, не предтеча диавола, а сам сатана введет людей в соблазн магическими силами. Он научит их чародействовать, летать и погружаться в пучину морей. Он даст людям невероятное могущество. Диавол внушит им мысль, что с помощью магических формул они смогут достичь бессмертия и стать богами, и они поверят в это и опять отрекутся от Бога. Теперь не будет гонений на христиан, они будут вызывать лишь насмешки, и их останется совсем немного. «Зачем нам Бог, — скажут им, — если мы сами боги, зачем нам молитва, если у нас есть магические формулы!» Кичась своим могуществом, люди не заметят, как

станут рабами этого могущества, рабами необъятных машин и сатанинских сил, ведущих дурацкую, бестолковую, губительную игру, ибо диавол ни на что иное не способен. И не сдержать уже будет этого сатанинского разгула. Вызванный из недр земли адский пламень испепелит ее.

Но это не будет конец, братия. Будет новое небо и новая Земля, которые созидает Бог-Творец и которые мы созидаем вместе с Богом, творя молитву, возводя храмы, создавая иконы и книги, совершая благие дела. Этот новый мир недоступен для диавола. Это Царство Божие. Оно вечно и несокруσιμο. Аминь».

Нового подъема Сарский Преображенский монастырь достигает при игумене Феоктисте. Но это уже был другой подъем. Если Филофей проповедовал нестяжательство и все свое внимание уделял духовной стороне монастырской жизни, то Феоктист, сторонник традиции Иосифа Волоцкого, был «стяжателем», то есть, продолжая заботиться о духовности, о молитвенном подвиге, — а иначе зачем и нужен монастырь? — он вместе с тем был убежден, что для выполнения своей миссии монастыри должны иметь прочную хозяйственно-экономическую основу.

С приходом Феоктиста неузнаваемо изменился внешний облик монастыря и весь образ его жизни. В тишину обители, нарушаемую прежде лишь пением псалмов и колокольным звоном, ворвались голоса строителей и стук топоров.

Первым делом Феоктист построил в трех верстах от монастыря, где была обнаружена прекрасная глина, кирпичный завод. А потом дело пошло. Разобрали обветшавший бревенчатый Преображенский храм и на его месте за несколько лет возвели великолепный каменный собор, который стоит и поныне. Под спудом храма легли почившие игумены монастыря, начиная с его основателя Даниила. Затем были возведены двухэтажные каменные братские корпуса, чудный настоятельский дом и, наконец, были воздвигнуты крепостные стены с башнями и надвратной церковью. «Стены, что тебе кремлевские!» — с гордостью говорил Феоктист. Монахи же недоумевали: зачем, мол, здесь, в Тмутаракани, крепостные стены, от медведей, что ли, обороняться? Игумен в ответ лишь загадочно улыбался.

На это строительство, конечно, потребовались колоссальные средства. Откуда взялись они? Ведь при предшественниках Феоктиста монастырь, богатый духовно, материально был гол как сокол. Не будем, однако, забывать, что то была эпоха Ивана Грозного, и Сарская обитель явилась местом ссылки боярской знати. Феоктист, сам выходец из старинного боярского рода, искусно воспользовался этим обстоятельством и сумел получить щедрое пожертвования. Рискуя вызвать недовольство Москвы, он привлекал беглых крестьян на пустующие земли близ монастыря, и те, не обремененные податями, под защитой обители скоро создали крепкие хозяйства. Игумен лично вникал в аграрные вопросы, учил и наставлял крестьян, а на полях, которые обрабатывались под его непосредственным наблюдением, собирались невиданные урожаи. Монахи разбили яблоневый сад и умудрились выращивать в своем хозяйстве даже дыни и виноград. Стараниями игумена при монастыре была создана крупная мясомолочная ферма. Коровы стояли там холеные, упитанные. Поскольку монахи сами мясо не потребляли, оно шло на питание строительных рабочих или на рынок, принося немалые доходы монастырю.

Однако главным увлечением Феоктиста, выражаясь современным языком, его хобби, было изобретение различных хитроумных машин. Он умудрялся использовать энергию водяных колес для маслобоен, обработки кож, ткацких станков, для работы подъемных механизмов и даже конвейера.

Но и это еще не все. Феоктист приобрел суда, которые возили пшеницу, рожь, ячмень, просо, мед, пеньку в Москву, вниз по Волге или на Север, в Архангельск. Он внимательно следил за конъюнктурой рынка не только в России, но и в других странах, завязав тесные отношения с русскими и заморскими купцами, и, совершая торговые операции, почти всегда оставался в выигрыше.

В монастыре оказались собраны огромные богатства. В его кладовых постоянно хранились большие запасы продовольствия, и, когда случался неурожай и голод, за сотни миль приезжали сюда люди, и всем бесплатно раздавали здесь хлеб и другие продукты. Даже те, кто осуждал Феоктиста за стяжательство, не могли не сказать в похвалу ему, что тысячи людей он спас от голодной смерти.

Деятельность Феоктиста, за короткий срок сделавшего бедный монастырь и безлюдный край процветающими и богатыми, поражала воображение. И невольно возникала у людей мысль: да что бы было у нас на Руси, если бы не опричнина, не террор, не дурацкая, никому не нужная Северная война, вымотавшая все ресурсы государства?! И такие разговоры люди вели между собой, тем более что недовольных царем в Сарском монастыре было более чем достаточно. Шила в мешке не утаишь, пошли доносы в Москву: мол, ссыльные живут себе здесь припеваючи, царя-государя хулят, заговоры плетут, с князем Курбским переписываются. Кончилось дело тем, что направил царь к Сарскому монастырю военный отряд во главе с Баскаковым. Вот тут крепостные стены и пригодились. Постоял под ними месяца три Баскаков, пока не разграбил окрестных крестьян и не кончились у него все запасы продовольствия (а в монастыре их на пять лет хватит!), и ушел не солоно хлебавши.

Феоктист, однако, был достаточно умным человеком, чтобы понять, что одними стенами от царя не защититься. Собрал он в ризнице драгоценные предметы огромной стоимости — будет монастырь, еще наживем! — и направил в дар царю, казна которого была разорена дурацкою войною, — тем и откупился.

Смутное время не оказало какого-либо существенного влияния на судьбу Сарского монастыря ввиду его удаленности от мест, где происходили основные события. Но насельники обители горячо переживали происходящее, предавали анафеме самозванцев, рассылали послания в различные русские города с призывом постоять за Православие, внесли большое пожертвование на ополчение и, разумеется, усердно молились за спасение отечества.

Во времена Михаила Федоровича и Алексея Михайловича событий, особо достойных внимания, в жизни монастыря не происходило, в связи с чем мы можем сказать: «И слава Богу!» Прочная афонская традиция, заложенная Даниилом и Филофеем, помогла монастырю избежать соблазна раскола. Конечно, вызывает сожаление, что духовное горение, достигшее там наивысшей силы при Филофее, все более и более угасало. Но такова была эпоха. Впрочем, в начале XVIII века в Сарской обители неожиданно произошел новый духовный взлет.

В 1705 году игуменом обители был назначен иеромонах Московского Чудова монастыря Тихон. Формально это было для него повышение. Но в действительности таким образом Местоблюститель Патриаршего Престола митрополит Стефан Яворский удалял из Москвы одного из самых активных представителей грекофильской партии и противника латинофилов.

Постепенное проникновение в Москву латинской учености с Украины (после ее присоединения к России) вызвало в первопрестольном граде неоднозначную реакцию. Киевские ученые мужи, среди которых наиболее яркой личностью был Симеон Полоцкий, нашли восторженный прием при дворе и в высших слоях общества, где усиливается интерес к западной, и особенно польской, культуре. Иначе отнеслись к этому монашеские круги, тяготевшие к греческой традиции. Для обеих сторон было ясно, что дело тут не в языке. Речь шла о том, на какой системе, на какой традиции будут воспитываться наши будущие поколения, какой образ мыслей, менталитет, какие духовные ценности будут формироваться у них.

Этот же вопрос беспокоил и восточных патриархов, на протяжении столетия настойчиво убеждавших царей в необходимости создания в Москве греческой школы. И вот в 1681 году такая школа была создана. Ее основал русский иеромонах Тимофей, 14 лет проведший на Востоке. Смысл и значение этого события поняли и грекофилы и представители латинской партии, сразу же начавшие строить против нее козни. В письме царю, выражая радость в связи с учреждением в Москве «еллинской школы», Иерусалимский патриарх Досифей писал: «Сие есть Божественное дело, еже учить христианом греческий язык, во еже разумети книги православным веры... и наипаче, дабы отдалены были от латинских, иже исполнены суть лукавства и прелести, ереси и безбожества...»

Такова была обстановка в Москве, когда Тихон, достаточно уже разумеющий греческий язык, по благословению своего духовного отца старца Евфимия поступил на учебу в школу Тимофея. Прочувшись там четыре года, он уже мог свободно читать и говорить по-гречески.

В 1685 году в Москву для создания там высшей школы, академии, приехали из Греции братья Лихуды. На девятый день пребывания в столице им было предложено принять участие в диспуте с другим претендентом на пост ректора академии, прибывшим из Польши, Яном Белобоцким. В качестве темы был избран вопрос о времени пресуществления Святых Даров, который уже длительное время будоражил город: о нем спорили в храмах, во дворцах, на улицах, в трактирах, на базарах. Страсти иногда накалялись настолько, что дело доходило до рукоприкладства. Вот почему диспут привлек внимание двора и всей Москвы. Проходил он в присутствии вдовствующей царицы Марфы.

Тихону с большим трудом удалось проникнуть на диспут. Затаив дыхание, он следил за жаркими дебатами. Братья Лихуды побеждали, в этом не было сомнения, их аргументы были убедительными и неоспоримыми. И, слушая их, Тихон постиг истинный смысл того, из-за чего кипели страсти. Это не был схоластический спор. Лихуды защищали православный обряд и православную литургию от нападков рационалистов. «Вот в чем теперь главная опасность,— думал Тихон. — Враг Церкви будет теперь стремиться разложить ее изнутри, убив ее как единый мистический организм, а мертвую, окаменевшую структуру использовать в своих бесовских целях».

Тихон понял: нужны знания, но одних знаний для борьбы с грозящей опасностью недостаточно. Вот почему он отказался от предложения Лихудов поступить в их академию и затворился в Чудовом монастыре. Отношений с Лихудами он, однако, не порывал и пытался поддерживать их в тех бедах и «прещениях», которые, как жаловались они, сыпались на них «на всяк день», сначала от фанатичного приверженца латинского обучения Сильвестра Медведева, доверенного лица царевны Софьи и князя Василия Голицына, затем от его последователей. С приходом к власти Петра латинофильская партия еще больше укрепила

свои позиции. Славяно-греко-латинская академия, в которой Лихудов заменили киевские учителя, стала Славяно-латинской.

Пока жив был патриарх Адриан, Тихон находил в нем поддержку, но после смерти святейшего Местоблюститель Патриаршего Престола, выходец с Украины Стефан Яворский не замедлил удалить ревностного поборника греческой традиции в Тмутаракань.

Приезд Тихона в Сарскую обитель как бы пробудил ее от летаргического сна. Новый игумен обследовал библиотеку. Его удивлению не было границ. «Братия, — воскликнул он, — да вы же сидите на сокровищах, которым нет цены!»

Тихон вновь ввел в монастыре строгий афонский устав, от соблюдения которого братия по немощи своей уклонилась при его предшественниках. Собрав способных молодых монахов и мирян, игумен создал в монастыре школу. Но методика его преподавания была иной, чем у Лихудов, он следовал старому, традиционному методу монастырского обучения. «Лихуды, — говорил он, — восемь лет проучили в Славяно-греко-латинской академии, прочитали курсы грамматики, логики, пиитики, но так и не добрались до богословия, мы не можем столько времени ждать». Тихон как будто чувствовал, что времени у него в обрез, и спешил. Нужно было подготовить себе смену, нужно было возродить исихастскую традицию мистического единения с Богом, против чего особенно рьяно выступали современные рационалисты, нужно было дать вторую жизнь пролежавшим столетие в пыли святоотеческим книгам и рукописям, приобретшим теперь удивительную актуальность и злободневность.

Сарский игумен с острейшим интересом и вниманием следил за тем, что происходило в стране и Церкви. А вести в монастырь приходили страшные, пугающие. Что скрывается за всешутейшими соборами Петра? Безумие деспота? Или это сознательное пародирование церковных обрядов, бесовский фарс с дальним прицелом, проверка настроений народа и психологическая подготовка к наступлению на Церковь? А планы царя превратить монастыри в богадельни, мастерские, то есть по существу ликвидировать их как духовные центры, имеющие особую притягательную силу для народа? Почему столько лет он противится избранию патриарха? Латинофильствующий Стефан Яворский, сославший Тихона в Тмутаракань, теперь уже не особенно его беспокоил. Куда больше страшила игумена Сарской обители новая восходящая звезда — архиепископ Феофан Прокопович, в зловещем облике которого угадывалась тень Малюты Скуратова.

Развязка приближалась с неумолимой неизбежностью. Однажды к монастырю на взмыленных лошадях подъехал гонец в чине полковника и вручил Тихону грамоту от царя под названием «Духовный регламент». Посланец императора потребовал, чтобы игумен тут же при нем подписал документ. Тихон, к его неудовольствию, не согласился на это, и, пока измученный дорогой полковник трапезовал и отдыхал, он погрузился в чтение жуткого, невероятного творения архиепископа Феофана. О том, что Регламент готовится и кому поручено это дело, Тихон уже знал и ничего не ожидал от него, кроме мерзости. Но то, что предстало пред его глазами, превзошло самые худшие ожидания. Упразднилось патриаршество. Церковь, единственная сила в стране, способная противостоять произволу властей, подчинялась государству. Но главное — торжествовал бесовский рационализм, который выхолащивал духовную, мистическую сущность Церкви, превращал ее в полицейское ведомство нового Малюты Скуратова. А чего стоит двусмысленная сатанинская игра слов: русского слова «помазанник» и его греческого эквивалента «Христос» в применении к императору! Что же получается? Вместо веры — самонадеянный человеческий разум, вместо Церкви — полицейское ведомство, вместо Христа — император! Ну уж если продолжать игру слов, то не заменить ли слово «вместо» его греческим

эквивалентом «анти»? Не получится ли тогда нечто иное, гораздо более близкое к истине — не император-Христос, а анти-Христ? Не сбывается ли мрачное пророчество, содержащееся в Апокалипсисе Филофея?

Под Регламентом уже стояло немало подписей архиереев и настоятелей монастырей. Возможно, кое-кто подписывал не читая. Утверждение Регламента было предрешено. От подписи Тихона ничего не зависело. И все-таки он отказался поставить свою подпись, прекрасно понимая, чем это ему грозит. Ждать пришлось недолго. Последовал указ императора, по которому монастырь закрывался, а его насельники расселялись по другим обителям. Совет старцев решился на отчаянный шаг, он отказался выполнить волю императора и «антихриста». Ворота монастыря затворились. Но это уже была не эпоха Ивана Грозного. Петр направил войска с артиллерией, и те по всем правилам воинского искусства взяли монастырь штурмом. На этом, однако, боевая кампания не завершилась. Разгневанный царь приказал до основания разрушить крепостные стены ненавистного монастыря. Долго еще окрестные места содрогались от взрывов, и петровские орлы, чертыхаясь, долбили ломами руины стен, прочных, как гранит, ведь кирпичи были сделаны с молитвой, и раствор, приготовленный на яичном желтке, намертво скрепил их между собой. В конце концов падший Карфаген был разрушен. Под звуки труб и барабанный бой, с богатыми трофеями войска покинули место баталии.

Тихону не суждено было пережить падение монастыря. Он умер во время штурма и был похоронен в Преображенском соборе. Монахи, унесшие с собой наиболее чтимые иконы, книги и рукописи, были расселены по различным русским монастырям. В этом, видимо, и был Промысел Божий!

По указу Петра поселок, возникший вокруг Сарской обители, получил статус города, так что день гибели монастыря стал днем рождения города Сарска. Преображенский собор был превращен в приходской храм.

## 27 июня

Создавалось впечатление, что Госнадзор пошел на попятную. Во всяком случае, на следующий день после посещения храма комиссией мне доставили от Блюмкина две иконостасные иконы. Не думаю, чтобы он отказался от своих целей: уж больно заманчивую перспективу реставрации храма под его высоким руководством нарисовал Юрий Петрович Лужин. Видимо, Блюмкин решил не форсировать ход событий: реставрация, мол, все равно никуда не уйдет. А если я что-нибудь до того отремонтирую, для него же и лучше. Что же касается прихода, то его можно задушить руками Валентина Кузьмича. И мне, и, конечно, Блюмкину было ясно, что тот от своего не отступится.

Из епархиального управления в храм были доставлены свечи, вино для причастия, иконки, крестики и другая церковная утварь для продажи. Одновременно я получил квитанцию, из которой следовало, что все это уже оплачено архиепископом. Он тем самым оказывал мне ощутимую помощь и, главное, недвусмысленно давал понять, что удовлетворен моей деятельностью и что мне не следует терять надежды.

Агафья встала за ящик, и казна храма стала пополняться. Несколько поколебавшись, я решил все же ковать железо, пока горячо, и благословил Петру и Андрею возводить леса вокруг храма, с тем чтобы начать его внешний, хотя бы косметический ремонт. Я не строил иллюзий относительно того, как эта акция будет воспринята Валентином Кузьмичом, но мне было ясно также, какое впечатление она должна будет произвести на город. В конце концов ночной ремонт кровли был оценен лишь как дерзкая, безумная вылазка, свидетельствующая не о силе и уверенности в себе, но скорее об отчаянии. А вот возведение лесов среди бела дня, подготовка к работе, рассчитанной на недели или даже месяцы, — это совсем другое дело!

С приходом Агафьи изменился мой быт. Мне теперь не приходилось думать о хлебе насущном: всегда был готов для меня горячий обед и ужин. Я вынужден был даже вступать в пререкания с Агафьей, называвшей меня «малопищным» и стремившейся, иногда путем прямого давления, накормить меня как можно сытнее. В келье у меня была идеальная чистота. Мой подрясник и ряса были всегда вычищены и хорошо отглажены.

Враг, однако, не дремал. В храм как-то ворвался возбужденный, взвинченный мужчина лет сорока пяти, обтрепанный, грязный, с недельной щетиной на щеках. Я сначала подумал, что он пьян, но нет, он был трезвым.

— Мне нужны деньги, — с ходу заявил мужчина. — Я только что вышел из лагеря. Я хочу купить дом и начать новую жизнь. Мне никто не хочет давать денег. Никто! Никто мне не верит. Если вы не дадите мне денег, я совершу преступление, страшное преступление!

— Простите, — возразил я. — Дом, наверно, стоит больших денег. Если вы в самом деле хотите начать новую жизнь, можно поступить иначе: снять где-нибудь комнату, поступить на работу, а потом уже, скопив денег, купить себе и дом.

— Нет, мне дом нужен сейчас. Я хочу выкупить свой дом. Его продает сестра. Если я не найду денег, я убью ее. Все десять лет в лагере я думал о том, как вернусь в свой дом, а она, сволочь, продает его.

Глаза мужчины лихорадочно блестели, руки тряслись. Я не очень поверил в историю с домом, но внутреннее чувство мне говорило, что он опасен, что он непременно совершит преступление, страшное преступление: кого-нибудь убьет.



— Хорошо, — сказал я. — Идемте.

Мы подошли к сейфу, где хранились церковные деньги; я открыл его, вынул все, что там хранилось, — бумажек было много, но в основном это были помятые рубли.

— Берите.

Мужчина стал судорожно засовывать деньги в карманы и, не поблагодарив меня, поспешно, почти бегом устремился к выходу.

Когда он ушел, я уже пожалел о том, что отдал ему деньги: «Господи, какой простофиля!» Пришла Агафья, и я, расстроенный, рассказал ей о случившемся.

— Не переживай, батюшка, — стала утешать меня она. — Он бы наверняка убил. Да разве жизнь человеческая не стоит этих денег? Бог с ними, с деньгами! А может быть, он и сам еще одумается.

К моему удивлению, на следующий день мужчина опять пришел в храм.

— Хочу исповедоваться, — заявил он.

— Приходите сегодня на всенощную, а завтра перед литургией будет исповедь.

— Я хочу исповедоваться сейчас.

— Так у нас не принято.

— Бюрократы! «Так у нас не принято»! Везде бюрократы!

— Дело не в этом. Исповедь — это таинство. Вы должны к ней подготовиться.

— Я готов.

— Нет, вы не готовы. Вы слишком возбуждены. Прежде всего вам необходимо успокоиться. И обо всем, обо всем хорошо подумать.

— А если мне некогда успокаиваться, если я решил идти на мокрое. Сестру я раздумал убивать. Дав мне деньги, вы спасли ее и себя тоже. Если бы вы не дали мне денег... Я ведь грабить шел. Был я вчера в исполкоме. Там черненький, плюгавенький, на цыгана похожий, один глаз меньше другого... говорит: «Иди напротив, к попу. У него, знаешь, сколько денег! Иди, иди, он даст тебе денег, много денег даст». Один глаз как бы серьезно на меня смотрит, а второй усмехается, подмигивает: мол, иди, не теряйся — дело верное! Пришел я, а под полой топорик у меня. Ей-богу, рука бы не дрогнула. А вы смотрите, как ягненок, и сами сейф открываете... И все эти рубли и трешки... Разве это деньги! Вот почему я решил завтра инкассатора... Это дело я давно обдумал. Завтра, как только он подойдет к банку на улице Ленина, в двенадцать ноль-ноль...

— Зачем вы мне это говорите?

— Чтобы вы знали. Мне интересно, что вы делать будете. Священник должен хранить тайну исповеди. Но ведь у инкассатора, должно быть, семья, дети... Я трижды видел его. Ему лет сорок. Задумчивый такой... Может быть, неприятности в семье или на работе... А может

быть, чувствует, что завтра в двенадцать ноль-ноль... Что вы теперь делать будете, батюшка? Пойдете к легавому? Но как же тогда тайна исповеди? Так что же вам делать в этом случае?

— Я должен убедить вас отказаться от совершения преступления.

— А если я не убеждаюсь?

— Тогда я должен поступать так, как велит совесть.

— Что же велит ваша совесть в моем конкретном случае? Заложите меня?

— Нет.

— Почему же? Не жаль инкассатора?

— Вы не совершите преступления.

— Вы уверены в этом?

— Уверен.

— Большую ответственность на себя берете, батюшка.

-Да.

— Ну, хорошо. Посмотрим. Запомните: завтра на улице Ленина, 22, в двенадцать ноль-ноль.

Мой собеседник загадочно усмехнулся и, не простившись, вышел из храма.

Я остался в тяжелом раздумье. В самом деле, что у него на уме? Если он совершит преступление, я буду его соучастником. Но не идти же мне в милицию! Хотя исповеди как таковой не было, он говорил со мной не как с частным лицом, а как со священником. Имею ли я право разглашать то, что сказано мне? Внутренний голос мне говорил, что преступления не будет. Но имею ли я право решать вопрос о жизни и смерти людей на основе своего внутреннего голоса? Говоря о соблюдении тайны исповеди, я сказал ему, что священник должен поступать так, как велит ему совесть. Однако практически и теоретически существуют только две возможности: сохранить тайну исповеди или раскрыть ее! Заколдованный круг! А если бы я был уверен, что он совершит преступление? Что тогда? Нет, пожалуй, и в этом случае в милицию я не пошел бы. Я бы мог объявить об этом в храме открыто: «Братья и сестры, простите мой грех и помогите мне. Готовится преступление, сделайте все, чтобы предотвратить его!» А если время не терпит? Как быть тогда? Звонить в милицию? Или бить в колокол и собирать народ?

Хорошо мне было богословствовать и рассуждать на академической кафедре! А каково приходскому священнику, имеющему дело с грехом и преступлением, жизнью и смертью!

Молиться нужно, молиться! Вот мое главное оружие. Я молился за всеобщей, я молился почти всю ночь, я молился за литургией: «Господи, не допусти и спаси заблудшего раба Твоего!» К двенадцати часам дня я был почти в прострации. Открыв окно своей кельи, я с содроганием прислушивался к шуму города, ожидая выстрелов и воя милицейских сирен.

Он пришел вечером на службу. Он стоял недалеко от солеи и молился. По щекам его текли слезы. Лицо его было неузнаваемо новым, светлым, тихим, умиротворенным, преображенным. После службы он подошел ко мне и молча передал сверток. Я знал, что\* в нем: принесенные в храм старушками рубли и трешки.

На следующий день он пришел в храм первым. Он исповедовался долго-долго. Слезы не сходили с его глаз, и порою он плакал навзрыд. И я плакал вместе с ним.

С этих пор он не пропускал ни одной службы. Почти всю службу он стоял в уголке на коленях и самозабвенно молился. А однажды подошел ко мне и сказал:

— Благословите мне быть сторожем и поселиться в будке около храма.

— Хорошо.

— И еще одно у меня желание. Я хотел бы наложить на себя обет молчания.

— Не трудно ли будет?

— Нет. Спасибо вам, отче. Благословите меня. Это были последние слова, которые я слышал отнего.

Так появился в нашем храме сторож Василий. Он поселился в каменной будке около ворот, размером с одиночную тюремную камеру. Я разрешил ему надеть подрясник, с которым он уже не расставался. Каждое утро на рассвете, когда весь город еще спал, он выходил из своей будки с метлою в руках и подметал церковный дворик. Остальное время проводил либо в своей келье, либо в храме, читая святоотеческие книги или беззвучно шепча слова молитвы.

## 2 июля

Появление в храме Василия вызвало у меня почти стрессовое состояние, и я не сразу придал должное значение тому, что, прежде чем отправиться ко мне, он был в исполкоме и беседовал с «черненьким», «плюгавеньким», «похожим на цыгана», у которого «один глаз меньше другого». Это Валентин Кузьмич послал Василия на «верное дело». Он предпринял попытку физически расправиться со мной. Валентин Кузьмич готов идти на все, его ничто не остановит. Без воли Божией, конечно, и волосок не упадет с моей головы, и все-таки нужно быть осторожным.

Вспомнив о своем разговоре с Юрием Петровичем Лужиным, я попросил Петра обследовать аналой, и тот действительно обнаружил вмонтированные в него микрофон и миниатюрный радиопередатчик. Встал вопрос о том, что делать с ними. Прямодушный и прямолинейный Петр предложил немедленно выдрать их. Его младший брат, обычно просчитывавший на несколько ходов дальше, посоветовал оставить все как есть. «Во-первых, — сказал он, — те, кому нужно, все равно внедрят к нам эти штуки, только более хитроумным и коварным способом, и мы уже не будем знать об этом, а, во-вторых, оставив микрофон и передатчик в аналое, мы сможем водить их за нос, дурачить, говорить им то, что нам выгодно». Андрей был прав, конечно. Но мне претило действовать методом Валентина Кузьмича. Наше ли дело «водить за нос» и «дурачить»? Поэтому я сказал Петру: «Выдирай!» — что он и сделал с огромным удовольствием.

В тот же день, во время вечерни, Андрей вошел в алтарь и сказал мне:

— Там тип... оттуда... вертится около аналая.

Я выглянул в боковую алтарную дверцу. «Тип» опустился на колени и, почти распластавшись на полу якобы в молитвенном экстазе, пытался нащупать рукой заделанное Петром отверстие в аналое. Он не заметил, как я подошел к нему.

— Там уже ничего нет, — сказал я. — Встаньте и идите с Богом.

Тот поспешно вскочил на ноги, ухмыльнулся и, воровато озираясь, стал пробираться сквозь толпу к выходу.

«Господи, — с горечью подумал я, — а ведь этот человек выполняет свои служебные обязанности. Это его работа, за которую ему платят деньги, и, вероятно, неплохие, учитывая нервные перегрузки, такие, как сегодня, и постыдность, мерзость такой работы... Ведь не может же он этого не сознавать! И как, должно быть, стыдно вот так, воровато озираясь, пробираться сквозь толпу, чувствуя на себе, пристальные, осуждающие взгляды! И самое противоестественное заключается в том, что эти люди, к которым он пришел тайком, как злоумышленник, платят ему за его работу! Чудовищно и непостижимо!»

*2 июля*

Петр и Андрей возвели леса вокруг храма и начали ремонт. Им постоянно кто-нибудь помогал, не было дня, чтобы несколько человек добровольно, безвозмездно не трудились вместе с ними. Но с внешним ремонтом было все же проще. А вот что делать внутри храма? Как восстановить фрески и недостающие иконы в иконостасе? Для этого нужны мастера, иконописцы. Их нет. И я решил сам взяться за писание икон.

Когда-то я занимался иконописью, сначала в академии, а затем под руководством замечательного искусствоведа и реставратора Адольфа Николаевича Овчинникова. Недавно, предвидя такую ситуацию, я написал ему письмо, и он прислал мне краски, материалы для грунтовки, кисти, в пространным послании дал массу полезных советов.

Поскольку найти подходящие доски для иконостаса — дело совершенно невыполнимое, я решил писать на древесностружечных плитах, которые мне раздобыли и порезали по нужным размерам Петр и Андрей.

И вот после окончания вечерней службы я устанавливаю хорошо отгрунтованную доску в Сергиевском приделе храма. Я один. Мерцают лампадки перед иконами. Ярко освещена только доска, на которой должно возникнуть Преображение Господне. Мучительный момент первого прикосновения к чистой доске. Все-таки творчество — не совсем человеческое дело. Иначе мы не испытывали бы безотчетного внутреннего страха, инстинктивного сопротивления в этот момент, как перед прыжком в бездну. Нужно закрыть глаза и броситься в нее. Потом, я знаю по опыту, работа пойдет, хорошо или плохо — другое дело. Господи, помоги! Я касаюсь карандашом доски, провожу первую линию, вторую, размечая контуры фигур...

«По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их: и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. И, услышавши, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме Иисуса».

В сущности это все, что известно о Преображении Господнем. Свидетельство евангелиста Матфея можно дополнить немногими, но важными деталями из Евангелия от Луки. Там говорится, что Иисус взошел на гору, чтобы помолиться, то есть его целью была совместная молитва с самыми близкими учениками, а не собеседование с Моисеем и Илией и не желание явить ученикам Свою Божественную сущность. Тайнственное явление пророков и Божественное Преображение есть лишь следствие, результат сокровенной молитвы. Вот почему Он велел ученикам никому не рассказывать об увиденном. И еще одна деталь. Евангелист Лука сообщает, что Петр и «бывшие с ним» были отягчены сном и, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. Нужно ли понимать в буквальном смысле, что ученики (все трое), утомленные молитвой, уснули, в то время как бодрствовал один Иисус, а потом вдруг одновременно пробудились? Или их пробуждение явилось прорывом в иную реальность, в сверхреальность и, таким образом, молитва отверзла их очи, дав увидеть то, что в обычном состоянии сокрыто от взора людей? Не потому ли исихасты, стремившиеся с помощью умного делания и молитвы сподобиться видения Божественного Фаворского света, так почитали Преображение?

Традиционно икона Преображения представляет тот момент, когда ученики слышат глас, глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный...» В центре, на горе Фавор, в сиянии нетварного света, изображается Иисус, по одну его сторону — Моисей, по другую — Илия, а внизу — в экспрессивных позах — исполненные страха ученики.

Работая над иконой, я следовал установившемуся канону. Строго сохраняя традиционную композицию и стиль XIV века, я принципиально не желал вносить в икону что-то свое, индивидуальное, наоборот, в процессе работы мне хотелось преодолеть свою эгоистическую обособленность, «самость», выйти за ее пределы. Ведь в этом весь смысл Преображения. С помощью живописных средств я стремился передать состояние прорыва к вечности и мистическую глубину света, которым просиял лик Христов на горе Фавор.

Каждый вечер, после службы, я уединялся в Сергиевском приделе храма и писал икону. Я не замечал, как бежало время. Иногда сзади меня слышались медленные, степенные шаги Василия. Он останавливался на почтительном расстоянии от меня и неподвижно застывал, наблюдая за моей работой. Но вот раздаются семенящие шаги Гришки-алтарника. Он подходит ко мне и становится напротив, давая понять, что пора заканчивать — на улице светает, а мне утром служить.

Я кладу кисти и иду отдыхать, чтобы завтра, а вернее, уже сегодня опять вернуться в Сергиевский придел.

Работа продвигалась медленно. Я не мог и не хотел форсировать ее. Порой мне казалось, что икона получается. В эти минуты я испытывал необыкновенный прилив сил и был счастлив. Но порой у меня опускались руки. Краски мне казались грубыми, нечистыми. Разве можно этими жуткими красками (да простит меня добрейший Адольф Николаевич!) передать тончайшую эфирную структуру, божественную чистоту света Преображения?! Но тут же я с горечью констатировал: дело здесь не в красках. Не говорил ли глубоко почитаемый мною святой Григорий Нисский, проницательный богослов и тонкий ценитель искусства, что грубое и низкое способно служить для выражения духовного и возвышенного? При этом он приводил слова из Священного Писания, которые, взятые вне контекста, могут показаться применительно к Богу откровенным богохульством, но в сочетании с другими; дают возможность глубже выразить таинственную сущность Божества, чем набор благочестивых эпитетов. Значит, все дело во мне, в моей бесталанности, в неумении найти такие сочетания красок, материальных и грубых, с помощью которых можно было бы запечатлеть тайну Фаворского света! Я никогда не переоценивал своих возможностей ни в иконописи, ни во всем остальном. Но я знал, что талант — это не только естественная предрасположенность человека к тому или иному роду деятельности, но и благодать Божия. Выходит, нет соизволения свыше на мою работу, что-то я делаю не так, чего-то недопонимаю. И вдруг меня пронзила простая и до того очевидная мысль, что я растерялся и не мог взять в толк, почему она раньше не пришла мне в голову. Ведь для того, чтобы запечатлеть Фаворский свет, недостаточно напрягать воображение, недостаточно умозрительных спекуляций — его нужно увидеть!

Я пришел к тому, с чего должен был начать, с чего начинали мои предшественники, устроители Сарской Преображенской обители, игумены Даниил, Филофей, Тихон, а в начале нашего века — старец Варнава. Ну разве это не парадокс? Я, основательно изучивший историю исихазма, написавший на эту тему целую книгу, даже не предпринял попытки понастоящему испробовать на себе метод умной молитвы, практиковавшейся исихастами!

Теоретически все было ясно. Но на практике проблемы возникли с самого начала. Григорий Синаит рекомендует совершать умную молитву, сидя на седалище высотой в одну

пядь. Сколько же пядь составляет в нашей десятичной системе? До сих пор я не удосужился этого выяснить. Пришлось смотреть в словаре. Оказывается, пядь равна расстоянию между концами вытянутых большого и указательного пальцев...

Следующая рекомендация Синаита: наклонить голову и устремить взгляд в центр живота. За это язвительный Варлаам прозвал исихастов «пуподушниками», то есть имеющими душу в пупе, и на Западе несколько веков очень потешались по данному поводу. Но насмешки, право же, неосновательны. Наклон головы должен усилить приток крови в мозг и таким образом стимулировать его деятельность. И обращение взгляда к солнечному сплетению, анатомическому и энергетическому центру человека, несомненно, тоже имеет свой смысл, поскольку таким образом происходит концентрация усилий на внутреннем самоуглублении, не говоря уже о том, что тело в этом случае принимает эмбриональную позу, биологически максимально приспособленную для изоляции от внешнего мира и обретения нами душевного равновесия и спокойствия — исихии.

Далее, говорит Григорий Синаит, необходимо постоянно повторять про себя слова Иисусовой молитвы, состоящей из одной короткой фразы: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного», и стремиться «кругами» направлять мысль вовнутрь своего «я», не давая ей отвлекаться и особенно избегая образных видений и бесплодных мечтаний. И вот, когда вы научитесь концентрировать свою мысль и волю, свидетельствует он, вы сможете овладеть колоссальной энергией, скрытой в вашем организме, и управлять происходящими в нем процессами. Святые угодники, сотворяя из себя совершенного человека, настолько преуспевали в этом, что достигали внутреннего видения Бога и, более того, становились вместилищем Его, а тело их, пронизанное Божественной энергией, преображалось и становилось светозарным. Что же удивительного в том, что и после смерти святых их мощи остаются источником чудодейственной силы?

Итак, нужно «кругами» направлять мысль вовнутрь своего «я», не давая ей отвлекаться. Но вот это-то и оказалось для меня самым трудным, недостижимым. Мысль вырывалась, легко проникая сквозь все возводимые мною преграды и заслоны; образы и видения, совсем неуместные, возникали передо мной, я их гнал, но они вновь появлялись обманным путем, с черного хода, как Протей, меняя обличье.

Через два часа я был в изнеможении. Это было полное, сокрушительное поражение. Вспомнилось: в своем Апокалипсисе Филофей писал, как, приступив к умной молитве, он «вскоре» почувствовал «знакомую теплоту» в области сердца. «Вскоре»! «Знакомую теплоту»! Значит, это было для него обычным ощущением. И ни намека на изнурительную борьбу с самим собой!

Начиная свой эксперимент, я, конечно, не строил иллюзий. Отцы Церкви предупреждали, что этот путь труден и длителен. Но всем, говорили они, проявившим твердость и настойчивость на этом пути, рано или поздно, каждому в свой срок, дано отвесть заветные плоды. Я решил проявить настойчивость и твердость и каждый день часа два-три отводить умной молитве. Но мне с самого начала стало ясно, что мой срок настанет не скоро, из чего следовали весьма неутешительные выводы относительно завершения иконы Преображения.

Господь, однако, услышал мою молитву и исполнил мое желание, но не так, как предполагал мой грешный ум. Буквально на следующий день после службы ко мне подошел мальчик лет шестнадцати. Он сказал, что учится в городском художественном училище и дома для себя, для души, пишет иконы. Я попросил показать их мне. Он тут же развернул тряпицу, в которую были завернуты две небольшие иконы: Владимирская Богоматерь и Спас

Нерукотворный. И я мысленно вознес благодарственную молитву Господу. Техника его письма была еще несовершенна, многих приемов иконописания он пока не знал. И краски! Разве это краски! Но передо мной был талант, талант милостью Божией! Ему, конечно, неведомы колебания и внутренняя борьба, которые парализуют мою волю и не позволяют мне завершить икону Преображения. Он пишет, как дитя, как он видит и как говорит ему его внутренний голос. Я это понял с первого взгляда.

— Вы улыбаетесь... Вам не нравится?

— Нравится, мой юный брат. Вы талантливы. В вашей технике письма кое-что нужно подправить, — что, я вам подскажу. Писать надо другими красками, я научу вас, как их готовить. А эти две иконы оставьте как есть.

— У меня к вам просьба... Не могли бы вы их освятить?

— Обязательно.

— И еще один вопрос... Можно мне попробовать писать иконы для иконостаса?

— Можно. А теперь я вам скажу, почему я улыбался. Вас послал мне Господь Бог.

Коля, так звали мальчика, рассказал мне, что вчера вечером он подумал (вчера вечером!), что, может быть, ему следовало бы помочь храму. Он знал, что в иконостасе не хватает икон и храм нуждается в реставрации.

— В городе, — сказал Коля, — много говорят о вас, говорят, что у нас появился замечательный, удивительный священник, но ему очень тяжело.

— Я рад, что так говорят обо мне. Не потому, что это льстит моему самолюбию, а потому, что это важно для храма и для дела, которому я служу. И мне действительно тяжело.

— Я это вижу и постараюсь помочь вам.

Отбросив все насущные дела, я несколько часов просидел с Колей, рассказывая ему о технике иконописания, о маленьких секретах, которым научили меня мои учителя (кое до чего додумался я и сам), и, наконец, о главном секрете, который открыл мне Адольф Николаевич. Изучая под микроскопом структуру красочного слоя иконы, он обнаружил, что та имеет очень неровный характер и поверхность иконы фактически представляет собой своеобразную мозаику. Поэтому икона при колышущемся пламени свечей (а на нее нужно смотреть только при свете свечей) оживает. В противном случае, при иной красочной структуре, она приобретает холодный, мертвящий блеск. Адольф Николаевич в свое время показал мне, какими приемами создается «мозаичность» поверхности иконы, и вот теперь я поведал об этом Николаю.

— Вы говорите о писании икон, — с удивлением произнес Коля, — как будто бы всю жизнь только этим и занимались.

— Я действительно писал иконы. Несколько моих икон находятся в иконостасе Покровского храма Московской Духовной академии. Но я не считаю себя большим иконописцем. А рассуждать о технике иконописи всегда легче, чем создавать иконы.



Коля приступил к работе. Он решил писать в храме. «Здесь лучше пишется», — сказал он. Работа у него пошла намного быстрее, чем у меня. Он, как губка, впитывал мои советы. Прошло несколько дней, и я мог уже только восхищенно наблюдать за ним.

Вскоре в храме появился еще один иконописец. Однажды Коля сказал:

— Знаете, отец Иоанн, в нашем городе есть замечательный, гениальный художник, Арсений Елагин...

Он согласился бы поработать в храме... Я говорил с ним об этом. Он пишет, правда, в сюрреалистической манере... Вас это не смущает?

— Нисколько, если, конечно, он не собирается в этой манере писать иконы.

— Нет, нет, что вы! Он верующий человек, православный, но сломленный... Несколько раз его помещали в психушку. Нужно сказать, что он страдает запоями, порой напивается до белой горячки. Но в психушку его запикивали не поэтому. Полгода назад, например, он устроил выставку своих картин на Соборной площади, напротив горисполкома. Ну разве это не сумасшествие? Не мелкое хулиганство, не нарушение общественного порядка, а форменное безумие! Были бы еще картины, как у людей: «Мишки в лесу», «Ленин в Смольном», «Вручение маршальского жезла Леониду Ильичу», — тогда можно было бы еще и подумать, и даже премию дать. А так... стоит только взглянуть на его картины — да вы сами увидите, — все сомнения разом отпадают. Тут и с психиатром нечего консультироваться. Диагноз в исполкоме поставили — и на три месяца на принудительное лечение. Сломанный он человек, но гениальный художник! Хорошо бы, отец Иоанн, вам навестить его. А может быть, прямо сейчас и пойдём? Живет он тут недалеко...

— Прямо сейчас, говоришь?

— Прямо сейчас.

— Хорошо, идем.

Арсений Елагин проживал в пяти минутах ходьбы от храма. Мы подошли к цокольной двери обшарпанного старинного здания. До революции за этой дверью, испещренной ныне хамскими надписями, видимо, жил дворник, а сейчас — гениальный художник Арсений Елагин.

— Звонок не работает, — сказал Коля и постучал в дверь. Из-за нее послышался рев или стон:

— Входите. Открыто.

Толкнув дверь, мы сразу оказались в комнате — никакой прихожей не существовало. Комната была огромных размеров и служила одновременно мастерской, выставочным залом, гостиной, спальней, кухней и даже ванной. Елагин лежал на железной кровати в брюках, сапогах и драной тельняшке. Лицо его было опухшим, глаза воспаленными, красными, щеки заросли недельной щетиной, и, наверно, столько же времени он не расчесывал волосы. Услышав приветствие Николая, он что-то буркнул в ответ и не пошевелился, но, увидев меня, с усилием поднялся с постели.

— Простите, батюшка, — смущенно пробормотал он.

Дрожащей рукой он потянулся за бутылкой водки, стоявшей на тумбочке (такие тумбочки являются неизменным атрибутом больниц, казарм, тюремных барачков, пионерских лагерей и семинарских спален), налил себе половину граненого стакана и залпом выпил, вытерев губы рукавом тельняшки.

— Ничего, отец Иоанн, я сейчас приду в норму. Я в нерешительности остановился. Конечно, меня не приглашали читать лекции о морали и вреде алкоголизма и даже предупредили о пороках, которыми страдает хозяин квартиры, но ведь я пришел говорить об его участии в реставрации храма, в написании икон, что невозможно делать при таком образе жизни. Впрочем, не впадаю ли я сам в грех осуждения? Имею ли я право осуждать его? Художник словно прочитал мои мысли.

— Таков я есмь, отец Иоанн, не будете бросать в меня камень?

— Вы знаете, что сказал об этом Христос?

— Знаю. Потому и надеюсь. Позвольте, я угощу вас чайком. Эту гадость, — он кивнул на бутылку, — я предлагать вам не буду. А пока можете посмотреть мои шедевры.

Картины Елагина производили жуткое впечатление. По мрачности мирозерцания его можно было сравнить с Гойей последнего, «темного» периода. Изошренность фантазии вызвала в памяти Босха. Бесовские оргии, вакханалия зла, безумие, земля, населенная звероподобными существами и загаженная, оскверненная, смердящая. Страшный апокалипсис, навеянный ГУЛАГом и психушкой. Представляю, как реагировали на эти картины, выставленные на всеобщее обозрение около исполкома, жители и отцы города!

Истерзанный кошмарами преисподней, художник искал выхода, просвета, и он забрежзил ему в ушедшей, распятой Святой Руси. Три-четыре картины, стилизованные под иконопись, были посвящены поиску этого утерянного идеала. Но они-то как раз показались мне менее удачными, о чем я откровенно сказал Елагину. И он согласился со мной.

— Вы абсолютно правы, — медленно, с расстановкой произнес Арсений. — Идеал Святой Руси и Православие — это все, что у нас осталось. Но они органически несовместимы с нашей уродливой, испоганенной действительностью. Попытки привнести их в нее создают впечатление фальши.

Это и есть фальшь, кощунственный обман, святотатство... Искусство, пытающееся дать позитивный идеал, сейчас ни на что иное не способно. И вообще, мы живем в период разложения искусства. Оно не в состоянии ни передать всего ужаса действительности, ни противопоставить ей положительный идеал. Остается одно — выход за рамки искусства. Моей последней картиной будет полотно, измазанное дерьмом. Альтернативой же этой мерзости может быть не стилизация под иконопись, а икона, преодоление искусства и прорыв к Богу. Вот к чему я пришел, отец Иоанн. Вас, конечно, ужасает все, что вы видите здесь. — Он страдальчески скривился. — Я знаю, что прикосновение к святыне должно быть чистым. Не думаю, что смогу легко преодолеть свои пороки, если вообще смогу их преодолеть, но обещаю вам: мое прикосновение к святыне будет чистым. Елагин взял бутылку и вылил ее содержимое на пол.

— Неделю не пью. Налагаю на себя недельный пост. А через неделю прихожу к вам на исповедь.

Через семь дней Арсений Елагин был в храме. Он исповедался и причастился, а затем сразу же приступил к работе над иконами. Так же как и Коля, он решил писать их в храме. Они работали вместе, рядом, помогая друг другу советами, но работали в разных манерах. Коля ассоциировался у меня с Рублевым. В его иконах — спокойствие, уравновешенность, классическое совершенство. Елагин же своей экспрессивной манерой, беспокойными бликами напоминал скорее Феофана Грека. «Ему бы писать фрески, — думал я, — картины Страшного суда, они получились бы у него превосходно».

Я изучил западную стену храма. Росписей там не сохранилось. Место для Страшного суда было свободно. Без санкции Госназдора я, однако, не мог приступить к росписи храма. О том, чтобы получить такую санкцию от товарища Блюмкина, нечего было и думать. Нужно было действовать через его голову, и мне не оставалось ничего иного, как обратиться за помощью к Адольфу Николаевичу. Я подробно описал ему все мои проблемы и, не рискуя доверять письмо почте, отправил его в Москву с одним из прихожан.

## 15 июля

Жизнь прихода постепенно входит в ритм богослужебного круга. Я приехал в Сарск в канун Пятидесятницы, что воспринял как доброе предзнаменование. Все мои ощущения и переживания, связанные с празднованием Духова дня и Троицы, в этот раз были совсем иными, чем прежде. Раньше мое восприятие этих праздников было глубоко личностным и интимным. В самом деле, Слово Христа, которое есть Новый Завет, Новый Закон, обращено ко всей полноте Церкви, ко всем людям. Дух же Святой, Утешитель, Который, по словам Христа, должен был явиться и явился после Него в день Пятидесятницы, действует избирательно. Он обращен к личности. Он не есть Закон. Дух свободы, Который дышит «идеже хошет и как хошет», есть Дух созидания, творческого экстаза и прозрения. Я молил Его о ниспослании мне вдохновения, о помощи в моих научных трудах. Личностный характер для меня имел и день Святой Троицы, мысль о Которой повергала меня в мистический трепет. В Ней, нераздельно и неслиянно совместившей в себе кристальную чистоту Божественной идеи, Божественного Слова, Логоса, с энергией кипящей плазмы, Духа Святого, и Началом всех начал, Богом Отцом, мне виделась не только тайна возникновения и бытия мира, но и разгадка меня самого, моих мыслей и желаний, моей судьбы. В этот же раз, как я уже сказал, все для меня было иначе. Видя кругом мерзость запустения и торжество сатанинских сил, я трагически ощущал свою немощь и бессилие сломанного, униженного, опозоренного сообщества грешных людей, отчаянно нуждающихся в помощи Божией. Взывая к Духу Святому: «Прииди и вселися в ны» (в ны, а не в меня!), я уже не думал о себе и своих научных изысканиях, я думал только о спасении вверенной мне паствы.

Праздники прошли торжественно. Храм был полон. И я инстинктивно почувствовал: что-то произошло. Надежда зародилась в душах людей. Благодать Духа Святого коснулась их. И сейчас, когда я пишу эти строки, перед глазами стоит наполненный ярким светом и украшенный молодой зеленью храм. Свет и молодая зелень, и радостные, преображенные лица людей. Господи, помоги им и спаси их!

А затем был праздник Всех святых. В этот день я говорил в проповеди о том, что каждый из нас при крещении становится храмом, посвященным Христу и тому святому, имя которого мы принимаем. Выбор имени не случаен, и он накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь человека — в этом мне неоднократно приходилось убеждаться. Я говорил о том, что каждый должен знать земную жизнь своего небесного покровителя и почитать его — ведь это путь к познанию самого себя, своей собственной судьбы, к преодолению поджидающих нас бед, катастроф и соблазнов. Все вместе мы возносим молитвы к сонму святых, прося их покровительства и поддержки.

Потом был день Святых, в земле Российской просиявших. Я рассказывал прихожанам о русской святости, выделяя в качестве ее главных черт бесконечное терпение перед лицом бед и страданий, удивительную терпимость, открытость, смирение, всепоглощающую любовь к ближним. «Вот наш национальный идеал, — говорил я. — Это идеал Святой Руси. Он не умер, он живет в ваших сердцах. Он несовместим с нетерпимостью, злобой, грубой силой, ложным величием и темным сиянием ненавидящего людей падшего ангела».

Я смотрел в глаза стоявших передо мной людей. Они горели. А стояли передо мной теперь не только смиренные и забытые старушки. На службу стали приходиться молодые и среднего возраста мужчины и женщины с умными, интеллигентными лицами. Мои слова находили у них отклик, но было очевидно также, что их религиозные познания ничтожны.

Нужна катехизация! Возможность у меня для этого одна — проповедь. Поэтому теперь я проповедаю не только во время литургии, но и после вечерней службы. Поскольку проповедь не может быть долгой, приходится тщательно продумывать ее, чтобы максимально насытить содержанием. Наконец, важно связать все отдельные проповеди в единую систему, которая постепенно могла бы дать прихожанам цельное представление о православной вере. Исключительное значение имеет толкование Евангелия. Отрывки из него, которые читаются по-церковнославянски при богослужении, я прочитываю вторично во время проповеди, теперь уже по-русски, а затем комментирую их.

Метод катехизации, который мне приходится использовать, нельзя, конечно, назвать достаточно эффективным. И это понятно. Слишком пестр состав моих прихожан и по возрасту, и по образованию, и по интересам. Как найти слова, понятные для всех? Слушают меня внимательно, как и положено слушать священника, но это только монолог с моей стороны, а нужен диалог!

Я решил устраивать после службы чаепития в храме, на которые стал приглашать наиболее активных прихожан. Чаепития превратились в своеобразные богословско-религиозные семинары. Мне задают вопросы, и я отвечаю на них. Вопросы иногда настолько примитивны и наивны, что ставят меня в тупик. Уровень религиозных знаний здесь, оказывается, значительно ниже, чем я предполагал. Приходится вносить коррективы в свои проповеди и делать их более доступными.

Но ничего. Не сразу Москва строилась. Будем продолжать наши вечера. Устроим приходскую библиотеку — чемодан привезенных книг может послужить ее основанием. Сложнее с благотворительностью. Она запрещена законом, и за нее грозит уголовная ответственность. Но и тут, наверно, не все безнадежно: при желании можно найти «безобидные» формы помощи больным, инвалидам и престарелым. Я уже посетил некоторых из них, исповедовал и причастил их. В проповедях я постоянно говорю о необходимости помогать ближним, особенно больным и страждущим, а во время чаепитий речь идет об оказании помощи конкретным людям. Незаметная работа в области милосердия началась.

За чаепитиями постоянно присутствуют Петр, Андрей, Агафья, Георгий Петрович, которого теперь в шутку прозвали Четырехдневным Лазарем, а вместе с ним некоторые хористы, иконописец Коля, Арсений Елагин, хранящий обет молчания Василий. Семенящий короткими шажками Гришка-алтарник, подобно Гефесту, обходит участников трапезы и разливает чай. Господи, благослови наши труды!

## 17 июля

Сегодня ко мне пришел Юрий Петрович Лужин и сказал, что ему хотелось бы поговорить со мной. Подняться со мной в келью он, однако, отказался.

— Лучше погуляем, — предложил он, но тут же передумал: — Нет, это невозможно. Показать вместе с вами на улице было бы полным безумием. Завтра об этом говорил бы весь город. Вы ведь не снимаете рясу... Да если бы и сняли... Что это изменило бы? .. Вас здесь уже каждая собака знает. А в келье... Вы уверены, что там ничего нет?

О том, что подразумевал Юрий Петрович под словом «ничего», можно было не спрашивать.

— Уверен, что в келье в течение полувека, вплоть до моего вселения никого не было.

— А после вашего вселения?

— Думаю, тоже нет.

— Думаете! Нет, батюшка, береженого Бог бережет. А что, если нам на колокольню подняться?

— Пожалуйста.

Мы поднялись на колокольню. Был тихий вечер. Солнце уже зашло, и на светлом небосклоне появилось бледное очертание молодого месяца. Город был погружен в сонную оторопь, и только Левиафан на западе пыхтел и лязгал железными зубами.

Юрий Петрович, молчал, напряженно о чем-то думал, не решаясь начать разговор.

— Курить здесь, конечно, нельзя... — не то вопросительно, не то утвердительно произнес он, затем достал из кармана пачку сигарет, вынул из нее сигарету, покрутил в пальцах и снова убрал. И вдруг обратился ко мне с вопросом:

— А вы действительно верите в Бога?

— Станный вопрос.

— Не обижайтесь на меня, но мне в самом деле трудно понять, как можно верить в Бога. Вы, конечно, скажете, что это выше всякого понимания, и такое заявление будет неотразимо, но оно не удовлетворит меня. Я не в состоянии уразуметь, зачем нужно искать объяснение существующего мира вне его самого.

— Вы думаете, что объяснение всему можно найти в самом мире?

— В конечном счете, да.

— Возникновению материи, жизни, разума?

— Да, да, да!

— Юрий Петрович, тут только две возможности: или все это игра случая, или результат сознательного акта. Мне представляется нелепой мысль о том, что этот огромный, сложный, упорядоченный и, наконец, мыслящий себя мир — случайность, курьез. Но если жизнь и разум возникли не случайно, значит, их потенциальная возможность уже была запрограммирована или даже закодирована в некоем геноме, что предполагает существование предвечного Божественного Разума. Хаос сам по себе не мог породить закономерность и порядок, они могли быть привнесены в него только извне.

— Но ведь это лишь гипотеза! Где же доказательства?

— Да, с точки зрения формальной логики это лишь гипотеза. Но почему обязательно нужны доказательства? В геометрии вы же принимаете аксиомы без доказательств?

— Истинность этих аксиом для всех очевидна.

— И даже аксиом Лобачевского? Разве не абсурдна его аксиома о том, что через точку, лежащую вне прямой, можно провести сколько угодно прямых, параллельных последней? Однако на основе этой аксиомы возникли новая геометрия и новая физика, позволившие нам выйти за рамки Евклидова мира. Примите наши аксиомы, и перед вами откроется новая Вселенная!

— Принять ваши аксиомы, принять вашу веру...

— Но что есть вера, отец Иоанн? Я не возражаю против веры, но мне недостаточно веры, мне нужны доказательства.

— Господи, но ведь вера с доказательствами не есть ли порождение человеческого эгоизма, желание подчинить себе Бога и подменить Его собой? По словам отца Павла Флоренского, это самочинство и самозванство. Только в нашу больную, жуткую, иконоборческую эпоху понятие «обрести веру» получило значение «убедиться в существовании Бога». Русское слово «верить» имеет прежде всего смысл «доверия». Речь идет о том, чтобы довериться Богу. Довериться или отвергнуть. Жить с Богом или без Него.

— И все-таки, отец Иоанн, вера не знание. Я готов признать полезность веры для нравственного состояния общества, но краеугольный камень современной цивилизации — все же знание.

— Вы спросили меня: «Что есть вера?» Позвольте задать вам аналогичный вопрос: «Что есть знание?»

— Постигнутая истина.

— Истина или относительные истины?

— Абсолютная истина непостижима.

— Значит, речь идет об относительных истинах, о том, чтобы удовлетворить наше элементарное любопытство. Как же это примитивно и плоско! Мы узнали, например, как выглядит обратная сторона Луны. Ну и что из этого? Любопытство удовлетворено — интерес тут же пропал. Не в этом ли драма настоящих ученых? Сделанное открытие дает им короткий миг радости, которую сменяют опустошенность и разочарование. Удовлетворенное любопытство не может насытить человека. Ему нужно не знание, а с в е р х з н а н и е ,

которое постоянно согревало бы его и заставляло бы вибрировать каждую частицу его существа. Такое сверхзнание заложено в вере. Она, конечно, бывает разной. Одни впитывают ее с молоком матери, и она, ровная и спокойная, никогда не покидает их. У других вера — борьба, борьба с самим собой и с Богом. Таков был Иаков, получивший имя Израиль, что значит «Богоборец».

— Я подозреваю, что вы сами не из тех, у кого ровная и спокойная вера. Вы из другого племени — из богоборцев.

— Мой путь к Богу не был простым и ровным... Пожалуй, вы правы, Юрий Петрович.

— Выходит, и вас терзали, а возможно, и до сих пор терзают сомнения?

— Терзали, Юрий Петрович.

— Терзали, говорите... Это, видимо, и влечет к вам людей. Вы можете понять грешника, потому что сами падали... Вот только какую меру падения вы можете вместить и простить?

— Разве в моем прощении дело?

— Вы о Боге говорите... Но ведь чтобы просить Его о прощении, нужно веру иметь. А если ее нет? И таить в себе бремя вины нет сил?

— Юрий Петрович, если сознание вины гнетет вас и вы жаждете прощения, вера у вас есть, только вы сами еще не осознали этого, но осознаете, поверьте мне.

— Хорошо. Я все расскажу. И тогда вы скажете, может ли такой человек, как я, иметь веру и надежду на прощение.

Юрий Петрович вновь достал пачку и, нервно теребя вынутую сигарету, сказал:

— Нет, нет, курить я не буду. Так слушайте. Все началось, когда я учился в институте. Нет, пожалуй, раньше. С двадцатого съезда партии. Мне тогда было четырнадцать лет, и я был как все, то есть верил, что мы живем в лучшем из миров. Я знал, конечно, что хитрые и коварные враги стремились опорочить наш строй. Они заявляли, что мы живем в условиях рабства. «Ну какое же это рабство! — думал я, проходя по улицам Москвы. — Люди идут куда хотят, улыбаются, шутят. В магазинах, правда, не хватает товаров, живем мы впятером в пятнадцатиметровой комнате в деревянном бараке, без водопровода и канализации, но ведь мы еще не построили земного рая, то бишь коммунизма. Но обязательно построим!»

И вдруг как гром среди ясного неба! Великий Кормчий был, оказывается, самозванцем, наглым обманщиком, злодеем, а его ученики и сподвижники — бандитами с большой дороги и душегубами! Было от чего прийти в смущение.

Когда умер «великий вождь», я написал стихи, которые так и назывались — «На смерть Сталина». Что меня подвигло на это, не знаю. Никогда до и после стихов я не писал. Во всяком случае, никакого эмоционального потрясения я тогда не испытывал, хотя некоторые мои школьные учителя и соседи по дому плакали, думаю, вполне искренне. Стихи у меня получились на редкость дрянные — набор штампов из хрестоматий по советской литературе. Тем не менее их поместили в школьной стенной газете, и я с огромным удовольствием прочитал их на траурном митинге в школе. Со стихами все ясно — тут



действовало мое запрограммированное сознание. Но этим моя реакция на смерть Кормчего не ограничилась. Она проявила себя и подсознательно, иррационально, загадочным и до сих пор не вполне понятным мне образом. Вместе с другими пионерами меня поставили в почетный караул около бюста вождя, что было воспринято мною как большая честь. Оказавшись перед бюстом и подняв руку для пионерского салюта, я попытался придать своему лицу подобающее для данного случая скорбное выражение. Но не тут-то было. Я почувствовал, что меня начинает душить смех, и, чем больше я стремился подавить его в себе, тем сильнее мне хотелось смеяться. Это была невыносимая мука. Я весь покрылся испариной. Нервы напряглись до предела, и я не выдержал — расхохотался безудержно, до слез. Трудно было понять: хохочу я или плачу. И это спасло меня. Все расценили мою реакцию как истерику, вызванную безутешным горем, — не я ли и стихи написал по этому поводу? Однако в том-то и дело, что никакого безутешного горя не было! К бюсту я подошел совершенно спокойно. А потом какой-то бесенок стал во мне посмеиваться и похихатывать, и каким-то внутренним чутьем я постиг, что за всем этим траурным ритуалом и всенародной скорбью скрывается наглая бесовская ухмылка.

Эта догадка так и осталась мною до конца не осознанной. И вдруг XX съезд, закрытый доклад Хрущева и умопомрачительные откровения, которые окончательно разрушили иллюзии, все, до основания. Мне сразу стало ясно, что дело тут не в Кормчем и его дегенеративных сподвижниках, — виновата преступная государственная система, возникшая после октябрьского переворота.

Политические страсти и прозрения четырнадцатилетнего мальчика, вполне естественно, вскоре утратили свою остроту. Всеми моими помыслами овладела живопись. Я неплохо рисовал, готовился к поступлению в Суриковское училище, но в последний момент передумал и поступил в Архитектурный институт. С моей стороны это была спонтанная реакция и на фальшивый сталинский классицизм, и на убогий примитивизм хрущевской эпохи.

Во время учебы в институте я вновь заинтересовался политикой. Грубое вмешательство партийного и государственного руководства в область искусства вызывало глухой ропот в студенческой среде. У нас образовался небольшой кружок радикально настроенных молодых людей. В основном это были мои школьные друзья, учившиеся в различных институтах, и друзья моих друзей. Я невольно оказался как бы центром притяжения для них. Сначала наши встречи имели довольно безобидный характер — все сводилось к элементарному зубоскальству. Помню, как на пляже в Серебряном Бору мы высмеивали партийную программу о построении в нашей стране коммунизма в двадцатилетний срок. Газета читалась вслух, и после каждого абзаца раздавался дружный гомерический хохот. Так была прочитана вся партийная программа — от начала до конца.

Постепенно в нашем кружке зародилась мысль о необходимости противопоставить окружающему нас маразму нечто позитивное. Один из моих школьных друзей, учившийся в Плехановском институте, занялся разработкой альтернативной экономической концепции. Его приятель с философского факультета МГУ штудировал Гегеля. Я создавал философию творчества. Среди нас были поэты и художники, писавшие безумные стихи и абстрактные полотна. Мы все были чрезвычайно упоены собой, видели в себе непонятых гениев, творцов нового мира и не замечали, что шли по проторенному руслу, только не вперед, а назад, словно повторяя в обратном порядке эмбриональное развитие. Лишь на фоне всеобщего маразма это могло казаться чем-то новым и значимым, а по существу было никчемным и бесплодным. Наше вымуштрованное сознание не предпринимало даже попыток вырваться из тисков элементарной логики и примитивного рационализма, из Евклидова мира, как сказали вы. Если не Маркс, так Гегель и Фейербах, если, не соцреализм, так авангардизм и кубизм.

Боже мой, в кубистах я видел титанов, богов, созидателей новой Вселенной! Разрушить, расчленив окружающий нас мир на безжизненные куски, структурные элементы и сотворить из них новое, невиданное совершенство! И все это в противовес божественному творению! Я восхищался садистским порывом расчленения тел и природы, не сознавая, что это симптом болезни ума, отражение массового безумия, охватившего огромную несчастную страну, не догадываясь, что в авангардистском искусстве уже были запрограммированы пытки, конвульсии невинных жертв и некрофильство эпохи всеобщего благоденствия. «Черный квадрат» Малевича — это порождение извращенного сознания ГУЛАГа.

К чему я все это говорю? Мы выступали против маразма нашей жизни, но с момента появления на свет вдыхали ее миазмы. Ядовитые испарения отравили наше сознание. И даже самые светлые умы у нас несут стигмы этого маразма. Вы читали Шаламова?

— Да, некоторые рассказы.

— А вы знаете, как он закончил свои дни?

— Нет.

— Он умер в 1982 году в психоневрологическом доме для инвалидов, одним словом, он вернулся в ГУЛАГ. И там ожили в нем все гулаговские привычки. Он с жадностью набрасывался на еду — чтобы не опередили, прятал постельное белье — чтобы не украли. Но самое страшное то, что он был счастлив. «Здесь очень хорошо, — говорил он, — здесь хорошо кормят». Для больного сознания Шаламова ГУЛАГ стал раем. Вот в чем ужас!

В нас росло желание бороться с режимом. Малочисленность нашего кружка нас не смущала. Большевиков сначала тоже можно было по пальцам пересчитать, но захватили же власть! О захвате власти мы не говорили — слишком фантастическим все это казалось, но я знал, что сия горячая мысль будоражила некоторые головы. Мы говорили о борьбе, а как бороться, хорошо было известно. Методы борьбы вдальбливали в наши головы с первого класса. Конспиративные кружки, листовки, прокламации, нелегальная типография. Началась детская игра — мы же были не по возрасту инфантильны! Игра продолжалась и после окончания института. Она приобрела особую остроту и захватывающую притягательность после того, как стало очевидно, что мы попали в поле зрения «органов». Нам доставляло несравненное удовольствие обнаруживать за собой слежку. Те, кто следил за нами, тоже вели игру. Мы были нужны им, как и они были нужны нам, для совместной игры в казаки-разбойники. Порой, правда, возникали недоразумения. Когда «разбойники» доводили до изнеможения своих преследователей или уж слишком демонстративно и вызывающе давали им понять, что они раскрыты, те, подкараулив наглецов в какой-нибудь темной подворотне, пускали в ход кулаки. В итоге вырабатывались правила игры, удовлетворявшие обе стороны. Мы пытались обмануть, провести за нос друг друга, но без особой злости и садизма: игра в конце концов должна доставлять удовольствие! Впрочем, нельзя было не видеть и существенной разницы в нашем положении: для «разбойников» игра была хобби, а «казакам» за нее платили деньги, и, по-видимому, немалые.

Масштабы игры расширялись. В нее включались видные сановники «всевидающей» и «всеслышающей» организации. Нас стали вызывать повестками для «профилактических» бесед в известное здание на Лубянке. Первые приглашения приводили нас в шоковое состояние, но затем мы к ним привыкли. Беседы с генералами и полковниками были мирными и дружелюбными. Нас слегка шантажировали и увещевали, однако без особого энтузиазма, а затем отпускали восвояси. Все это вызывало у нас эйфорию. Еще бы! Руководители мощнейшей и страшнейшей организации, перед которой трепещет весь мир,

разговаривают с нами на равных! Но у меня все же время от времени возникало подозрение, что игра в казаки-разбойники давно уже превратилась в кошки-мышки. Кошка не торопилась сцапать мышку. Ей важно было напугать своего хозяина — слона, пуще всего боявшегося мышей, — чтобы показать свою значимость и урвать кусок пожирнее с хозяйского стола.

Наш кружок представлял собою аморфную группу единомышленников. Единой концепции и единой программы не существовало, и не было какой-либо четкой организационной структуры. Но постепенно я стал замечать, что среди моих друзей происходит разделение. То есть разделение всегда было — существовали симпатии и антипатии, кто-то к кому-то был ближе по своим интересам и взглядам, но теперь происходило нечто совсем другое...

Я говорил, что среди кружковцев был молодой человек, штудировавший Гегеля. О! Это была яркая личность! Звали его Лев Бубнов. Ростом он не удался (метр пятьдесят — не более), но имел развитый, сильный торс. Он постоянно упражнял свое тело — готовился к будущим испытаниям и сверхнагрузкам. Его крупная голова прочно сидела на короткой шее, и во всем его облике было что-то твердое и непоколебимое. Поскольку конспектирование Гегеля нам представлялось чем-то вроде Гераклова подвига, нашего философа стали называть «гигантом мысли». Нужно сказать, что он действительно обладал выдающимся аналитическим умом, в котором меня, правда, смущало одно — удивительная способность превращать наисложнейшие мысли в примитивные схемы и аксиомы, неотразимые по своей простоте, в лозунги, которые он подобно гвоздям вколачивал в черепа окружающих. О себе Бубнов был высочайшего мнения и почти не скрывал этого. Ко мне он относился с подчеркнутым уважением, за которым, однако, сквозила тонкая ирония. Я чувствовал, что все наши идеи и споры воспринимались им как бесплодный интеллигентский вздор. Но я и мои друзья на том этапе за чем-то были нужны ему, деятельность кружка входила в его планы, в которые он не собирался нас посвящать. Впрочем, я о них смутно догадывался... Бубнов создавал хорошо законспирированную подпольную организацию, разбитую на тройки. Ее целью была борьба за власть. Какими методами она собиралась действовать, видно хотя бы из того, что «гиганту мысли» удалось внедрить одного из ее членов в КГБ. Я хорошо знал этого человека. Он закончил Институт иностранных языков, посещал наш кружок, а затем по совету Бубнова написал донос, стал осведомителем, потом был зачислен в штат, закончил Высшую школу КГБ и распределен в Московское управление. Я узнал об этом еще до моего ареста. Уверен, что и провокация, которая привела к аресту, была осуществлена не без его участия. Дело в том, что мы решили передать на Запад и опубликовать там собранные нами сведения о реальном экономическом положении в стране. С этой целью был установлен контакт с американским журналистом, каковым в действительности оказался сотрудник КГБ. Сведения попали «куда следует», а при повторной операции мы были захвачены с поличным.

Итак, я оказался сначала на Лубянке, а затем в Лефортово. Внешне там все выглядело вполне благопристойно — ни казематов, ни пыток, ни изнурительных допросов. Постель с чистыми простынями, сносное питание; прекрасная библиотека, вежливый, интеллигентный следователь, с которым мы вели историсофские разговоры. Меня, правда, неприятно поразили разложенные на столе следователя западные полупорнографические журналы. Их назначение не вызывало сомнений — оказать на меня психологическое воздействие, на что я не преминул обратить внимание моего визави, — и журналы исчезли.

В беседах со мной следователь признавал, что существующий в стране строй имеет много изъянов, называл его тоталитарным, говорил, что не верит в коммунистическую утопию, но утверждал, что не видит альтернативы. Истинная демократия, по его словам, была только в древних Афинах, где правителей избирали по жребию. В наше время такое

уже невозможно. Сложнейшие финансово-экономические и социально-политические вопросы должны решать специалисты. Замена бюрократов выборными людьми приведет только к хаосу. Из подобных рассуждений следовало, что деятельность нашего кружка изначально была лишена всякого смысла.

Однажды, высказав полное понимание мотивов, которыми я руководствовался, следователь заявил, что он находится в затруднительном положении и не знает, как помочь мне. Объективно совершено тягчайшее преступление. Я участвовал в создании преступной антигосударственной организации, собрал и передал враждебной державе сведения, представляющие государственную, тайну. Мои действия квалифицируются как антиправительственный заговор, измена Родине и шпионаж. Скорее всего меня ждет высшая мера наказания.

Такого поворота событий я никак не ожидал. Игра закончилась. Тысячеглавое чудовище, с которым, как мне казалось, я разговаривал на равных, предстало передо мной во всем своем жутком апокалиптическом виде. И страх буквально парализовал меня. Словно молния ударила мне в затылок и позвоночник. Мой язык как будто распух и перестал повиноваться, он душил меня, и уже не членораздельные звуки, а какое-то животное мычание извергалось из моего рта.

Меня отвели в камеру. И там я вдруг почувствовал глубокую апатию, полное безразличие ко всему. В том, что меня убьют, я не сомневался. Антиправительственный заговор, измена Родине, шпионаж! Куда еще дальше? Чудовище нужно кормить, ему нужна живая кровь. Сколько мне осталось жить? Месяц? Два? А может быть, меньше месяца? Будут ли устраивать судебный спектакль, как в тридцатые годы? Нет, сейчас не то время, осудят, конечно, закрытым судом, а для этого много времени не требуется. Я попытался представить, как меня будут расстреливать. Это, наверно, произойдет в каком-нибудь подвале... Как они это делают? Я слышал, что расстреливают в затылок, а перед этим рот затыкают кляпом и глаза завязывают... Так ли на самом деле?

«Вот и жизнь прошла, — думал я, — нелепая, бессмысленная. Зачем? Для чего? Скорей бы все кончилось!»

Неделю меня не беспокоили. Я лежал на койке в глубокой прострации. И вдруг я словно пробудился — жить, я должен во что бы то ни стало жить! Мой ум стал судорожно проигрывать варианты спасения. Я встал, подошел к окну и начал дергать решетку. Нет, ее не выломать. А может быть, когда меня поведут на допрос, неожиданно напасть на часового, отнять у него оружие, завести в камеру, одеться в его форму, а затем как-нибудь покинуть тюрьму? Я вновь и вновь представлял себе все этапы побега, и, хотя понимал, что это утопия, что никогда я не нападу на часового и никогда мне не удастся бежать из Лефовтовской тюрьмы, в моем воображении возникали одни и те же фантастические сцены. Они, как наваждение, преследовали меня днем и ночью, и невозможно было отделаться от них.

Когда за мной наконец пришли и повели к следователю, я еще раз убедился, что мои грезы об освобождении не имеют никакого отношения к действительности. Воля моя атрофировалась. Я знал, что послушно пойду, куда меня поведут, и буду делать то, что мне скажут.

Следователь долго и пристально глядел мне в лицо.

— Юрий Петрович, — сказал он, — у нас нет желания карать ради того, чтобы карать. Если человек, совершивший тяжкое преступление, чистосердечно раскается в этом, к нему может быть проявлено снисхождение. Но мы должны поверить этому человеку. Мы все знаем о вашей деятельности и деятельности ваших друзей, но, чтобы не оставалось никаких сомнений в вашей искренности, расскажите нам все сами, от начала до конца.

И я все рассказал. Следователь слушал внимательно, но, как мне показалось, без особого интереса. Все, что я рассказывал, ему было известно. Лишь когда я заговорил о тройках и внедрении в КГБ, лицо его как будто дрогнуло и напряглось, но он не стал прерывать меня и задавать вопросы. Одним словом, я выдал факт существования конспиративной организации и назвал человека, которого ей удалось внедрить в органы.

Потом, во время приступов угрызений совести, я пытался найти для себя смягчающие обстоятельства: да, конечно, я находился в шоковом состоянии, но, главное, был убежден в том, что тот человек, который работал в органах, действительно работал на них. У меня не было сомнений, что именно он вывел нас на чекиста, выступавшего в роли американского корреспондента. Разве мог я представить, что с помощью этой хитроумной авантюры Лев Бубнов пытался обеспечить ему карьеру, не считаясь, разумеется, с нами — мы были для него просто средством, отработанным материалом, он нас глубоко и искренне презирал. В оправдание его можно, конечно, сказать, что он более трезво оценивал состав нашего «преступления», то есть понимал, что ничто серьезное нам не грозит. Хотя я не уверен, остановили бы его и более серьезные последствия. После того как я «раскололся», меня долго не беспокоили. А через месяц мне устроили очную ставку с человеком, внедренным в органы. Его звали Ростислав, — звали, потому что в живых его уже нет. Нас посадили друг против друга. Отче, я с трудом узнал его. Лицо его осунулось, стало серым, землистым. Следов избиений и пыток я не заметил, но, видимо, в наше время в них уже нет необходимости. С помощью психотропных препаратов можно достичь более эффективных результатов. Во всяком случае, зрачки Ростислава показались мне неестественно расширенными, взгляд его был отрешенным, реакция замедленной. Но он сразу, с первого взгляда понял, что я его выдал.

Смущенный, уничтоженный, я стал все отрицать. То есть я говорил, что знаю Ростислава, встречался с ним на заседаниях кружка, но потом он отошел от нас, и с тех пор я понятия не имею, где он и что с ним. Следователь не стал опровергать меня и предъявлять находившиеся у него на столе мои прежние показания, он только криво усмехнулся. Мои показания уже не имели сколько-нибудь важного значения. Мавр сделал свое дело. Я вывел их на Ростислава — остальное было делом техники. Они обложили его со всех сторон. Сотни, а может быть, и тысячи людей, оснащенных самыми изощренными средствами наблюдения, готовили западню. Избежать ее было невозможно. Ростислав был полностью изобличен. Наша очная ставка, предусмотренная бюрократическими процедурами, имела чисто формальный характер.

Итак, следователь не стал опровергать меня, но его кривая усмешка запала мне в душу. Она встревожила меня. Я почувствовал в ней угрозу, увидел призрак нависшего надо мной дамоклова меча.

Между тем развязка приближалась. Шли приготовления к суду над нами. Однажды я был вызван на очередной допрос. У следователя было на редкость хорошее настроение, и в этом не было ничего удивительного — можно уже крутить дырку для ордена Боевого Красного Знамени или даже Звезды Героя. Он был очень словоохотлив, и я спросил его, каких приговоров нам следует ожидать.

— Ваши друзья, — ответил он, — получают по два-три года.

— А Ростислав?

— О нем особая речь. Его будет судить военный трибунал.

— Вы сказали: «Ваши друзья...» А я?

— Вас мы освободим. Вы оказали нам неоценимую услугу.

При этих словах я похолодел.

— Как же так?! — воскликнул я. — Ведь это равнозначно открытому заявлению, что я предатель, Иуда!

— Ну что вы! Кто может так подумать! Вы совершили благородный, патриотический поступок и тем самым полностью искупили свою вину. Вы можете гордиться собой.

В голосе следователя звучали нотки плохо скрываемого ехидства.

— Я хочу, чтобы меня осудили вместе со всеми.

— Это невозможно. Наше правосудие, самое гуманное в мире, — следователь явно издевался надо мной, — не может наказать невинного человека.

— Я заявлю на суде, что я враг советской власти и буду бороться против нее.

— В этом случае на суде по требованию защитника будут зачитаны ваши показания в отношении Ростислава. Они, я думаю, перевесят чашу весов.

— Но я не могу, не могу допустить, чтобы меня считали предателем, Иудой!

— Кто считал? Преступники? Отщепенцы?

— Да, да. Преступники и отщепенцы!

— У нас, однако, нет никаких оснований выгораживать вас перед ними. Хотя...

Следователь пристально и жестко взглянул мне в глаза.

— Пишите расписку, — резким, командным тоном произнес он.

— Какую расписку?

— О том, что вы обязуетесь негласно сотрудничать с органами безопасности. При таком условии мы всегда будем готовы идти вам навстречу и гарантируем, что ваши друзья ни в чем вас не заподозрят.

Тут же под диктовку я написал ему расписку и подписался — как вы думаете? — «Ростислав» — именем человека, которого я предал на смерть!

Вскоре состоялся суд. О Ростиславе там не было и речи, как будто такого человека вообще не существовало. Все подсудимые, в том числе и я, получили по два-три года, но не заключения, а ссылки.

Вот таким образом я и оказался в Сарске. Здесь я был передан на связь Валентину Кузьмичу. Регулярно пишу ему доносы, обо всем и обо всех, о своем начальнике Блюмкине и о вас, отец Иоанн, прошу простить меня великодушно. Это он меня к вам направил и задачи поставил четкие и ясные: во-первых, выявить ваши особенности, слабости, недостатки, ваше отношение к женскому полу и мужскому, к алкоголю, деньгам, то есть ко всему, на чем вас в принципе можно было бы подловить, скомпрометировать, заставить на себя работать или уничтожить; во-вторых, изучить ваши связи, с кем общаетесь, к кому относитесь с симпатией, а к кому с антипатией, кто ваши друзья и враги; в-третьих, выяснить враждебные планы и устремления — вы же идеологический противник, вы же материализма не признаете и вечно живого марксистско-ленинского учения!

Ваши уязвимые места мне выявить не удалось, так же как и враждебные устремления, но ваши связи я добросовестно перечислил и дал серию ярких портретов. Особенно впечатляющим у меня получился образ Елизаветы Ивановны, и я очень жалею, что мой литературный опус до скончания века будет покоиться в деле с грифом «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» за семью дверями и семью печатями. Разве Валентин Кузьмич и его преемники смогут оценить изящество стиля этого маленького шедевра!

Я рассказал вам, отец Иоанн, все как есть, ничего не утаивая. Перед вами слабый человек, преступник, по своему малодушию выдавший друзей. По моей вине человек принял страшную смерть. Перед вами человек, продавший душу дьяволу. Теперь скажите мне, могли ли я рассчитывать на прощение?

— Юрий Петрович, истинный Судия один, и милость Его безгранична.

— А как же договор с дьяволом?

— Союз с Богом немедленно и абсолютно освобождает от всех противоречащих ему договоров и обязательств.

— И расписка, которую я дал...

— Вырванная у вас шантажом и обманом, перед Богом она недействительна.

— Значит, она аннулирована, ее нет?

— Да, ее больше нет.

— Вы снимаете с меня это ярмо, и я теперь свободен?

— Властью, данной мне от Бога, я снимаю с вас это ярмо. Господь дает вам свободу.

— Вот почему они так ненавидят вас! Вот почему! Вы опасны для них! Их законы и власть бессильны перед вами. Властью, данной от Бога, вы разрушаете их царство, и оно исчезает, как дым! Да, между вами не может быть примирения. Тут — или-или... Нужно делать выбор... всем! И мне тоже. Но ведь для того, чтобы получить желанную свободу, необходимо заключить союз с Богом и обрести веру, не так ли?

— Да, необходимо. Господь дарует вам свободу, но от вас зависит — принять ее или отвергнуть.

— Значит, вера и есть свобода?

— Конечно.

— А дамоклов меч?

— Что вы имеете в виду?

— Они же не остановятся ни перед чем! Меня ждет позор и бесчестье!

— Но разве крестная смерть, которую добровольно принял Христос, не была позором и бесчестьем?

Честь — не христианское понятие, Юрий Петрович. Это от мира сего. Бесчестье, особенно добровольное, понятнее и ближе христианину.

— Опять я оказался перед той же дилеммой, что и тогда, в Лефортово...

— Никуда вам от нее не уйти... Если, конечно, хотите свободы... И даже если отречетесь от нее. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Добровольное бесчестье легче. И к тому же вы уже почти сделали выбор, доверив мне свою тайну, взвалив на себя крест бесчестья.

— Это оказалось не так тяжело, как я думал. Более того, я почувствовал облегчение...

— Ну вот, видите!

— Дело тут, однако, не только в бесчестье... Лев Бубнов... Он не простит. Они расправятся со мной его руками. Речь идет о Голгофе. Способен ли я вынести не только позор, но и крестные муки?

— У каждого в жизни бывает своя Гефсиманская ночь — и для тех, кого предают, и для тех, кто предает.

— Но может быть, есть средство избежать выбора и с хитростью Одиссея проскочить между Сциллой и Харибдой? Может быть, не рвать расписку? Я буду знать все их замыслы и заблаговременно информировать вас. Тогда вы, избежав многих опасностей, сможете восстановить храм с наименьшими издержками и потерями.

— Юрий Петрович, храм не воздвигают с помощью фальшивых векселей, Царство Божие не строят на обмане. Ни аннулированная расписка, ни хитрость Одиссея для этого не подходят. Мы можем обмануть их и таким путем победить, но это будет Пиррова победа. Произойдет чудовищная подмена — мы уподобимся им. И если говорить лично о вас, то, конечно, с хитростью Улисса и при везении можно безопасно пройти между Сциллой и Харибдой и физически спасти себя, но душу свою так не спасти!

— Так что же, отец Иоанн, среднего пути нет и необходим выбор: или предавать или быть преданным, или голгофский крест или петля Иуды... Тяжкая дилемма! Но выбор делать все-таки придется, сколько бы ни оттягивал я решение. Я не завидую вам, и все же вам легче



— для вас или за вас все уже решено. Вопрос только в сроках. Не буду предлагать вам свою сомнительную помощь, но хочу предостеречь — будьте осторожны. Меня, по правде говоря, удивляет, почему они до сих пор не закрыли храм; ведь это в их власти, и сделать это им ничего не стоит — не нужно даже изобретать предлогов и соблюдать видимость приличия. Непонятно! Колокольный звон, который полвека не звучал в городе, стерпели — как Валентин Кузьмич скрежетал зубами! — но стерпели же! Кровлю починили, леса вокруг храма возвели — и ничего! Шестым чувством чую — что-то происходит у нас. Зреет чудовищный обвал. Что-то не срабатывает, какие-то колесики вхолостую прокручиваются, сдает механизм. Но обольщаться не следует — Валентин Кузьмич от своего не отступит, для него, так же как и для вас, выбора уже нет. Не получилось прямым путем, он пойдет в обход, кругами, кругами, как и подобает бесовской силе! В обходных маневрах, в закулисной игре ему нет равных. Друзей своих берегитесь — вот где ваше уязвимое место! Валентин Кузьмич проявляет сейчас к ним больший интерес, чем к вам самим. И помните — он опасен теперь, как никогда раньше, ведь на карту поставлена его судьба и всей сатанинской системы.

*19 августа 1985 г.*

Сегодня Преображение, наш храмовый праздник.

Все у меня теперь необычно, все воспринимается как-то иначе, сквозь чудодейственную призму. Изменились пропорции окружающего мира. Нечто, казавшееся мне огромным и важным, отодвинулось куда-то на задний план, заняв весьма скромное место в общей картине мира, зато некоторые детали, ничтожные частицы, тысячекратно увеличившись в размерах, приобрели судьбоносное значение. Макрокосм вошел в микрокосм, и, наоборот, частицы микрокосма, подобно кометам, ворвались в пространство Вселенной и вспыхнули, как яркие солнца. Ближнее, находящееся в двух шагах, чего как будто можно было коснуться, протянув руку, оказалось за гранью веков, а бесконечно отдаленное, невероятное стало близким и достигаемым.

Происходит Преображение. Преображаюсь я и все, что окружало меня. Как изменился храм и весь город за прошедшие три месяца! Впрочем, город, если на него взглянуть обычным взглядом, ничуть не изменился. То же пыхтение Левиафана и суета черных машин на Соборной площади около здания исполкома, та же глухая оторопь, парализовавшая жизнь города. Все это так, если глядеть сквозь обычную призму... А если не сквозь обычную? Вот тут-то и начинаются чудеса!

Преображение — это внутреннее изменение. Его не так-то просто заметить, это антитеза революции, которая зрима и материальна. Революция — переворот, ее цель — поменять местами верх и низ. В этом есть что-то сатанинское, глубоко безнравственное, омерзительно кощунственное. Такой переворот духовно калечит людей, растлевает их, плодит перевертышей. И ведет он к безысходности — от механического перевертывания нового качества возникнуть не может. Революция лишена творческого начала — и откуда ему взяться, если дьявол по своей природе лишен творческого дара, — она может лишь разрушать. Переворот — по-гречески «катастрофи» — катастрофа!

Однако не только революция, но и путь постепенных реформ сам по себе бесплоден. Реформы также механистичны, они ни к чему не приведут, завершатся крахом, если не произойдет Преображение.

Всю ночь накануне литургии я не спал. Я сидел в алтаре в согбенной позе, которую преподобный Григорий Синаит рекомендует принимать совершающим умную молитву. Вспомнилась первая бессонная ночь, проведенная мною в алтаре. Это было при пострижении в монашество. Какой же изнурительной показалась мне она! Я был разбит физически, ломило спину, невыносимо болела голова — сшитый для меня новый монашеский клобук оказался мне впрыток, как железный обруч он сдавливал голову, а снимать его, по крайней мере в течение суток после пострижения, категорически запрещалось. Не знаю, как я вынес эту пытку. В этот же раз я даже не заметил, как прошла ночь. Мне не требовалось никаких усилий для сосредоточения на молитве. Мысли не отвлекались и не рассеивались. Ум мой бодрствовал, и в то же время я находился как бы в забытии. Время исчезло, а если нет времени, не то, что ночь — вечность превращается в мгновение. Потом у меня возникло даже сомнение — не провел ли я ночь во сне, поскольку утром я себя чувствовал на редкость легко и бодро, был буквально насыщен энергией и пребывал почти в состоянии эйфории. Вошедший в алтарь Григорий посмотрел на меня с удивлением и, как показалось, с испугом.

Я уже вышел на солею, чтобы читать входные молитвы, как увидел направляющихся ко мне двух молодых людей в подрясниках, с чемоданами в руках. Это были иподиаконы архиепископа.

— Обождите, отче, — сказал один из них. — Через полчаса в храм прибудет владыка. Он будет служить у вас. Готовьтесь к встрече.

Служба прошла торжественно и строго. Храм был полон. Во время службы мы с архиепископом не обменялись ни словом. Но по всему было видно, что он доволен.

Архиепископ произнес проповедь, в которой в общих словах рассказал о празднике Преображения, а затем ни к селу ни к городу стал призывать прихожан крепить мир во всем мире и добиваться удаления из Европы американских ракет среднего радиуса действия (как будто от жителей Сарска в этом деле что-нибудь зависело!). Поздравив верующих с праздником, владыка вручил мне прекрасную аналойную икону Преображения.

Правящий архиерей принял приглашение разделить с нами трапезу. На ней присутствовало десятка три прихожан, составлявших церковный актив. За трапезой архиепископ выслушал мой подробный рассказ о восстановительных работах в храме, попросил представить ему присутствующих, во время представления внимательно вглядывался в лица прихожан, задавал им неожиданные вопросы, и у меня сложилось впечатление, что имена многих из них не были для него пустым звуком, — он, видимо, располагал неплохой информацией о жизни прихода. Обратившись к нам, владыка произнес еще несколько общих фраз о празднике Преображения, о значении храма для каждого гражданина, что было расценено мною как одобрение нашей деятельности, потом опять заговорил о ракетах среднего радиуса действия, о необходимости смирения, послушания, повиновения властям, поскольку всякая власть от Бога. Не вызывало сомнения, что подобные рассуждения имели ритуальный характер и предназначались не столько для прихожан, сколько для стен, ибо и стены имеют уши. После трапезы архиепископ спросил меня:

— Вы писали прошение о рукоположении Петра во диакона?

— Я собирался написать такое прошение.

— Вы написали мне его еще на прошлой неделе, четырнадцатого августа, не перепутайте дату. За это время ваше мнение не изменилось?

— Нет, владыка.

— А как он сам? Ведь он не женат, не будет ли жалеть потом? Может быть, пусть сначала женится?

— Не желает он жениться.

— Окончательно и бесповоротно?

— Окончательно и бесповоротно.

— Берете на себя ответственность?

— Беру.

— В таком случае завтра состоится хиротония. Если рукополагать его, то откладывать нельзя. Я получил на него очень нехорошую бумагу... Догадываетесь, кто ее сочинил?

— Догадываюсь.

— Придется сделать вид, что не успел прочитать ее до отъезда. За Петром я понаблюдал сегодня. Он мне нравится. Крепкий орешек. Готовьте его к рукоположению. А сейчас мы поедem в исполком.

И хотя чтобы попасть в исполком, нужно было всего-навсего пересечь площадь (пешком на это потребовалось бы две-три минуты), мы все же сели в автомобиль и, следуя дорожным указателям, исколесили почти весь город, пока не оказались у знакомого мне парадного подъезда. На сей раз пропусков у нас не спрашивали. Милиционер отдал нам честь. Ожидавший нас молодой чиновник учтиво поприветствовал идеологических противников и проводил на второй этаж в кабинет (кто бы мог подумать!) секретаря горкома партии по идеологии, каковой оказалась симпатичная женщина лет шестидесяти с усталым, больным лицом. В ее глазах светился живой интерес, но держала она себя как-то скованно и неуверенно. «Неужели, — подумал я, — передо мной сейчас мой главный враг, тот самый, который стремится разрушить храм, уничтожить приход, лишить людей веры, кто вместе с Валентином Кузьмичом плетет против меня интриги и пытается завлечь в западню?» Предложив нам сесть и сама сев напротив нас, она явно не знала, с чего начать разговор. Архиепископ пришел к ней на помощь. Он заговорил о миротворческой деятельности Церкви и конечно же о ракетах среднего радиуса действия. Слушать об этом в третий раз в течение дня было выше моих сил, и, видимо, лицо мое скривилось, как от зубной боли.

— Вам плохо? — с искренним состраданием спросила меня Сталина Дмитриевна — такое чудовищное имя имела идеологическая секретарша. •

— Нет, нет, я просто немного устал.

И тут мы встретились с ней глазами. И я понял, что все, о чем говорил архиепископ, ей глубоко безразлично и что разрушать храм ей совсем не хочется, что вся эта дурацкая работа, которой она вынуждена заниматься, ей бесконечно опостылела. Я почувствовал, что передо мной — несчастный, страдающий человек. И она поняла, что я это понял.

Спектакль, однако, продолжался. Теперь уже Сталина Дмитриевна сочла возможным дать положительную оценку миротворческой и патриотической деятельности Церкви, но решительно осудила экстремизм и религиозный фанатизм. При этих словах архиепископ как-то сжался, — нет ли тут экивока в нашу сторону? — но быстро успокоился, убедившись, что это всего-навсего обычный идеологический штамп.

Аудиенция продолжалась не более двадцати минут и показалась мне до абсурда бессмысленной. Тем не менее и архиепископ, и Сталина Дмитриевна (Господи, ну и имя!) были чрезвычайно довольны. Последняя в заключение беседы передала мне листочек бумаги с номером своего телефона и попросила позвонить ей недельки через две. Сердечно попрощавшись, мы вышли из кабинета и в сопровождении учтливом молодого чиновника благополучно достигли подъезда.

Блестящий черный автомобиль довез нас до гостиницы «Сарск», неплохо сохранившегося дореволюционного здания, построенного в стиле псевдобарокко. Архиепископ размещался там в шикарном трехкомнатном номере с белым роялем и двумя санузлами. Он заказал обед в номере, и, хотя после завтрака в храме есть мне уже не

хотелось, отказаться от его приглашения разделить с ним трапезу было неудобно. За обедом мы говорили о чем угодно, только не о деле. Архиепископ рассказывал анекдоты, в основном из жизни дореволюционной Московской Духовной академии — он знал их бесчисленное множество, — а я делал вид, что все это мне очень интересно. Лишь после обеда, включив на полную громкость телевизор и пустив воду в ванной, владыка полупрошепотом стал говорить мне о том, что мое положение в Сарске не столь безнадежно, как ему казалось.

— Обратите серьезное внимание на эту женщину, У которой мы были. От нее очень многое зависит. Ведь это она помешала закрыть приход. Трещит системка, отец Иоанн. Приближаются новые времена для нас. Но это не значит, что все будет происходить легко и безболезненно. Такие, как Валентин Кузьмич, не пойдут ни на какие компромиссы. Вы виделись с ним?

— Нет, то есть да.

И я рассказал о позорном бегстве Валентина Кузьмича из храма.

— После этого он вас не вызывал к себе?

— Нет.

— Плохой признак. Он может пойти на все. Он сейчас непредсказуем. Раньше можно было как-то предвидеть его действия, ведь они облекались все-таки в форму официальных постановлений, имеющих хотя бы видимость правовых актов. Так, постановлением исполкома можно было закрыть приход и передать храм музею, решением суда — посадить вас в тюрьму или отправить в ссылку. А вот когда все это не станет срабатывать, представляете, чего можно будет ждать от него?

— Представляю.

Я хотел было рассказать архиепископу об эпизоде с Василием, но в конце концов решил не пугать его.

— Будьте осторожны. И еще одно обстоятельство беспокоит меня. Вы плохо выглядите. Вы должны нормально питаться, а по ночам следует спать. Вам нужны силы, чтобы трудиться на благо Церкви. Не буду скрывать, что к средневековой мистике я отношусь с большим скептицизмом. Ваше увлечение исихастской практикой добром не кончится — так можно истощить свою нервную систему, и тот же самый Валентин Кузьмич упрячет вас в психушку. Вы же здравомыслящий человек, отец Иоанн, и должны понимать: во всем нужна мера. Не забывайте, что умная молитва может действовать на организм человека как наркотик.

Вернувшись из гостиницы в храм, я встретил там Георгия Петровича.

— Что вы можете сказать, — спросил я его, — о секретаре горкома по идеологии Сталине Дмитриевне?

Лицо Георгия Петровича сразу же помрачнело.

— Я не знаю ее лично, — ответил он, — но могу сказать лишь одно: это дочь того самого Митьки Овчарова, который расстрелял старца Варнаву.

## *21 августа 1985 г.*

Вчера во время литургии архиепископ рукоположил Петра во диакона. То-то был праздник для всей нашей общины! Об Агафье я не говорю. Она то плакала, то смеялась и постоянно повторяла про себя: «Слава Тебе, Господи!»

А сегодня ко мне в храм пришли неожиданные гости. О них немало толков в городе. Одни называют их сектантами, другие диссидентами, третьи — членами катакомбной Православной Церкви. Мне несколько раз приносили распространяемые ими машинописные листовки и брошюры. В листовках содержались злые нападки на епископат Русской Православной Церкви, который обвинялся во всех смертных грехах, и прежде всего в сотрудничестве с «совдепом». Брошюры представляли собой перепечатки довольно примитивных материалов из дореволюционных религиозных сборников. Говорили, что Валентин Кузьмич ведет на членов группы настоящую охоту и года три назад организовал по их делу громкий, по местным масштабам, процесс, эхо которого, однако, докатилось до Америки, где возник комитет в защиту Владислава Турина, руководителя этой группы. Не знаю, насколько суровыми были приговоры, но сейчас все подсудимые были на свободе, и Валентин Кузьмич продолжал охотиться за ними.

Их было человек шесть. Выйдя из алтаря, я с изумлением увидел шествующих гуськом, один за другим, бородатых мужчин. Они направлялись прямо ко мне. Никогда до этого в храме я их не видел. Благословения у меня они не попросили. Мужчина, шедший первым, представился:

— Владислав Гурин. Не знаю, говорит ли вам что-нибудь это имя.

— Мне приходилось слышать о вас, — ответил я.

— Не могли бы вы, отец Иоанн; уделить нам несколько минут?

— Безусловно. Прошу вас.

Я провел их в притвор и предложил сесть на стоявшие там стулья.

— Отец Иоанн, — обратился ко мне Турин, — мы слышали о вас много добрых слов. В отличие от отца Василия, который верой и правдой служил Валентину Кузьмичу и был разбойником в церковной ограде, вы проявили себя как добрый пастырь... одним словом, мы хотели бы стать членами вашей паствы.

— Преображенский собор открыт для всех православных христиан...

— Мы православные христиане, но наше отношение к Московскому патриархату очень критическое.

— Вы не признаете его юрисдикции?

— Вопрос сложный. Мы хотим сказать, что ваша Церковь...

— «Ваша» или «наша»?

— Русская Православная Церковь. Мы не хотим сказать, что она безблагодатна, но в результате сотрудничества с властями ее благодатность повредилась.

— Абсурд. Недостойные священнослужители всегда были и будут, и сейчас их, возможно, больше, чем когда-либо раньше. Церковь, безусловно, должна освобождаться от них, но не потому, что совершаемые ими таинства не имеют действенной силы (благодать передается и через них), а потому, что они своим поведением и своими делами наносят ущерб авторитету Церкви.

— Боюсь, что количество перешло в качество и теперь больны не только члены Церкви, но и сама Церковь.

— Простите, Владислав... как вас по отчеству?

— Ефимович.

— В нашем православном сознании, Владислав Ефимович, Церковь — это Тело Христово, единое и безгрешное. Конечно, в данном случае речь идет о Вселенской Церкви, частью которой является Русская Церковь.

— А может, это уже не часть Вселенской Церкви?

— Каждый день здесь, в храме, бывают сотни людей. Как их пастырь, я могу сказать: это чада Церкви — и Русской, и Вселенской.

— Я согласен с тем, что Церковь есть Тело Христово, не имеющее на себе греха. Я не отрицаю принадлежности к ней ваших прихожан и вас, как их пастыря, достойного пастыря, отец Иоанн. Поэтому мы и пришли сюда. Но в Русской Православной Церкви вы изгой. В ней делают карьеру такие люди, как отец Василий, на котором пробы ставить негде, или наш архиепископ, носящий под рясой погоны...

— Ну это уж вы слишком...

— Не Богу, совдепу он служит.

— Служит он Богу и Церкви Христовой, Владислав Ефимович. А если идет на компромисс с властями, то не от хорошей жизни.

— Какое же тогда это Тело Христово, единое и безгрешное, если компромисс с дьяволом?

— Так что же вы предлагаете?

— В катакомбы идти нужно.

— И дать разрушить этот храм?

— Каменья, они и есть каменья. В душе храм воздвигать надо. Так-то прочнее будет.

— Не каменья это, Владислав Ефимович, а храм, святыня. Не имею я права предать его на поругание и допустить, чтобы прекратилась в нем служба Божия.

— Так ли уж это важно, если все вокруг рушится и дьявол торжествует? Главное — чистоту соблюсти, через то и спасемся. Молитвой, умным деланием, Духом Святым спасемся. Если мы сможем Бога в себя вместить и стать богами по благодати, что еще нужно

для спасения? Я же, отец Иоанн, все ваши работы по исихазму перечитал, да что там перечитал, наизусть выучил! Они мне истинный путь открыли. Сколько писем я вам написал, но так ни одного и не решился отправить. Не думал, не гадал, что здесь, в этом забытом Богом городке, встретимся.

— Владислав Ефимович, я очень тронут подобным признанием. Боюсь только, что вы несколько односторонне интерпретировали мои работы. Безусловно, отношения человека с Богом носят личностный характер. Но я не стал бы противопоставлять друг другу два пути спасения: в рамках христианской общины и через индивидуальный подвиг.

Мне показалось, что Владислав Ефимович был несколько разочарован услышанным. Наступила томительная пауза. Что касается спутников Турина, то они в течение всей нашей беседы молча сидели на краешках стульев в одинаковых напряженных позах, не шелохнувшись и потупив глаза.

— Ну, что же, — сказал наконец Владислав Ефимович, — очень рад был лично познакомиться. Хотелось бы продолжить нашу беседу и побывать у вас на службе.

— Милости просим.

Турин и его спутники поднялись и, молча поклонившись мне, направились к выходу. И, уже отходя от меня, Владислав Ефимович неожиданно произнес:

— Какое же сильное у вас поле!

Как только они удалились, ко мне подошел Георгий Петрович.

— Не нравятся мне они, — сказал он. — Разное о них в городе говорят. Святодуховцами их называют.

— Почему святодуховцами?

— А потому, что поклоняются якобы только Святому Духу. Не знаю, правда ли это, но будто бы целую теорию они изобрели о том, что Христос выполнил свою миссию, воплотившись, приняв смерть на кресте и воскреснув. А потом, с Пятидесятницы, наступила эра Святого Духа, Которому и следует теперь поклоняться. Не доверяйте им, батюшка. Чует мое сердце, добром все это не кончится. Ишь как вышагивают друг другу в затылок, как гусаки! Не думаю, чтобы они к Вам благоволили. Запустение храма их устраивало и отец Василий тоже. Тогда они героями ходили, а теперь все от них отвернулись.

— Каменья и есть каменья...

— Не понял, батюшка...

— Это так о храме он сказал.

— Ишь подлец какой! Еретик он, отец Иоанн! Не пускали бы вы их сюда.

— Нельзя так, Георгий Петрович. Если люди с пути сбились, как не помочь им? Может быть, и моя вина тут есть...

— Ваша вина? Да при чем тут вы?



— Кто знает, Георгий Петрович, кроме Господа Бога?.. Один есть Судия. Он все и разрешит.

## 22 августа

Над храмом нависла новая угроза. Сегодня к нам приехали из Москвы реставраторы. Инициатором их приезда был местный отдел по охране памятников культуры. Блюмкин сразу же привел их ко мне.

— Вот, прошу любить и жаловать, известный искусствовед и реставратор Анатолий Захарович Белов со товарищи. Как это ни прискорбно, но поезд, о котором мы говорили в прошлый раз, оказывается, еще не ушел. Буду предельно откровенен. Анатолий Захарович проведет исследование настенной живописи, и на основании его заключений будет окончательно решена судьба храма. Если под побелкой ничего ценного обнаружено не будет, собор останется у прихода. Если же повезет искусству, то не повезет вам.

С Анатолием Захаровичем у меня затем состоялась короткая беседа тет-а-тет. В разговоре он был крайне сдержан и несловоохотлив. У нас оказались общие знакомые в кругу искусствоведов и реставраторов. Поговорили о них. Потом Анатолий Захарович сразу перешел к делу. Он попросил меня возвести внутри храма леса.

— Я понимаю, — сказал он, — что создаю для вас некоторые неудобства, но другого выхода нет. Впрочем, храм все равно нужно реставрировать, оставлять его в таком ужасном состоянии нельзя.

— Реставрация интерьера храма входила и в мои планы. Ваш приезд очень кстати.

— Не знаю, кстати ли. Какое-то время, однако, нам придется сосуществовать и сотрудничать. Надеюсь, что расходы по возведению лесов вы возьмете на себя.

— Да, конечно. За это не беспокойтесь.

Приезд Анатолия Захаровича «со товарищи», безусловно, кстати. Без обследования специалистами стен храма мы не сможем приступить к внутреннему ремонту и реставрации. Но к каким результатам приведет это обследование? Было бы кощунственно желать, чтобы в храме не осталось и следов древних фресок, — судя по данным летописи собора, они относятся к XVI веку. Однако их обнаружение означало бы только одно — закрытие храма и его превращение в музей.

С искусствоведами и реставраторами типа Анатолия Захаровича мне приходилось уже встречаться. У меня нет оснований сомневаться в его компетентности. Более того, думаю, что он большой специалист в своем деле. Он любит церковное искусство и гордится тем, что спасает его от «мракобесов-атеистов» и «мракобесов-попов». В этом его высший долг и призвание! Когда Анатолий Захарович в моем сопровождении вошел в храм, он сразу же забыл обо мне и обо всем на свете. В его глазах вспыхнул лихорадочный блеск, в руках появилась дрожь, ноздри напряглись — какое-то шестое чувство, видимо, подсказывало ему, что здесь он найдет то, что составляет предмет его вожделенных мечтаний — остатки древних фресок! Он первый увидит их, он откроет их миру, и имя его прославится во веки веков! А если это произойдет, Анатолий Захарович сделает все для того, чтобы пламя свечей и ладан никогда больше не возгорались в храме — не дай Бог, закоптится бесценная живопись, не дай Бог, дыхание сотен людей сконденсируется каплями влаги на ее поверхности! Ему не нужен храм, ему нужен музей, безлюдный и холодный!

Большого труда мне стоило уговорить Анатолия Захаровича отложить возведение лесов на несколько дней. Скоро праздник Успения Богородицы. Храм в этот день будет переполнен, и конечно же леса создали бы для нас массу неудобств.

\* \* \*

Сегодня у меня состоялась еще одна неожиданная встреча. Ко мне пришел таксист, который три месяца назад довез меня от вокзала областного центра до епархиального управления.

— Вы узнаете меня, отче?

— Конечно. Вас зовут Виктор.

— Феноменальная память. Во всяком случае, я польщен.

— Вы вернулись в театр?

— Поразительно! Вы что, ясновидящий?

— Чтобы предугадать такой исход, не нужно быть ясновидящим. Ведь даже ваша теща и та, должно быть, не удивилась?

— Не удивилась, отче! «Так и знала, — говорит, — что вернешься. Пропаций ты человек, Витек!» В театр взяли без звука. Новый главреж в него пришел. Забавный человек, чудило! Из Москвы приехал, сам приехал, никто его сюда не ссылал, а до этого на Мосфильме работал. Внешность моя ему очень понравилась. «Ты-то мне и нужен! — кричит. — Вылитый Крамаров! Люблю идиотов! Нет, так он, конечно, не сказал, но про себя наверняка подумал. А мне-то что? Крамаров так Крамаров, идиот так идиот, лишь бы на сцену, отче! Не до куража. В ножки готов был поклониться и зрителям, и главрежу. А тот, чудило, все в театре вверх дном перевернул. Во время представления актеры по зрительному залу бродят, с публикой разговаривают, отсебятину несут, папироски курят. Пожарники в ужасе, суфлер в отчаянии, а главреж (Юрием Николаевичем его зовут) говорит им: «И вы в зал идите, пожарники — с брандспойтами, суфлер — с текстом пьесы». «Они же не слушают меня!» — жалуется на актеров суфлер. «Как это не слушают? — возмущается Юрий Николаевич. — Тебе же поручена ответственная идеологическая работа. Нужно проявлять упорство в достижении цели. Хочешь, для солидности одену тебя в милицейскую форму?» И одел, сукин сын! И свисток милицейский выдал. Но мало этого. Знаете, что он еще отчудил? Зрителей посадил на сцену! Актеры, значит, в зале лицедействуют, сцена вращается, а зрители балдеют. Балаган, одним словом. «Балаганом» театр и назову», — говорит Юрий Николаевич. А ведь он «Имени XIX партсъезда» называется! Власти в шоке, особенно те, которые по части идеологии, не знают, что и делать. А недавно, отче, — это должно вас заинтересовать — приступили мы к репетиции пьесы на религиозную тему...

— Любопытно.

— Действие происходит в Московской Духовной семинарии. Главные герои — два друга, семинаристы. Один — очень добродетельный и талантливый, другой — втайне завидует ему. Моцарт и Сальери. Оба ухаживают за одной и той же девицей. Тот, который Сальери, коварным образом соблазняет ее, и не потому даже, что она ему нравится, но в основном чтобы досадить своему другу, унижить его и почувствовать свое превосходство над ним. Девицу он, естественно, сразу же бросает ради открывшейся перед ним головокружительной карьеры. А Моцарт после этого сразу прозревает, ему вдруг открывается весь ужас затхлой средневековой атмосферы в семинарии и Церкви, и он

порывает с ними. Девушка тоже прозревает, и ей становится очевидным, что любила она только одного — украшенного добродетелями Моцарта, за которого и выходит замуж. В эпилоге Сальери, ставший епископом, неожиданно вновь встречается со своей возлюбленной. Поняв наконец, какого сокровища он лишился, князь Церкви готов за миг блаженства с нею отречься и от своего сана, и от Бога, но та на сей раз твердо и с достоинством отвергает его домогательства, заявляя, что она другому отдана и будет век ему верна. Вот такую пьесу, отче, мы будем ставить. Как вам она?

— Настоящая литература. Достойная пьеса.

— Достойная чего или кого? Театра, режиссера, артистов, и меня в частности, избранного на главную роль, — героя, украшенного добродетелями? Это с моей-то физиономией?

— Достойная всех нас, но прежде всего автора пьесы, Вадима Буркова.

— Вы знакомы с ним? Ах, ну да! Говорили, что он сам когда-то учился в семинарии и знает ее жизнь изнутри. И как вы относитесь к нему?

— Герой, украшенный добродетелями.

— Понятно. Я так и подумал. Но все равно я буду играть эту роль. Вам может показаться странным, но пьеса на религиозную тему, даже такая, как эта, — событие в жизни театра. Это все почувствовали. Даже атмосфера в труппе изменилась, стала какой-то торжественной и чуть-чуть заговорщической. Ни у кого нет желания штамповать антирелигиозную дешевку. Наоборот, всем хочется сделать пьесу лучше, чем она есть на самом деле. Нужно сказать, что актеры — народ своеобразный, грешный народ, но верующих среди них очень много. Им, конечно, не хватает религиозных знаний, и срываются они часто, но вот атеистов в театре я ни разу не встречал. Хотелось бы, отче, чтобы вы уделили им внимание. Они и сами хотят к вам прийти... проконсультироваться по пьесе. Но это только предлог... Примите их, отче.



Известие, полученное от Виктора, ударило меня по душе, как плетью. Виктор слишком переполнен самим собой, своими эмоциями, чтобы обратить внимание на мое состояние, близкое к шоку. Черный шлейф тянется за мной из прошлого. То, что, казалось бы, давно пережито, изжито и перечеркнуто раз и навсегда, вновь воскресло и вторгается в мою жизнь, облеченное плотью. Мог ли я подумать, что встречу в Сарске с Вадимом? И когда он сказал мне, что его пьеса на современную тему принята в местном театре, я про себя лишь иронически усмехнулся. Мне и в голову не пришло, что в этой «пьесе на современную тему» он сводит счеты со мной. Впрочем, дело не столько в том, что он сводит со мной счеты, а в том, как он это делает. Еще в семинарский период все его стихи и драмы в сущности представляли собой постоянный диалог, нескончаемый спор со мной. Я был для него необходимым оппонентом и двойником, отрицая которого он утверждал себя. Меня всегда поражал и ставил в тупик его всепоглощающий и азартный интерес к моей особе. Он не упускал из виду ни одного моего поступка, ни одного слова, ни малейшей интонации. С инквизиторской одержимостью Вадим исследовал мое прошлое, провоцируя меня на воспоминания. А однажды, когда я познакомил его со своим школьным приятелем, с которым просидел за одной партой десять лет, он впился в того, как пиявка, и высасывал сведения обо мне несколько часов, пока не уморил несчастного почти насмерть, а затем ходил, словно сытый кот, медленно и блаженно переваривающий пищу. После этого, выбрав удобный момент, он задавал мне какой-нибудь каверзный вопрос, рассчитывая неожиданным и ловким фехтовальным выпадом задеть меня за живое и загадочной улыбкой давая понять, что знает обо мне больше, чем я предполагаю.

Вадим, безусловно, был щедро одарен природой. Все у него получалось легко, без усилий. Он обладал удивительной памятью. Мне же механическое запоминание всегда давалось с трудом. Еще в детстве я вынужден был компенсировать свой недостаток с помощью различных приемов и уловок. Чтобы запомнить текст, я должен был сначала проанализировать его, выделить главное и второстепенное, составить план, абстрактную схему, которую, собственно говоря, и запоминал. Таким образом у меня развилось то, что можно назвать аналитическими способностями. В отличие от Вадима я не обладал каким-либо особым литературным даром, а в иконописи, к чему у меня, по-видимому, были наибольшие склонности, не добился ничего существенного. Вот ведь и последняя икона Преображения, работа над которой так сильно увлекла меня, не получилась и стояла теперь незавершенной в моей келье. Все это так, но комплекса Сальери у меня не было. Я не завидовал своему другу, а восхищался им, как восхищаются удивительным явлением природы, прекрасным творением Божиим. И он знал об этом. Вадиму импонировало мое отношение к нему и преклонение перед его талантом, тем более что это преклонение не было слепым — он беспрекословно доверял моему художественному вкусу. Вадим знал также, что на меня можно положиться и что я никогда его не предаю. Но влекло его ко мне не только это. При всей моей бесталанности Господь все же не обделил меня. Я имел самое ценное, что может быть дано человеку, — веру в Бога. Именно этого не хватало Вадиму, так что последующее его отречение, собственно говоря, и не было отречением. Он хотел обрести веру, однако хотел достичь этого без усилий, не жертвуя своей гордыней, сохраняя свой эгоцентризм, а такой настрой заранее обрекал его на неудачу. Вадим с увлечением читал отцов Церкви, но если бы вдруг ему случилось встретиться с ними в жизни, то он скорее всего ужаснулся бы и принял их за шизофреников. Их творения воспринимались им абстрактно, они существовали для него в идеальном мире, никак не соотносимом с нашей действительностью.

Ко мне Вадим испытывал чувство острого любопытства и в то же время недоверия. Он подозревал меня в ханжестве, и это, несомненно, должно было найти отражение в его пьесе. Ему страстно хотелось разоблачить меня, вывести на чистую воду. Отсюда его болезненное стремление проникнуть в мое прошлое, в мою интимную жизнь. Но в его тяготении ко мне было и что-то иное, иррациональное, что смущало и подавляло меня. В больших дозах я его не переносил, а после продолжительного общения и даже просто пребывания рядом ощущал прямо физическую усталость и какую-то душевную угнетенность. Он же, наоборот, приходил в состояние подъема и возбуждения. «На меня снизошло вдохновение», — говорил тогда Вадим и отправлялся писать стихи. Я стал замечать, что особенно его тянуло ко мне после того, как я усердно молился. Он чувствовал это на расстоянии и тут же устремлялся ко мне, где бы я в тот миг ни находился,— благо на территории лавры найти друг друга нетрудно. Наконец я понял — он питается моей энергией. Конечно, проще было бы обратиться к неисчерпаемому источнику энергии, к Богу, но для этого нужно преодолеть свою самость, свой эгоцентризм, а этого Вадим не мог и не хотел. В таком случае оставалось одно — похищать энергию у других.

После встречи с Наташей мои отношения с Вадимом достигли роковой черты, мы переступили ее, а затем события стали развиваться уже независимо от нашей воли, нас словно подхватило каким-то вихрем и стремительно понесло в разные стороны. И вот новая встреча...

## ***29 августа***

Прошло Успение. Накануне литургии я опять провел бессонную ночь в алтаре. И вот тут случилось нечто странное и необъяснимое. Я подошел приложиться к иконе Успения, старинной иконе XVI века, висевшей в Успенском приделе. Перекрестившись, я замер перед ней и уже не мог оторвать глаз. Знакомая до мельчайших деталей композиция, знакомые лики Богоматери и апостолов. Однако в этот раз изображение на иконе воспринималось мною совсем иначе, чем прежде. Сохраняя все особенности стиля и обратной перспективы, икона, как никогда раньше, была полна жизни и как бы дышала. И наконец, самое удивительное — глаза Богоматери были открыты и она смотрела на меня. Впрочем, это-то как раз и не показалось мне тогда удивительным, и лишь потом, когда я отошел от иконы, меня будто молнией поразило: как же так, ведь Богоматерь лежит на смертном одре! В недоумении и страхе я устремился назад, к иконе. И что же? Все было так, как и должно было быть. Глаза Богоматери были закрыты. Но они же смотрели на меня! Карие, живые, чуть влажные — на них словно вот-вот должны были появиться слезы. Они смотрели с любовью, лаской и... состраданием...

Неужели прав архиепископ и мои ночные бдения вызывают лишь состояние бреда и галлюцинации? Неужели умная молитва действует на меня как наркотик и я потихоньку схожу с ума? Может ли смотреть изображенная на иконе Богоматерь, если художник написал ее с закрытыми глазами? Могут ли произвольно меняться структура и компоненты красок, материальные микрочастицы, положенные на поверхность доски? Могут, если это угодно Богу, хотя в этом и нет необходимости. Разве воспринимаемый нами образ тождествен структуре и компонентам красок? Мы видим не материальные микрочастицы, а образ, воспринимаемый каждым по-разному. Некоторые, глядя на икону, могут ничего не увидеть. Для этого нужны не только глаза, навыки, знания, но и внутреннее зрение, а также вдохновение, наитие и благодать Святого Духа!

## 30 августа

На следующий день после Успения я выехал из Сарска в небольшое село под названием Речица, находящееся километрах в двадцати от города, чтобы соборовать и причастить тяжелобольную. Мне уже приходилось совершать требы на дому, но каждый раз это было связано с риском. Крестить, отпевать, причащать больных за пределами храма категорически запрещалось, и Валентину Кузьмичу, конечно, ничего не стоило устроить провокацию. Я ждал ее и был почти уверен, что рано или поздно окажусь в западне, но пока Бог миловал...

Передо мной стоял мужчина лет пятидесяти, интеллигентного вида, позаграничному одетый — ясно, не из местных. Он был бледен, под глазами — темные круги, голос его дрожал.

— Батюшка, — сказал он, — моя мама умирает. Ее последняя просьба — соборовать ее и причастить. Не откажите. Моя машина стоит около храма. Ехать нужно в Речицу. Это недалеко. Не откажите.

— Обождите немного, мне нужно собраться.

Я взял все необходимое для елеосвящения и причастия, а также на всякий случай крестильный ящик, по опыту зная, что во время подобных поездок он никогда не бывает лишним.

Когда я направился к выходу из храма, меня остановил реставратор Анатолий Захарович.

— Отец Иоанн, я слышал, вы направляетесь в Речицу. Там находится Крестовоздвиженский храм. Я давно хотел осмотреть его. Не могли бы вы захватить меня с собой?

— Ради Бога.

Мне и самому хотелось увидеть Крестовоздвиженский храм, сооруженный на месте того самого скита, в котором когда-то предавался умному деланию старец Филофей и где сподобился он чудесного видения, запечатленного в его Апокалипсисе, но случая для этого пока не представлялось.

Втроем мы сели в машину.

— Господи, — с мольбой произнес водитель, — только бы она дождалась нас! Вы, батюшка, наверно, слышали мое имя. Меня зовут Корягин, Корягин Андрей Иванович, я писатель, может быть, вы даже и книги мои читали.

Нет, книг его я не читал, но имя мне было знакомо. Оно мелькало на страницах периодической печати, звучало по радио и телевидению. Это был известный метр соцреализма.

— Я родился в Речице, — не дожидаясь ответа, продолжал Корягин, — и тридцать три года назад после окончания школы уехал из этих мест, поступил в Литературный институт, окончил его, стал публиковаться, получил квартиру в Москве, женился. С матерью после женитьбы виделся редко. Как-то раз я приехал к ней летом с детьми, потом



привез ее к себе в Москву — с корыстной целью, конечно, — детей отдавать в детский сад не хотелось, а жене заниматься ими было некогда, она работала диктором на телевидении. Только недолго мать прожила со мною: к городу она никак не могла привыкнуть, все тосковала по своей Речице. Но главное, может быть, было не в этом — не смогла она найти общего языка с моей женой. Однажды наша дочка упала и зашибла голову. Последовала отвратительная сцена, я до сих пор вспоминаю ее с мучительным стыдом и омерзением. Разъяренная, как фурия, жена обрушила свой гнев на мать, не усмотревшую за внучкой. Она бросала ей в лицо едкие, обидные слова — все, что, видимо, давно накопело внутри. Мама ни слова не произнесла в ответ. Она молча смотрела на свою невестку и на меня... Господи, я никогда не забуду этого взгляда. В нем сквозили боль и сострадание к нам, к оскорбившей ее чужой женщине и к сыну, который не решился заступиться за нее. И слеза покатилась по ее щеке. Вот эта слеза останется неммым укором мне до самого моего смертного часа. После той сцены мать уехала к себе в Речицу, а я еще обиделся на нее за это, упрекал в том, что она всегда любила моего младшего брата и его семью больше, чем меня. С тех пор мы не виделись. Затем раза два-три приезжал ко мне брат, изредка бывали у меня и другие родственники, рассказывали о матери, передавали от нее гостинцы и приветы. Я все собирался приехать в Речицу, но всякие дела и обстоятельства мешали. И вдруг четыре дня назад я почувствовал такую невыносимую тоску, что ничего уже не мог делать, ни о чем не мог думать. «Еду в Речицу», — заявил я. Жена по привычке хотела было возразить, но, взглянув мне в глаза, сразу стушевалась. Ни слова не сказала. Сел я в машину и тут же в ночь, в проливной ливень с сумасшедшей скоростью устремился в Речицу... Останавливался только для заправки. Приезжаю, вхожу в дом, а мать — в постели...

Хорошо еще в сознании была. Господи, лицо у нее так и засветилось. Упал я перед ней на колени, взял ее больную, парализованную руку, прижался к ней губами и зарыдал. Она не могла говорить. И у меня не было слов. Только одно: «Прости». Я повторил его, наверно, сотню раз, обливаясь слезами. А она своей здоровой рукой гладила меня по голове, как когда-то в детстве, и словно любовалась мною. Через два дня ей стало хуже, она уже почти все время была без сознания. А когда приходила в себя, силилась что-то сказать. «Баюшки», — слышалось мне. «Ты хочешь спать?» — спрашивал я. Она стонала и качала головой. «Папа», — с трудом произносила она. «Наверно, отца вспоминает, — думал я, — а может быть, хочет сказать, что я, ее ребенок, сам стал отцом». И вдруг меня осенило: не «баюшки», а «батюшку», не «папа», а «попа\*». «Попа?» — переспросил я. Лицо у нее просветлело, и она пожала мне руку. И вот тогда передо мной встала проблема: где искать священника, ведь по окрестным селам все церкви закрыты. Кто-то сказал, что появился хороший молодой священник в Сарске, и я, не теряя времени, устремился за вами. Спасибо, что согласились ехать со мной...

— Благодарить меня не за что. Это моя работа, правда сопряженная с риском...

— С риском?

— Ну, конечно. Я не имею права совершать требы на дому и тем более за пределами Сарска. Это уже отягчающее обстоятельство.

— И какое наказание вам грозит?

— Я совершаю уголовное преступление...

— Вас могут за это посадить в тюрьму?

— При особом желании — могут. Думаю, однако, что тех, кто стремится завлечь меня в западню, удовлетворил бы запрет на мое служение.

— В данном случае вы можете не беспокоиться. Я никому ни словом...

— Я не беспокоюсь, Андрей Иванович. Я знаю, что рано или поздно попаду в западню, но пока Бог миловал...

Проехав километров десять по жесткой грунтовой дороге, мы оказались в Речице. Позади, в сгустившихся сумерках, остался силуэт полуразрушенного старинного храма. Корягин затормозил у крохотной покосившейся избы. Мы поднялись на резное крыльцо и вошли в сени. Там сидело несколько пожилых женщин, мужчина средних лет, очень похожий на Корягина, — его брат, белобрысая девчушка лет пяти. При моем появлении они встали. «Проходите, проходите, батюшка, — услышал я, — представляется раба Божия». Вслед за Корягиным я прошел в горницу. Мать Андрея Ивановича лежала под образами. Она, по-видимому, была без сознания. «Мамочка, священник приехал», — воскликнул Корягин, но никакой реакции не последовало.

Я взял руку больной. Пульс едва прослушивался. «Матушка, — сказал я, — перед вами священник Сарского Преображенского собора. Если слышите меня, пожмите мне руку». В ответ я почувствовал легкое пожатие. «Желаете ли вы исповедоваться и причаститься?» И вновь она пожала мне руку.

Надев епитрахиль и поручи и положив на столик перед кроватью больной Евангелие и напрестольный крест, я приступил к исповеди. Я прочитал необходимые молитвы, а затем стал перечислять обычные грехи, совершаемые людьми:

«Исповедую Тебе, Господу Богу моему, все мои грехи, которыми грешила я во все дни живота моего.

— Согрешила я, Господи, неверием, маловерием, сомнением в Божественных истинах, тем, что стыдилась звания своего христианского.

— Согрешила я, Господи, невоздержанием, неумеренностью, празднословием, честолюбием, блудом, ленью, присвоением чужого, лукавством, хитростью, недружелюбием.

— Согрешила я, Господи, тем, что не любила ближних своих по заповеди Христовой, как самую себя, не уважала их достоинство, оскорбляла, завидовала, гневалась, зло за зло воздавала, была немилосердной к нуждающимся и не оказывала им помощи.

— Согрешила я, Господи, тем, что без числа нарушала все Твои святые заповеди. Каюсь, Господи. Помилуй и прости вся прегрешения моя, вольная и невольная...»

Когда я называл грехи, в которых раскаивалась исповедница, она, не имея сил произнести: «Каюсь, Господи!», тихо пожимала мне руку. И хотя глаза ее были закрыты и лицо оставалось неподвижным, оно вовсе не походило на безжизненную маску. Оно светилось неземным светом. Там, внутри, происходила интенсивная работа мысли, достигшей высшей степени концентрации, вобравшей в себя всю прожитую жизнь и, более того, вышедшей за пределы этой жизни. Но главное было не в интеллектуальном всплеске, а в духовном огне, в котором сгорали грехи исповедницы. Я отпускал ей грехи.

«Господь и Бог наш Иисус Христос благодатию и щедротами своего человеколюбия, да простит ти, чадо Марие, вся согрешения твоя, вольныя и невольныя: и аз, недостойный иерей, властью Его, мне данною, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Но я чувствовал, что произносимые мною слова прощения есть лишь печать, а грехов уже нет, они сгорели. Она была уже безгрешна. Разгладились морщины на ее лице. Она была прекрасна, эта русская крестьянка, прожившая, видимо, трудную, мучительную жизнь. И странно — я не испытывал скорби и сострадания к умирающей. Я ощущал удивительный подъем сил. «Причащается раба Божия Мария честнаго и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в жизнь вечную». Я преподнес к губам причастницы Святые Дары, и она приняла их. Затем я совершил соборование больной и помазал ее елеем. Требы, ради которых меня пригласили в этот дом, были исполнены. Можно было уходить. И вдруг, повинувшись какому-то внезапному порыву, я опустился на колени и прикоснулся губами к руке Марии, прикоснулся, как прикасаются к святыне. Моему примеру последовали ее сыновья, родственники и односельчане, которые неожиданно наполнили комнату, и даже оказавшийся здесь же реставратор Анатолий Захарович. И тут я явственно увидел белое свечение, равномерно исходящее от тела Марии. Потом оно стало перемещаться, медленно отодвигаясь от кончиков ног и рук. Я дотронулся до ее руки, она была холодной. Вот свечение, становясь все более интенсивным, переместилось к верхней части тела, затем сконцентрировалось вокруг головы — пульс исчез — еще мгновение, и оно, оторвавшись от безжизненного тела, стало подниматься вверх. Не знаю, что видели другие, но находившаяся в комнате пятилетняя девочка спросила свою маму:

— Что это такое?

— Что, Леночка?

— Свет.

— Какой свет?

— Над бабушкой.

— Это душа ее, — ответил я, — душа новопреставленной рабы Божией Марии.

Я прочитал канон и молитвы на исход души и уже ночью отслужил панихиду.

Утром один за другим ко мне пошли жители деревни. Я исповедовал и причащал, крестил и соборовал, освящал дома, амбары, автомобили... С просьбой исповедовать его ко мне обратился сын почившей Андрей Иванович Корягин. Со слезами на глазах он говорил о том, как несправедливо и жестоко относился к своей матери и брату, другим родственникам, как изменял жене и обманывал друзей, занимался плагиатом... Но самое страшное, по его словам, было в другом.

— Батюшка, — говорил он, — перед вами Иуда Искариот, продавший душу дьяволу. Ради карьеры и благополучия я предал Бога и свой талант. А ведь был у меня, был у меня дар Божий... Помню, какое блаженство испытывал я, когда нисходило на меня вдохновение... Каждая частица моей души трепетала! С упоением я писал свои первые стихи и рассказы. Потом они казались мне наивными и несовершенными, а теперь вижу, что, кроме них, у меня больше ничего и нет за душой. Помню, однажды пришел ко мне приятель мой Серега, работавший в редакции одного толстого журнала. И говорит он мне: «Дурак ты, Андрюха! Неужели не понимаешь, что перед тобою стена и лбом ее не

проломить? Хитростью нужно проникнуть за стену. В Союз писателей надо вступить, положение завоевать, а потом пиши что хочешь». Предложил он мне «сварганить» рассказ на сельскохозяйственную тему. В это время вышел указ партии и правительства о том, что приусадебные участки, — это зло и напасть, пережиток капитализма и что крестьяне не должны отвлекаться от совершения трудовых подвигов в колхозах. «Можешь, — спрашивает Серега, — написать рассказ, как Иван-дурак решил Буренку свою зарезать, чтобы не отвлекала его от трудовых подвигов?» «Запросто», — отвечаю. И тут же на его глазах за полтора часа такой рассказ сварганил. Главный редактор принял его без звука. Губы сжал. Было такое впечатление, что, если разожмет их, его вырвет. Но не принять рассказ не мог. Было указание сверху опубликовать что-нибудь в подобном духе. Тут Серега попал в самую точку. Таким образом, отче, я заработал свой первый гонорар и вступил в «большую» литературу. Потом, правда, был момент, когда все для меня могло измениться, и жизнь моя пошла бы тогда совсем в ином направлении...

Шел суд над Синявским и Даниэлем. Я, как вполне благонадежный писатель, получил возможность присутствовать на нем. С самого начала я не мог отделаться от впечатления, что оказался в мире Кафки... Двух писателей судили за публикацию «антисоветских» проповедей за рубежом. Но то, что их произведения антисоветские, требовалось еще доказать. Как доказать? Цитируя высказывания литературных героев? Однако отражают ли эти высказывания позицию автора? Чтобы выявить ее, требовался литературоведческий анализ художественных произведений, и, таким образом, политический процесс неизбежно превращался в научную дискуссию, дискуссию, в которую вынудил вступить судей Синявский. Его анализ был безупречен, логика неотразима. Бездарные и ограниченные судьи ничего не могли ей противопоставить, кроме тупой ненависти. Они дали ему слово, поскольку этого требовал судебный ритуал, но его доводы и аргументы не имели для них никакого значения, исход суда был предрешен. Я сидел в зале, и меня охватывало отчаяние. Талант, ум, совесть, человеческая личность, наконец, оказывается, не имеют никакого значения перед лицом грубой, неумолимой, бездушной силы, олицетворенной в государственной машине. И я вдруг почувствовал, что нахожусь на грани умопомешательства, — еще мгновение, и чудовищный, звериный вопль вырвется из моей груди, и я забьюсь в истерике. Невероятных усилий мне стоило овладеть собой. Зубами, до крови, я сжал губы. Пальцы мертвой хваткой впились в сиденье стула. Когда спазм, сковавший меня, ослаб и наступило расслабление, я поспешил покинуть зал, поскольку чувствовал, что через некоторое время начнется новый приступ, который сдержать мне уже не хватит сил. Вернувшись домой, я провел бессонную ночь. Периодически меня охватывало возбуждение, во время которого я испытывал страстное желание писать. В моем уме моментально возник замысел книги под названием «Суд над Сократом». Мне не нужно было ничего изобретать и выдумывать. Я увидел весь этот роман сразу, со всеми его сюжетными линиями и героями, которые, как живые, стояли у меня перед глазами. Не требовалось даже подбирать слова и складывать фразы — я слышал их. Нужно было садиться за стол и записывать, и, если бы я встал и начал писать, я уже не смог бы остановиться, и тогда моя жизнь наверняка бы сложилась иначе. От меня требовалось лишь небольшое усилие, нужно было только встать и сесть за стол. Я этого не сделал, отче. Не сделал, когда испытывал аналогичные порывы во второй и в третий раз. А эти порывы сменялись чувством апатии и усталости, вызывавшим у меня отвращение к литературе, желание бросить ее и заняться любой, самой прозаической работой ради хлеба насущного. Но где-то подспудно в моем уме копошилась мысль о том, что и на такой шаг я не способен. И по мере того как эта мысль в моем сознании принимала все более четкие очертания, во мне рождалась злость, тупая, отвратительная, сродни той злости, которую испытывали судьи к двум преданным на заклятие писателям. «Если в этом мире, — думал я, — нет места для совести и таланта, не нужны ни совесть, ни

талант. С волками жить — по-волчьи выть». В таком настроении я пришел на следующий день в секретариат Союза писателей. И когда один из мерзавцев, заправляющих там делами, пригласил меня к себе и посоветовал написать статью с осуждением Синявского и Даниэля (недаром же мне оказали доверие и допустили в зал суда), я уже был готов к этому предложению, более того, ждал и почти жаждал его. В своей статье я сделал то, на что неспособны были судьи: путем изящного литературоведческого анализа выявил преступный, антисоветский умысел отданных под суд писателей. Не испытывая ни малейших угрызений совести (о какой совести может идти речь, если ее нет и в помине!), я отнес свою статью редактору того же журнала, где был опубликован мой первый рассказ. И опять редактор вынужден был ее принять. И опять его губы презрительно скривились, а когда я уходил, он бросил мне вслед: «Есть же такие подонки!» Конечно же не Синявского и Даниэля он имел в виду, произнося эту фразу. Вы думаете, меня задело это оскорбление? Ничуть! Этого правдолюбца я уже не воспринимал всерьез. Я словно предчувствовал, что очень скоро снова войду в этот кабинет, но теперь уже его хозяином. Отныне все пути передо мной были открыты. У меня был свой журнал. Я вошел в правление Союза писателей. Мои произведения издавались миллионными тиражами. Мои гонорары превосходили всякое воображение.

Но я не был счастлив, отче. Разве я не понимал, что темы моих сочинений выеденного яйца не стоят? Все надеялся: вот вступлю в Союз, вот изберут меня в правление, вот семья встанет на ноги, вот дачу приобрету, а затем брошу все, уеду в свою «Ясную Поляну» и буду писать для души. Только этой мыслью и жил, таил ее ото всех, даже от жены. Но как-то, изрядно выпив, поделился своей неподвижной идеей с приятелем, потом не выдержал и другому в сердцах рассказал. Пошли разговоры о том, что я пишу в стол. В Союзе писателей переполох. Анатолий Софронов укоризненно смотрит: мол, «и ты, Брут?» Только вдруг почему-то все успокоилось. И чем больше я пил, чем больше говорил на всех углах о своем новом романе, тем меньше мне верили. И главное, я сам перестал верить в то, что говорил. А когда, наконец, я решился, бросил все и уехал — нет, не в свою «Ясную Поляну» (пропади она пропадом!), а в глушь, в тайгу, где меня никто не знал, и положил перед собой чистый лист, то не смог написать ни строчки. Ни одной! В каком-то отупении, словно в параличе, я сидел за столом и.. рисовал чертиков. Так прошел месяц. Я уехал ни с чем, поняв одно: это расплата и конец, дальнейшая жизнь бессмысленна. Я получил все, к чему стремился с такой изобретательностью и упорством: жену, которая меня ненавидит, детей, которые меня презирают, шикарную квартиру, где мне нет места, «Ясную Поляну», где я не написал и не напишу ни строчки. Я начал с конъюнктурного рассказа и кончил чертиками. Нет, с чертиков все и началось. Отче, я приехал сюда, чтобы начать все сначала. И тут мне открылись глаза. Есть, оказывается, другие ценности, о которых я не подозревал, настоящие ценности, не подделки! И если не поздно...

— Не поздно, Андрей Иванович. Один мудрый старец мне говорил: «Никогда не поздно, сын мой, и в двадцать, и в тридцать, и в сорок, и в шестьдесят, и в восемьдесят лет». Никогда не поздно.

— Это касается и творчества?

— Да, и творчества. Вы должны помнить: каждый человек является избранником Божиим, у каждого свой дар. Важно угадать свое призвание. Однако угадать призвание — это еще не все. Необходимо иметь силы принять его. Ведь проще отказаться от божественного дара и, не предпринимая никаких усилий, спокойно плыть по течению.

— Как плыл и я. Вы правы, батюшка, совершенно правы. Всю жизнь я что-то делал. Ведь я же никогда не сидел на месте, у меня не было свободного времени. Я проводил заседания и встречался с трудовыми коллективами, убеждал других в том, во что сам не верил, клеймил за преступления, которые не считал преступлениями, писал статьи и рассказы на заданные темы... Но это было «ничегонеделание». Я суетился, делал какие-то судорожные движения и... плыл по течению... Все это так, но почему же тогда, когда я решил вырваться из замкнутого круга, бежал из Москвы и разложил перед собой чистые листы бумаги, из моего сидения не родилось ни строчки? Что это, кара за грехи, за отступничество, за отказ от призвания?

— Может быть, и кара, Андрей Иванович, вы же сами не отрицаете, что заслужили ее. А потом, мне кажется, что из вашего великого сидения ничего и не могло родиться... ваше бегство не было бегством, никуда вы не убегали, вы продолжали плыть по течению. Смена места — это еще не разрыв, суетные мечтания — это еще не творчество. Что сделали вы для того, чтобы снискать вдохновение, которое есть благодать Святого Духа?

— Так что же, без помощи Бога никакое творчество невозможно?

— Верно, Андрей Иванович. Любое творчество есть сотворчество с Богом, осознанное или не вполне осознанное. У вас была возможность убедиться в этом. Тогда, в ту ночь, когда вы увидели свой роман... Вы не послушались гласа свыше и приняли решение вопреки ему, далеко не лучшее решение...

— Так что же, шанс упущен?

— Почему же?

— И я могу все-таки написать свой роман?

— Не знаю, не уверен, думаю, что нет. Что касается того романа, то шанс действительно упущен. Во всяком случае, вы никогда не сможете написать его так, как написали бы двадцать лет назад. Но это не значит, что вы не напишете другой, не менее хороший роман.

— Когда?

— А вот этого я не могу сказать. Дух Святой, Дух творчества и созидания, есть Дух свободы. Он проявляет себя где хочет и когда хочет.

— Значит, от меня уже ничего не зависит? Мне остается только надеяться и ждать...

— Да, надеяться и ждать... и верить... молиться и не упустить свой шанс, когда снова услышите глас свыше! Так что главное зависит от вас.

Я прочитал разрешительные молитвы и причастил Андрея Ивановича, после чего мы решили отправиться в Крестовоздвиженский храм. В этот момент к нам прибежала запыхавшаяся сотрудница сельсовета и взволнованно сообщила, что сюда едет милиция. Из Сарска позвонили в сельсовет и дали указание под любым предлогом задержать меня. Моя поездка начинала приобретать детективный характер. Мы тотчас сели в машину, подъехали к Крестовоздвиженскому храму, чтобы захватить находившегося там нашего

реставратора. Анатолий Захарович безропотно присоединился к нам, и через несколько минут мы уже покинули село.

— Никогда не думал, — с усмешкой произнес Андрей Иванович, — что мне придется играть в азартные игры с милицией. Но если уж дело дошло до этого, необходимо проявить некоторую изобретательность. Я предложил бы не ехать прямо в Сарск, а сделать небольшой крюк.

Так мы и поступили, не предполагая, что «небольшой крюк» превратится в трехдневную одиссею по деревням и селам Сарского района. Ни Андрей Иванович, ни его машина явно не были готовы к «азартным играм» с милицией. Не проехав и получаса, машина стала. Напрасно Андрей Иванович, открыв капот, что-то внимательно изучал в моторе, а затем лазил под машину. Потом он чистосердечно признался, что умеет только рулить и что в устройстве автомобиля ничего не смыслит. Пришлось выйти на дорогу и голосовать. Около нас остановился «уазик». Из него вышли водитель и пассажир. Под машину они лезть не стали, посмотрели мотор и заявили, что дело — «безнадега». Пассажир «уазика», оказавшийся председателем колхоза, добавил, что он готов взять нашу машину на буксир и довезти до ближайшей станции техобслуживания, но при условии, что он получит священника в свое распоряжение по крайней мере часа на два. При этом гарантировалось, что затем я буду в целости и сохранности доставлен в Сарск.

Предложение председателя колхоза было принято нами без колебаний. Андрей Иванович остался за рулем взятой на буксир «Волги», а мы с Анатолием Захаровичем пересели в «уазик». Там председатель колхоза без обиняков объяснил нам, в чем дело. Колхозный картофельный склад заполнили мыши. Санэпидстанция и кошки оказались перед ними бессильными. Исчерпав все средства борьбы, колхозное начальство опустило руки. И вдруг такая удача!

— Вас мне сам Бог послал! — воскликнул председатель. — Как только вас увидел, я сразу понял — вот кто меня спасет.

— Простите, но каким образом?

— Отслужите молебен. В ноги вам поклонюсь. Вы моя последняя надежда. Замучили проклятые бестии.

— Ну, это вы напрасно ругаетесь на них. И они твари Божий. Лучше бы по-хорошему.

— Да неужто они понимают что-нибудь?

— Конечно, понимают.

— Так вот вы и объясните им, батюшка, что не гоже они поступают, пожирая картошку, которой нам самим не хватает.

Отслужил я молебен, обратившись к Господу, Пресвятой Богородице и святым угодникам с молитвой о помощи несчастным обездоленным людям, а про себя и мышей попытался увещевать. Председатель колхоза, однако, отпускать меня не торопился.

— Не могли бы вы, батюшка, — смиренно произнес он, — прочитать молитву и освятить семена для посадки? Уж больно плохой урожай мы из года в год получаем.

Выполнил я и эту его просьбу. А потом пошел ко мне народ. Кто с чем, но в основном с просьбой о крещении. Как быть? Если по домам ходить и по одному крестить, то и за неделю не управиться. А мне в храм надо возвращаться, да и Валентин Кузьмич где-то рядом рыщет, в любую минуту может нагрянуть. И как в древние времена Крещения Руси, собрал я народ на берегу Речицы, той самой, возле которой сподобился божественного откровения старец Филофей, рассказал людям о таинстве крещения и о высоком призвании православного христианина и, призвав войти в воду, крестил всех разом. Сколько же радости было! Невольно вспомнились слова летописца о том, как киевляне, «акы издавна научены, такы течаху радующеся к крыщению», имея «теплую веру к Господу нашему Иисусу Христу».

После совершения таинства крещения жители села установили столы напротив сельсовета, около руин православного храма, принесли кому что Бог послал и уж конечно бутылки самогона — какое празднество на Руси без этого? — и пригласили меня разделить с ними трапезу. Благословил я ее, призвал новокрещенных христиан и всех жителей села соблюдать умеренность в питии, но принять участие в трапезе не сподобился. Подошел ко мне председатель колхоза, с ноги на ногу переминается. «Вот какое дело, — говорит, — Нюрка, телеграфистка, мне только что сказала — звонили из Речицы, спрашивали: «Не у вас ли поп?» А она, дура, ответила: «У нас, народ крестит». Значит, с минуты на минуту здесь будут нехристи. В Погореловку надо ехать. Туда на автомобиле отсюда не добраться, даже на «уазике». Через лес на мотоцикле вас отвезут. Уж не серчайте на нас, батюшка. Нюрка, дура, подвела».

Сели мы на мотоцикл, Анатолий Захарович — на заднее сиденье, я — в коляску, и деревенский парень по имени Спиридон благополучно доставил нас в Погореловку. Там до позднего вечера я крестил, исповедовал, соборовал, служил панихиды. Из Погореловки нас повезли в Карповку, из Карповки — в Семенове, из Семенова — в Горино, и только на третий день, преследуемые по пятам «нехристями», прибыли мы в Сарск.

— Ну и работенка у вас! — только и сказал мне после всего этого Анатолий Захарович.



## *Из дневника старца Варнавы 14 августа 1923 г. (четверг)*

Разговор с епископом был трудным и не очень приятным для обеих сторон. Владыка вновь и вновь возвращался к одному и тому же вопросу:

— Зачем вы приехали в мою епархию?

— Я приехал сюда по благословению Святейшего патриарха Тихона.

— Он сам вас сюда прислал? С какой целью?

— Для прохождения иерейского служения в одном из подведомственных вам храмов.

— Но почему именно в моей епархии?

— Так благословил Святейший.

— Вы раньше бывали у нас?

— Да, очень давно, когда учился в Московской Духовной академии. Меня заинтересовала история Сарского Преображенского монастыря. Я собирался писать о нем книгу. С целью изучения истории монастыря и сбора материалов о нем я и приезжал в Сарск.

— Ах, вот как! Нашли что-нибудь любопытное?

— К сожалению, мои изыскания не увенчались успехом и я был вынужден оставить их.

— Теперь вы решили к ним вернуться?

— Нет, это не входило в мои планы.

— А что в них входило?

— Служение в храме.

— Но почему именно в моей епархии?

— Я уже доложил вам, владыка. Такова воля святейшего.

— Вы рассказывали ему о ваших исторических изысканиях?

— Он давно знает о них.

— Так, так... Он давно в курсе ваших исторических изысканий... Вы входите в число его близких друзей?

— Я бы не дерзнул заявить подобное. Но с патриархом мы знакомы давно, это верно.

— Но не с каждым же он беседует об истории несуществующего захолустного монастыря?

— Значение этого захолустного монастыря в нашей духовной жизни достаточно велико, владыка. Правда, нынешние драматические события отвлекли наше внимание к другим проблемам...

Епископ устремил на меня пронзительный взгляд, но тут же опустил глаза.

— Вы не думайте, — сказал он, — что мы в нашей провинциальной берлоге не знаем о том, что происходит в столице. Я располагаю кое-какой информацией и о вас. Мне известно, к примеру, что вы входите в ближайшее окружение патриарха. Вы не отреклись от него и не в пример некоторым, в том числе и мне, не признали Высшее Церковное Управление. Вы умны, образованны, энергичны, преданы святейшему, вас называют «столпом Православия». Почему же такого человека он посылает в отдаленную епархию? Разве это не естественный вопрос?

— Естественный, конечно.

— А если к этому добавить разговоры о том, что вы тайно рукоположены во епископа... При ваших взаимоотношениях с патриархом, при ваших способностях и при такой нужде в церковных кадрах — простой иеромонах! Кто в это поверит? Разве не вправе я подумать, что вы приехали сюда изучить ситуацию на месте, сплотить вокруг себя «тихоновцев», взбунтовать против меня епархию и занять мое место? Занимайте! Никаких благ мне мое положение не дает. Вы видите, в каких я живу хоромах. Доходов от епархии мне не хватает на обед. Но я не ропшу. О личном благосостоянии не думаю. Не ради этого я принимал сан епископа. Все мои мысли только о том, как преодолеть раскол и сохранить Церковь Христову. Вот почему я пошел на соглашение с Высшим Церковным Управлением. Вы думаете, я не знаю, что за люди там? Один Красницкий чего стоит! Чудовищная смесь Иуды Искарюта и Малюты Скуратова. И я, православный архиерей, склоняюсь перед ним и говорю: «Благословите, батюшка». Как вы полагаете, что я при этом испытываю? Разве не сгорает нутро мое от стыда? И ничего не поделаешь. Попробовал я было взбунтоваться. Не сдержался, послал этого Красницкого подальше. Так он, мерзавец, что делает — звонит при мне по телефону, спрашивает Евгения Александровича (вам это имя что-нибудь говорит? То-то!) и спокойненько просит вразумить одного вспыльчивого архиерея. А на следующий день выхожу я из Троицкого подворья в Москве, подходят ко мне двое красноармейцев. «Извольте, — говорят, — с нами пройти». И напрямиком на Лубянку. Продержали там пару дней в камере с уголовниками, потом привели в кабинет к Тучкову. «Понял?» — спрашивает. «Понял», — отвечаю. «Все понял?» — «Все понял». — «Так вот, знай, мне ничего не стоит твоего келейника завтра же сделать епископом и на твое место посадить. А теперь пиши подписку». — «Какую подписку?» — «О сотрудничестве с органами ОПТУ. И немедленно отправляйся в епархию».

— И что же, дали вы ему такую подписку?

— А как же, батюшка? Разве иначе я был бы здесь? Думаю, и Святейшего Патриарха Тихона вряд ли без таковой подписки с Лубянки отпустили бы. Бог нам всем судия.

— И как же теперь?

— Как видите. Заявил о лояльности к Советской власти. Выдал ОГПУ все церковные ценности. Осудил патриарха Тихона. Признал Высшее Церковное Управление, но «живоцерковников» в епархию не пускаю. Блюду Православие и пишу доносы на Красницкого, а он на меня. Тут уж кто кого. Думаете, откуда я информацию о вас получил? От Тучкова, конечно. Теперь ваша судьба от меня зависит. Нет, нет, я вам не угрожаю. Отнюдь. Просто ставлю в известность о реальном положении дел. Тучкову я должен буду о вас что-то написать. Например: иеромонах Варнава прибыл в епархию как эмиссар бывшего патриарха Тихона для подрыва позиций прогрессивного духовенства. Или — иеромонах Варнава к политическим и церковно-политическим вопросам интереса не проявляет, все дни и ночи проводит за молитвой, что объективно свидетельствует о некоторых нарушениях в его психике, опасности для социалистического строя и мировой революции не представляет. Я склоняюсь ко второму варианту доноса. А уж если говорить начистоту, то, по моему мнению, вы действительно приехали сюда не за тем, чтобы организовывать заговоры против правящего архиерея. Ничто не мешало патриарху Тихону официально направить вас сюда в качестве епископа. Видимо, планы у него другие. Он, вероятно, хочет спрятать вас подальше с глаз Тучкова и сохранить на тот случай, когда им надоест играть с нами в кошки-мышки и всех нас, «правых» и «левых», они, выражаясь их терминологией, «пустят в расход». А что будет именно так, я почти не сомневаюсь.

— Стоит ли тогда играть в кошки-мышки?

— Не знаю, может быть, и стоит. Нэп вселяет некоторые надежды. В самом деле, сколько может просуществовать этот противоестественный безбожный режим? Ну, еще год, ну, два, ну, три, ну, четыре, но не более же того! Так что отправляйтесь в Сарск, занимайтесь «историческими изысканиями», а нас оставьте копать в дерьме и писать доносы в ожидании скорой расплаты за наши грехи. Я выдам вам грамоту о назначении настоятелем Сарского Преображенского собора. Не забывайте меня в своих молитвах и при случае сообщите Святейшему Патриарху... Впрочем, ничего не надо сообщать...

## *17 августа 1923 г.*

Около храма меня уже ждали. Как только я сошел с коляски, ко мне подошли трое в кожаных тужурках и предложили посетить «другое» место. Мы пересекли площадь и вошли в здание бывшей городской думы. Повели меня фазу вниз, в подвал. Опыт моего общения с чекистами (все-таки три ареста и смертный приговор, исполнения которого чудом удалось избежать) говорил о том, что дело принимает серьезный оборот. Меня не затолкнули в камеру, как я ожидал, а ввели в комнату без окон, освещенную электрическим светом. В ней находился обитый зеленым сукном стол, кожаный диван и несколько стульев. На стене висел плакат с многозначительной надписью: «Бей буржуев и попов!» На нем был изображен красноармеец, добивавший ногой поверженного наземь буржуя, а штыком пронзавший необъятное брюхо испуганного попа с сизым носом. Мне было предложено сесть на стул, стоявший на почтительном расстоянии от стола, за которым разместился один из сопровождавших меня чекистов, — двое других вышли из комнаты. Чекист вынул из кобуры револьвер и положил перед собой на стол. Я ожидал допроса, но его не последовало. Видимо, допрашивать меня должен был кто-то другой. Прошло около получаса, и наконец тот, «другой», вошел в комнату. Он был в красноармейской форме, поверх которой спереди был надет коричневый кожаный фартук. Такого же цвета кожаные перчатки закрывали его руки до локтей. Он был бледен как полотно. Его глаза лихорадочно блестели. Передо мною был маньяк, одержимый. Но я понял, что сейчас, в данный момент опасности для меня нет. Он уже перегорел, до предела насытился жертвенной кровью. Мой ангел сберег меня. Я опоздал к жертвоприношению.

При появлении маньяка в кожаном фартуке чекист, сидевший за столом, поспешно вскочил.

— Задание выполнено, товарищ Овчаров! — отрапортовал он.

— Иди! — устало-пренебрежительно ответил ему «товарищ Овчаров» и сел на его место за столом.

Он устремил на меня долгий, тяжелый мутный взгляд сытого удава, готового заглотить еще одну жертву, но чувствующего, что она встанет ему поперек горла.

— Повезло тебе, — произнес он хриплым, ржавым голосом, — задержали тебя, корректировку произвели, ценят тебя «там», берегут... Прав Тучков. Ты не просто иеромонах. В их иерархии ты куда более высокое место занимаешь. И все равно никуда тебе уже от меня не уйти. Никуда!

— Все в руках Божиих.

— А вот и н-нет! Если бы все было в Его руках, ты не сидел бы передо мною. Кончилась Его власть. Теперь власть наша.

— Чья «наша»? Международного пролетариата?

— «Международного пролетариата»? — расхохотался Овчаров. — Да плевать я хотел на международный пролетариат. Так же как и на международный капитал. И тот и другой для меня лишь инструмент, приводные ремни истории. Сейчас мне нужен пролетариат, а завтра я обойдусь и без него, как прекрасно обходился и раньше. Главное — хорошенько рассчитать и попасть в самое яблочко, в самую точку.

Овчаров вытянул вперед руку, одетую в кожаную перчатку, и сделал вид, что прицеливается в меня из револьвера.

— Бах — и все! Ведь чем велик Ленин? В самую точку попал! Увидел ее, разглядел! И рука не дрогнула! Без всяких там сантиментов. Вот что нужно в истории. Во всем есть своя болевая точка, невралгический центр, ахиллесова пята, место пересечения энергетических потоков. Найти такое место и нажать на него легонько — и дело сделано! Так можно земной шар перевернуть, Вселенную в обратную сторону закрутить. Это касается пролетариата. И России тоже... Мерзкая страна. Ненавижу ее всеми фибрами души. Грязь и вонь! Все в ней может увязнуть — любая мысль и любое дело. Наполеон увяз! Петр Первый как ни махал дубиной — ничего не добился. А какой гнуснейший народ — вонючий и ленивый! Татарские образины! Азиатчина! Истребил бы я это отродье с корнем. И всю землю испепелил бы. Расчертил бы прямые перспективы, сотворил бы из этой мерзости какую-нибудь культурную Голштинию или Голландию, как того Петр хотел. А лучше всего — не возиться с Россией, бросить ее на произвол судьбы и дать задохнуться в собственной вони, утонуть в болотах. Но нельзя, батенька. Эта гнусная Россия — невралгический центр Земли и Вселенной. Вот почему мне приходится сидеть здесь по уши в дерьме в этой дыре (даже не в Петрограде!), ибо здесь «ось» проходит. Не потому ли и вы сюда приехали?

— Я уяснил себе, что на пролетариат вам плевать, а на Россию тем более, но ради чего тогда весь сыр-бор? Чего вы домогаетесь?

— Не валяйте дурака! Все вы прекрасно понимаете. Вот плакат. Видите? Буржуй на земле валяется, и красноармеец каблуком придавил его, придавил лишь только, а попу — штык в самое брюхо! Бог и его служители — вот кто наш главный враг!

— Чем же не угодил вам Господь?

— Тем, что Он есть.

— Есть все-таки? Значит, вы не отрицаете Его существования?

— Мы же не на собрании партячейки. Если бы Его не было, тогда действительно ради чего сыр-бор затевать?

— Чем же все-таки не угодил вам Господь?

— Тем, что Он ограничивает мою свободу. Тем, что Его законы, Его табу мешают мне. Тем, что в Его иерархии для меня нет места. Мне противна слащавая фальшь рассуждений о добродетелях. Непредвзятую рассудку очевидно, что добро есть химера и что двигатель истории — зло. Я, наконец, сдох бы со скуки, если бы оказался в мире, устроенном по вашим законам. До сих пор я с отвращением вспоминаю годы учебы в семинарии, когда меня вынуждали петь осанну Тому, Кого я возненавидел. Рад, что теперь могу свести с ним счеты. Между нами не может быть примирения и компромиссов. Вопрос стоит так: или — или. Или Бог, или мы. И вы сможете выйти отсюда лишь через отречение от Бога. Это для вас единственный шанс.

— Я уповаю на Бога.

— Напрасно.

— Почему же?

— Потому что Он бессилён перед нами.

— Творец Вселенной и Вседержитель?

— Да, Творец Вселенной и Вседержитель. Он не может переступить через Свою сущность, не может творить зло. И наконец, ахиллесова пята, солнечное сплетение Вселенной... Кто овладеет им, у того будет власть над миром.

— Значит, все дело во власти?

— В самую точку попали!

— Итак, вы домогаетесь власти над миром, но кто же тогда вы?

— Имя нам легион.

— Яснее не скажешь. Открыто, правда, об этом не говорится...

— Всему свой срок. Впрочем, Анатолий Васильевич Луначарский кое-что уже приоткрыл, за что ему досталось от Старика... Время, однако, придет, и мы все поставим на свое место. Храмы воздвигнем тому, кто первым дерзнул восстать против Бога. И никогда не погаснет в них жертвенный огонь. И кровью обогрятся алтари...

В глазах Овчарова появился безумный блеск. Он задрожал, словно перед припадком падучей. И вдруг я явственно увидел капли крови на его кожаном фартуке и перчатках.

— Кровушка-то полилась, — промолвил я.

Но он уже вошел в транс. Я перестал для него существовать.

В этот момент открылась дверь, и перед нами предстала молодая, ослепительно красивая женщина в кожаной куртке.

— Товарищ Димитрий, — сказала она, глядя на Овчарова восторженными, преданными глазами, — вам депеша.

При слове «депеша» Овчаров тут же пришел в себя. Он поспешно взял в руки бумагу и внимательно несколько раз прочитал ее.

— Что же, — наконец произнес он, — вам еще раз повезло, вы получили отсрочку.

— Какую отсрочку?

— Самую обыкновенную. Впрочем, чего тут темнить... Я могу прочитать депешу. «Совершенно секретно. Особой важности. Товарищу Димитрию. По договоренности иеромонаху Варнаве предоставляется отсрочка до 21 апреля 1924 года. Подпись — С».

— Неужели Старик?

— Берите выше.

— Тогда кто же?

— Да, да, тот самый, о ком вы подумали.

— В таком случае еще один вопрос. «По договоренности» с кем?

— Разве не ясно? Наше и ваше начальство между собой договорилось.

— Но где гарантия, что депеша подлинная?

— Подлинная. Иначе разве я отпустил бы вас? Ни за что на свете. 21 апреля в этом убедитесь. Да, да, отец Варнава. Вы сами придете ко мне. Депешу по своей линии тоже получите. И я вас собственноручно с превеликим удовольствием расстреляю. До встречи в Великий Четверг. А сейчас мне нужно расслабиться. Очень насыщенный день был. Катенька, проводи отца Варнаву и сразу же возвращайся.

## ***19 августа 1923 г.***

Совершил первую службу в Преображенском соборе. Промыслительно она совпала с храмовым праздником, великим праздником Преображения.

Господи, помоги нам и просвети нас! Озари нас светом Преображения! Да рассеют лучи Истины Твоя тьму вокруг нас и внутри нас!

## ***20 августа 1923 г.***

Обнаружил в храме летопись Сарского Преображенского собора. Не могу оторваться. Господи, здесь вся история России!

## ***21 августа 1923 г.***

Читаю летопись. Случайно ли она попала мне в руки сейчас, а не тридцать лет назад, когда я, возбужденный честолюбием исследователя, страстно жаждал найти нечто подобное? Бесценное сокровище досталось мне теперь без всяких усилий, даром, досталось тогда, когда мне, умудренному трагическим опытом пережитого, оно может дать большую пищу для размышлений, чем раньше, в дни моей восторженной юности.

Удивительны исторические аналогии. Петр, несомненно, был первым большевиком на Руси. При этом важно иметь в виду, что большевизм — это не просто насильственное разрушение традиций, это прежде всего богоборчество. Бог сотворил человека как личность. Он вступает с человеком в личностные отношения. Бог говорит с личностью и соборной личностью — нацией. Его собеседником не может быть коллектив трудящихся, политическая партия, общественный класс, аппарат государственных чиновников. Не потому ли большевизм так яростно стремится сокрушить личность?

Как же все-таки случилось, что ничтожная кучка авантюристов, безнравственных циников очень быстро и без особых усилий овладела в семнадцатом году огромной страной? Что это, нелепая случайность, обусловленная ошибками Государя и его окружения, Государственной думы, князя Львова, хитроумным гамбитом немцев с plombированным вагоном и просчетами Керенского, не сумевшего или не решившегося арестовать Ленина? Думаю, что захват большевиками власти был подготовлен, по крайней мере, двумя предшествующими столетиями. Он был подготовлен уважаемыми учеными мужами, интеллектуальной элитой Запада и России. Разве европейская наука не пыталась все это время разложить человеческую личность, низвести человека до уровня животного или живой машины? Бациллы болезни давно уже проникли в наш организм, отравленная кровь уже циркулировала в наших венах. Казалось бы, ничего страшного не происходило. Дарвин создавал теорию видов, Маркс писал «Капитал», базаровы резали лягушек, Павлов экспериментировал с рефлексам, художники изобретали новую необычную манеру письма. Но за всем этим скрывалась одна страшная тенденция — стремление рассматривать человека как машину, которой можно управлять и которую можно совершенствовать по своему усмотрению, с помощью экономических и социальных рычагов, воздействуя на половые инстинкты и возбуждая рефлексы. Большевизм созрел на почве, возделанной Вольтером и Руссо, маркизом де



Садом, Дарвином, Зигмундом Фрейдом и Павловым, Ницше и модным сейчас Пикассо, на картинах которого человек уступает место монстрам, роботам, сотворенным из абстрактных геометрических фигур.

Страстное желание человека выйти за рамки индивида как абсолютной монады, вырваться из абсолютного одиночества может быть осуществлено лишь чудодейственным, сверхъестественным путем, с помощью Божественной благодати. Очистив себя от грехов и напитав Божественной энергией, мы становимся сопричастниками Бога, носителями Бога, присутствующего в нас и в каждой точке Мироздания. Благодать, для которой нет преград, свободно проникает сквозь непреступную оболочку человеческой монады, не разрушая ее, и делает возможным неслиянное единение одной личности с другой, тем спасая нас от парализующего сознание жуткого одиночества. Всякая иная попытка осуществить прорыв вовне себя заранее обречена на неудачу и ведет лишь к разрушению личности. Физическая близость мужчины и женщины, дающая начало новой жизни, сама по себе способна создать лишь кратковременную иллюзию единения, и в этом, может быть, главная причина семейных драм. Классовое и партийное единство, которое проповедует большевизм, несовместимо с личностным началом. Оно предполагает эрозию, разложение личности, превращение ее в бесформенное месиво, из которого можно сотворить человекоподобную машину, послушно голосующую, послушно совершающую примитивные рабочие операции (ибо на творческий труд она не способна) и, наконец, послушно убивающую. Но для того, чтобы добиться этого, необходимо прежде всего разрушить религиозно-нравственные основания личности, воздвигнуть преграду между человеком и Богом. Отсюда богоборческий характер большевизма. В этом суть, сердцевина большевизма, его высший, сокровенный смысл. Поэтому обновленцы, витийствующие на тему возможности и даже необходимости альянса Церкви и большевиков, или наивные глупцы, или циничные провокаторы. В отношении Красницкого никаких сомнений быть не может. Вряд ли наивен и Александр Иванович Введенский. Если он думает, что ему удастся переиграть Тучкова, то можно сказать наверняка: его карта будет бита. Тучков оставляет сейчас ему поле для маневра, поскольку Введенский ему нужен для борьбы с Патриаршей Церковью, но, когда он сыграет свою роль, ему не заплатят и тридцати сребреников.

*29 сентября 1985 г.*

После поездки в Речицу отношение ко мне Анатолия Захаровича заметно изменилось. Он, правда, и раньше был вежлив и предупредителен, но за всей этой вежливостью и предупредительностью ощущалась отчужденность и настороженность. Перед ним был противник, конечно слабый и никудышный, которого, может быть, и во внимание не следует принимать, но все-таки противник. Мое внешне униженное положение давало Анатолию Захаровичу все основания относиться ко мне свысока. Однако еще больше уверенности ему придавало сознание того, что он является великим знатоком церковного искусства, в котором я, как и всякий священник, ничего не смыслю и не способен смыслить. Логика его проста: икона в моих глазах — фетиш, а если так, для меня не имеет значения, написана ли она гениальным иконописцем (Феофаном Греком, Андреем Рублевым, Дионисием и т.д.) или каким-нибудь безвестным богомазом. В силу этого мне априорно не дано постигнуть эстетических красот древнерусской живописи, именно живописи и именно древнерусской, ибо, по его глубокому убеждению, за рубежом — XVI века ничего достойного внимания возникнуть в ней не могло. Священную историю, церковную догматику и службу он знал, по-видимому, хорошо, но относился ко всему этому как к подсобному материалу, порой занимательному, если речь шла о Священной истории, но в большинстве случаев — утомительному и нудному.

И вдруг что-то с Анатолием Захаровичем произошло. Теперь я видел его за каждой службой. Он не молился, нет, не осенял себя крестным знаменем — об этом не могло быть и речи, — но то внимание, с которым он следил за ходом литургии и всенощной, не имело ничего общего с праздным любопытством и профессиональным интересом искусствоведа. И невольно возникала догадка, что во время поездки в Речицу ему открылось нечто, о чем великий знаток церковного искусства, видимо, не подозревал. Анатолий Захарович словно заглянул за грань двухмерного мира, в котором жил прежде, и понял, что, рассматривая икону с формально эстетической точки зрения, он, собственно говоря, скользил по поверхности, не проникая в глубь предмета своего исследования.

А потом Анатолий Захарович исчез. На службе он уже не появлялся, целые дни проводил на лесах под сводом храма, явно избегал попадаться мне на глаза, а если такое случалось, спешил проскользнуть мимо, сухо буркнув приветствие или сделав вид, что не заметил меня. Но даже эти мимолетные встречи, опущенные смущенные глаза выдавали его с головой. Он был не в состоянии скрыть лихорадочного возбуждения, которое ощущалось мною почти физически. Можно было ничего не говорить, все было ясно — Анатолий Захарович сделал великое открытие, к которому стремился всю жизнь. Под известковой побелкой он обнаружил древние фрески. Сам факт такого открытия не мог вызвать у меня удивления. Я ждал его, я был уверен, что это случится, и, более того, в минуты духовного прозрения мне порой виделись проявляющиеся сквозь побелку нерукотворные лики ангелов и святых угодников Божиих. Они были подернуты легкой дымкой, колебались и плыли, но иногда я их видел очень отчетливо и мог бы, как мне казалось, уверенно и безошибочно очертить их контуры.

В нормальной стране и нормальных условиях любой священник был бы несказанно рад обнаружению в своем храме древних фресок, но здесь, в захолустном Сарске, на оскверненной Русской земле, все извращено и перевернуто вверх дном. Обретение святых противостоит естественным образом оборачивается здесь ее поруганием. Это ясно для меня, это ясно для Валентина Кузьмича (знает ли он об открытии? Наверняка уже знает!). Это ясно для Анатолия Захаровича. Не потому ли он не поднимает на меня глаз и, как мышь, стремится проскользнуть мимо?

## 20 октября

Анатолий Захарович решился. Он подошел ко мне и сказал:

— Отец Иоанн, я должен с вами объясниться.

Вид Анатолия Захаровича был более чем странный. Волосы растрепаны, лицо в красных пятнах, губы сводила судорожная гримаса. Мне показалось сначала, что он пьян.

— Хорошо, я в вашем распоряжении.

— Не могли бы вы подняться со мною наверх?

Мы взошли на леса. Поверхность свода была закрыта листами бумаги. С какой-то идиотской ухмылкой Анатолий Захарович снял их, и передо мной предстал дивный лик ангела. Я увидел его, и в тот же миг окружающее пространство перестало для меня существовать. Я стоял на помосте на головокружительной высоте под сводом храма и не знал, на земле я или на небесах. Как во сне, ощущение тяжести покинуло меня. Я парил. Под сводом храма или под сводом неба? И мой небесный брат, прекрасный и совершенный, парил рядом со мной.

Не знаю, сколько прошло времени: секунда, две, минута или целая вечность. Я обрел наконец чувство реальности. Возле меня стоял Анатолий Захарович с зажженной свечой в руке. Откуда появилась она, когда и зачем он зажег ее? Болезненная гримаса больше не искажала его лица. Оно было спокойным и просветленным.

— Какая легкость, а? — произнес он. — Какое совершенство! Отец Иоанн, я переживаю сейчас кульминационный момент моей жизни. Это пик, предел! Вся моя предшествующая жизнь была подготовкой к этому мгновению, и вся последующая будет лишь воспоминанием о нем. Я родился, жил, приобретал знания, чтобы открыть эти фрески. Я безмерно счастлив, и мне очень грустно, потому что никогда больше не испытаю подобного блаженства. Такое дается раз в жизни, и далеко не всем. Мною сделано великое открытие, о котором будут писать книги. Этот храм расписан гениальным художником из школы Дионисия. Его фрески должны принадлежать людям. Так что же будем делать, отец Иоанн? Здесь сошлись наши пути и судьбы. Я все понимаю, вероятно, ваше призвание и высший смысл вашей жизни в том, чтобы спасти храм, а мой удел — добиться его закрытия и превратить в музей, холодный и мертвый. Да, да, холодный и мертвый! Ведь эти фрески живут при свете губительных для них свечей, в храме, в котором совершается литургия! Я многое передумал за эти дни и многое понял. Мне кажется, если бы все зависело от нас, мы нашли бы мудрое решение, однако от нас с вами ничего не зависит. Решение будут принимать другие, те, кому нет никакого дела до этих фресок, но кому они нужны как предлог, чтобы закрыть храм. Итак, что же мне делать?

— Есть варианты?

— Нет.

— Что же тогда требуется от меня?

— Как поступили бы вы на моем месте?

— Я не могу быть на вашем месте.

— Хорошо. Что будете делать вы, когда я объявлю о своем открытии?

— Буду молиться.

— Будьте реалистом, отец Иоанн. Храм сохранить уже невозможно.

— Нет ничего невозможного для Господа.

— Но как, как Он сохранит его?

— Через людей — через меня, через вас, через тех, кто принимает решение...

— Ни от меня, ни от вас, как я уже сказал, ничего не зависит, а те, кто принимает решение... Я пока никому не говорил о своем открытии и даже моих помощников не подпускаю сюда. Вы первый, вернее, второй, кто видит эту фреску...

— Нет, все-таки первый, Анатолий Захарович.

— Первый?

— Да. Я видел ее еще до начала реставрационных работ. Не знаю, чем это объяснить, но в минуты особого душевного состояния, во время молитвы или стресса, мое зрение удивительным образом обостряется. И вот сейчас я вновь вижу скрытые фрески. Поздние наслоения красок кое-где затемняют их, но под известковой побелкой они проявляются очень отчетливо.

— Где?

— Дайте мне карандаш. Я обведу контуры одной из изображенных здесь фигур.

Я взял карандаш и на глазах изумленного Анатолия Захаровича обвел образ архангела Михаила.

## 22 октября

Прошло два дня. И вот сегодня вновь подошел ко мне Анатолий Захарович. Он был спокоен и сосредоточенно серьезен.

— Отец Иоанн, — сказал он. — Я хотел бы продолжить наш разговор. Скажите откровенно, вы не могли видеть где-нибудь в архивах описание храма?

— Понятно, — ответил я и невольно улыбнулся. — Детального описания храма я не встречал, но с тем, что мне удалось обнаружить, вы познакомитесь. Что же касается архангела Михаила... а в данном случае, видимо, именно он вас интересует, не так ли?

— Да, конечно.

— Его описания я не видел. И если бы даже видел... Объяснить этим совпадение контуров, наверное, невозможно. А ведь они совпали?

— С абсолютной точностью, как бы ни казалось это невероятным.

— Мы плохо знаем возможности человека и недооцениваем силу Божию.

— Согласен, отец Иоанн. Перед вами Фома неверующий. Мне нужно было бы увидеть раны в теле Христа и вложить в них персты, чтобы уверовать в Бога. Что же, у каждого свой путь к Нему. Мой путь — через этот храм, через встречу с вами, через архангела Михаила. Благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность увидеть уникальные фрески и помог преодолеть искушение. Гениальный художник, расписавший храм Преображения, не оставил нам своего имени, потому что считал себя инструментом Святого Духа. А я возомнил о себе бог знает что! Великое открытие сделал! Какая ерунда! Фрески сами себя открывают тому, кому нужно и когда нужно. Сейчас в этом храме они открыли себя вам и больше пока никому. Значит, не пришло время. И не мне решать, когда оно придет. Вот почему, отец Иоанн, я написал два заключения: одно — для вас, в нем изложено все как есть, и второе для тех, кто ищет предлог для закрытия храма. Там указано, что в результате тщательной экспертизы в Преображенском соборе города Сарска никаких росписей, представляющих исторический и культурологический интерес, не обнаружено. Вы можете теперь реставрировать интерьер храма так, как считаете необходимым. Что же касается раскрытого мною архангельского чина, то я его вновь закрыл известковым раствором. До поры до времени. Вы правы, отец Иоанн, Господь вершит свою волю через людей, и я рад, что постиг свое призвание и нашел силы исполнить его. Благословите меня.

Анатолий Захарович с непривычки неловко сложил руки для благословения, и я, осенив его крестным знаменем, трижды поцеловал.

## *1 ноября*

В городе появились афиши, извещавшие о предстоящей премьере спектакля «Под знаком Креста». Автор пьесы — Вадим Бурков. Афиши выглядели вполне благопристойно — купола соборов Троице-Сергиевой лавры, кресты, монахи в клобуках. Ни малейшего намека на карикатуру. Одним словом, серьезная пьеса, настоящая литература!

Репетиции проходили почти ежедневно — об этом меня информировал Виктор, но, по его словам, не все на них шло гладко. Между актерами и автором пьесы возникали острые перепалки. Вадим не скрывал своего недовольства исполнением пьесы и явно давал понять, что провинциальная труппа неспособна понять глубокий смысл его творения. В этой ситуации актеры не нашли ничего лучшего, как апеллировать к моему мнению, и, видимо, не без подсказки Виктора почти в полном составе пришли в храм.

Режиссер Юрий Николаевич был в темном парадном костюме и строгом галстуке — не думаю, что он в таком виде появлялся даже на премьерах. Вероятно, поэтому он чувствовал себя очень скованно. В таком же положении оказались и актрисы. Стремясь преодолеть напряженность, я провел их в подклеть храма, где усилиями Петра и Андрея была оборудована комната для прихожан, усадил за стол и предложил чаю. Режиссер представил мне актеров. Постепенно обстановка разрядилась. Юрий Николаевич попросил разрешения снять стеснявшие его пиджак и галстук, после чего обрел наконец способность к непринужденной беседе.

— Отец Иоанн, — спросил он, — вас не шокирует наше появление в храме?

— Почему оно должно шокировать меня?

— Репутация актеров в глазах Церкви никогда не была высокой...

— Я бы не стал говорить столь категорично. Актеры бывают разные. Впрочем, Церковь открыта для всех, даже для представителей еще более древней профессии, чем ваша.

— Если те приходят с покаянием...

— Да, конечно.

— Но не кажется ли вам, что и моя профессия, и ваша, и та, которую вы назвали еще более древней, чем моя (я с этим не вполне согласен), когда-то были одной? Специализация началась позднее...

— Если под «моей» профессией вы имеете в виду языческое жречество, то пожалуй. Однако в этом случае сюда следовало бы включить и все остальные профессии — врача-целителя, поэта, музыканта, астронома, математика... Подчеркиваю, если вы имеете в виду под «моей» профессией языческое жречество, ибо христианское священство — это качественно новое явление.

— В чем же заключается его новизна?

— В разрыве с магической природой древней «прапрофессии».

— Магической природой?

— Именно. Весь смысл, вся суть этой «прапрофессии» заключались в магическом воздействии на человека и природу, в обретении власти над ними...

— А как обстоит дело сейчас?

— Так же, Юрий Николаевич, как и обстояло. Только магическая природа современного искусства и науки тщательно скрыта, замаскирована.

— Вы говорите так, как будто во всем этом есть чей-то умысел...

— Разумеется.

— Хорошо, возьмем самую абстрактную и чистую науку — математику. В чем же ее магическая природа?

— В числе.

— Не понимаю.

— Почитайте внимательно древние мифы. Для них очень характерен один любопытный сюжет — герой упорно стремится узнать секретное, сокровенное имя своего врага или соперника. Узнать его имя значит получить власть над ним. Число, формула также есть знак, зная который можно получить власть над человеком или природой.

— Оставим математику. Что вы скажете о театре?

— А тут, Юрий Николаевич, и говорить нечего, — вступила в разговор актриса, которая, как я понял, должна была исполнять в пьесе Вадима роль Наташи. — Чистая магия и колдовство! Разве мы не жаждем больше всего на свете власти над зрителем, не славы как таковой, а именно власти? Мы упиваемся ею. Мы высасываем энергию из зрителей, как вампиры!

— Ну, ты скажешь, Надежда! — возмутились ее коллеги. Против магической природы театра они не возражали и против упоения властью тоже, но сравнение с вампирами им не понравилось.

— Отец Иоанн, — обратился ко мне Юрий Николаевич, — но вы ведь не будете отрицать, что православное богослужение в конечном счете также театральное представление. Оно имеет свой сценарий, актеров-жрецов и хор, правый и левый, как и положено в античном театре.

— Да, храм имеет все внешние атрибуты театра, за исключением самого главного: в нем нет игры. Действо, совершаемое в храме, имеет онтологический характер, оно первично, а наша жизнь вторична по отношению к нему, она — его отражение. Что касается энергии, о которой говорила Надежда Павловна, то храм перенасыщен ею. Она дается даром, в избытке, дается всем. Берите, сколько способны вместить, нет никакой необходимости похищать ее у других.

— Если я правильно понял, — спросил Юрий Николаевич, — вы не приемлете сам принцип игры?

— Я не приемлю игр в храме, игр с Богом. А в принципе это сложный вопрос. Безобидные и радостные игры детей — почему бы нет? Тем более что это самый легкий и эффективный способ постижения трудной науки жизни. И не только дети.... Играют звери, играют ангелы. На самом деле ангелы совсем не такие, как мы их себе представляем. Они наделены тонким чувством юмора, любят шутить.

— Любопытно. У меня такое впечатление, что вы общаетесь с ними ежедневно.

— Конечно. Мы все общаемся с ними ежедневно, только не всегда сознаем это. А мне к тому же приходится общаться с ними и по долгу службы.

— Вы говорите это в шутку или всерьез?

— В каждой шутке есть доля истины.

— Значит, ангелы играют и шутят... Но играют и падшие ангелы...

— Да, играют, только иначе. Они ведут злую, кощунственную игру, строят козни и ловушки, создают губительные миражи. Такую игру я не приемлю.

— Выходит, театр как вид искусства вы не отрицаете?

— Если это высокое искусство, художество, творчество, как можно его отрицать! Ведь наш Господь есть Творец и Художник, а мы созданы по образу и подобию Его.

— Вы говорите: Бог — Творец и Художник. Художник! Но не актер... Актер же скорее тот, другой, кто строит козни и ведет борьбу против Бога. Не так ли?

— Так. Бог действительно не актер. Божественное домостроительство — слишком серьезное дело. Но ведь театр — это не только игра. В нем есть и нечто другое. В основе актерского таланта лежит дар перевоплощения. Это свойство всего живого, оно заложено в нас изначально. И тут есть какая-то великая тайна. Почему одно существо подсознательно хочет уподобиться другому? Может быть, таким образом оно стремится вырваться из своей самости, из ледящего душу космического одиночества? Не гнетет ли нас тоска по идеалу, утерянному в результате грехопадения?

— Возможно, так и есть, отец Иоанн, — вступила в разговор Надежда Павловна, — возможно, генетически в нас заложено свойство или склонность к перевоплощению. Но не нравится мне это слово. Не означает ли оно, по крайней мере этимологически, переселение в другую плоть, не преображение самого себя ( я хорошо запомнила вашу проповедь в праздник Преображения), а вхождение в чужую плоть? В этом есть что-то мерзкое и бесовское. Вы говорили о тоске по идеалу и утерянному образу Божию. Но ведь на сцене нам нередко приходится играть преступников и мерзавцев. И мы, пожалуй, с большим удовольствием перевоплощаемся в них. Не пытаемся ли мы таким образом удовлетворить свои постыдные инстинкты в чужом обличье, не травмируя своего сознания чувством вины?

— Что с тобой сегодня, Надежда?! — с изумлением воскликнул Юрий Николаевич. — Идя сюда, я с содроганием ждал отповеди от отца Иоанна, но не от тебя! Изволь, однако, я отвечу. Да, на сцене порой совершаются преступления, но мнимые, и соучастием в них мы освобождаемся все — и актеры, и зрители — от преступления реального.



— Освобождаемся ли? Или только травим душу, разжигаем инстинкты и побуждаем к преступным деяниям? Не знаю, Юрий Николаевич. Но я твердо знаю одно: происходящее на сцене — не реальная жизнь и мы с вами живем не реальной жизнью, поскольку по-настоящему живем только на сцене. А ведь это противно природе, это извращение. Реальная жизнь — здесь. Правильно сказал отец Иоанн: наша земная жизнь вторична, она — отражение божественной драмы, театр же — отражение отражения. Это в лучшем случае. Но чаще всего мы плодим фантомы. И самое страшное, что эти фантомы начинают жить независимо от нас, вводя людей в соблазн. Та пьеса, которую мы сейчас репетируем, — один из таких фантомов. Я чувствую ее фальшь. Я не могу играть в ней.

— Не горячись, Надежда. Отец Иоанн, я решил поставить эту пьесу, потому что в ней что-то есть. Это не плоская атеистическая поделка. Автор сам учился в семинарии, он знает ее жизнь изнутри. Я никогда не был в лавре, но думаю, что там, как и везде, свои проблемы. Насколько автору удалось раскрыть их — другой вопрос. Поэтому мне очень важно узнать ваше мнение, и я очень просил бы вас посетить одну из репетиций.

— Не знаю, Юрий Николаевич, не обещаю.

— Таким ответом я уже доволен. Честно говоря, мы и на него не рассчитывали. А что касается самой пьесы, то, если абстрагироваться от деталей, она привлекает меня постановкой проблемы, которая, как мне кажется, через несколько лет будет главной для всех нас.

— Что же это за проблема?

— Россия и Бог, интеллигенция и Церковь. И независимо от того, как подходит к ней автор, важно, что он ее поставил.

— Чего же вы ждете от меня?

— Советов и... рекомендаций.

— Не то говорите, Юрий Николаевич, не то, — разочарованно произнесла Надежда Павловна. — Не советы нужны и не рекомендации. Не в деталях дело. Нужна точка отсчета, твердь, на которую опереться можно. Тогда и видно будет, где реальность и где фантом.

## 18 ноября

С тяжелым чувством я пошел на репетицию. Мне очень не хотелось на нее идти. Не хотелось возвращаться в прошлое. Его интерпретация в пьесе Вадима не вызывала у меня интереса. Время для выяснения с ним отношений давно миновало. И все-таки я пошел на репетицию, пошел ради актеров, которым нужна была «точка отсчета и твердь, на которую опереться можно».

Сарский драматический театр был единственным зданием в городе, которое поддерживалось в образцовом состоянии. Безусловно, особой заботой властей пользовалось здание бывшей городской думы. Но оно многократно перестраивалось, приобрело тяжеловесность сталинского стиля, «украсилось» аляповатой лепниной и гигантским советским гербом. Главное же — в облике бывшей думы появилось что-то казенное, бездушное, потусторонне-зловещее. Дворец начала XIX века уже не воспринимался как памятник архитектуры. Подобно мифической химере, соединив в себе несоединимое, он выглядел пугающим монстром. В отличие от него городской театр сохранился в своей первозданной красоте. Богатые сарские купцы, построившие его в середине прошлого века, не стремились поразить воображение размерами здания. Скромные масштабы провинциального города требовали соответствующих пропорций. *Quod licet Jovi not licet bovi*. (Что подобает Юпитеру, не подобает быку.) Сарск — не Петербург и не Москва. Не страдая гигантоманией, купцы, однако, не пожалели средств на отделку и украшение театра. Получился маленький шедевр, миниатюрный трехъярусный театр, блистающий позолотой, с удобными красивыми креслами, с великолепной акустикой.

Обосновавшиеся в городской думе новые власти, одержимые страстью разрушения, в данном случае проявили непоследовательность, но в этом была своя элементарная логика: они, видимо, следовали примеру московских вождей. Им нужна была витрина, а в Сарске, кроме Преображенского собора и театра, ни одной достопримечательности не было. Поэтому с завидным упорством каждый год перед началом сезона театр красили и золотили. Это имело, конечно, и идеологическую подоплеку. Как явление дохристианское, языческое, театр мог быть использован для борьбы с влиянием Церкви. Не думаю, однако, что власти предержавшие думали столь изощренно. Театр их интересовал, разумеется, не как высокое искусство а как средство примитивной пропаганды. По крайней мере так было до сих пор. Но вот появляется пьеса Вадима, полемизирующая с христианством с позиций не топорного марксизма, а утонченных неоплатонических идей (этого я, во всяком случае, ожидал), и власти дают согласие на ее постановку! Ведь не могла же труппа начать ее репетицию просто так, ни с того ни с сего, только по собственному желанию, без согласования со множеством инстанций. А если те дали согласие, значит, сделали это с умыслом.

Я предчувствовал, что в театре меня ждала западня. Так оно и случилось. Когда я вошел в зал, репетиция уже началась, но Надежда Павловна, произносившая в этот момент на сцене реплику, оборвала ее на полуслове. «Отец Иоанн!» — воскликнула она. Находившиеся на сцене актеры повернулись ко мне, а зрители — их было всего несколько человек — встали. И сразу же я почувствовал легкий озноб, почувствовал еще до того, как увидел ее. Словно разряд электричества ударил меня в затылок и затем, вибрируя, прошел по позвоночнику. Так было и в день нашего знакомства много лет назад. А потом наши взгляды встретились, на один только миг... И за этот миг мы сказали друг другу все, что можно было и что нельзя было выразить словами. В ее взгляде я не увидел упрека, а только щемящую боль и горькое сожаление, что все сложилось в жизни так, а не иначе. Наша встреча десять лет назад не была для нее мимолетным эпизодом, она перевернула

всю ее жизнь, так же как и мою. Мы поняли оба, что драма не закончилась, что нынешняя встреча является лишь прологом нового акта трагедии, финал которой будет иным, чем в пьесе Вадима, — он конечно же так ничего и не понял.

Юрий Николаевич усадил меня в первом ряду. Он представил меня автору:

— Настоятель местного храма. Но вы, вероятно, знакомы?

— Мы знакомы, — сухо заметил Вадим. Репетиция возобновилась, вернее, только теперь она и началась — до этого происходила отработка отдельных эпизодов.

Наташа сидела через несколько рядов сзади меня. Я не мог видеть ее, но явственно ощущал ее присутствие. Было такое чувство, что за мной разверзается бездна и непреодолимая сила влечет меня в нее.

А на сцене между тем происходили события, главные участники которых находились в зрительном зале. Странная, ирреальная, фантастическая ситуация!

Я узнавал в действующих лицах своих соучеников и преподавателей. На сцене разыгрывались знакомые мне эпизоды. Наконец, за магической чертой, разделяющей сцену и зрительный зал, в ином пространственном и временном измерении я видел самого себя. Мое другое «я» нашло свое воплощение в Викторе — так в последний момент решил Юрий Николаевич, под давлением Вадима передавший его роль другому актеру. Внешность шута не подходила для положительного героя, совершенного во всех отношениях! Но для того, кого хотел развенчать автор пьесы, она была находкой. Комический эффект, на который рассчитывал Вадим, однако, не получился. Комедийный дар актера лишь усилил трагическую напряженность образа, сделав его более ярким и выразительным.

Наблюдая за моим двойником на сцене, нельзя было не поразиться феноменальной памяти Вадима, с компьютерной точностью фиксирующей все, что связано с моей личностью, как будто она имела для него онтологическое значение, будучи необходимой, как воздух, как вода, необходимой для того, чтобы, споря со мной, опровергая и отрицая меня, он мог утверждать свое «я».

Парадокс, однако, заключался в том, что спорил Вадим не со мной, опровергал и отрицал не меня. Познакомившись с его пьесой, я в этом еще раз убедился. Заложив в компьютер своей памяти мои слова, он не понял их смысла и не постиг самого сокровенного во мне, так что боролся по сути с призраками, с ветряными мельницами. Куда глубже «схватил» меня Виктор. В его интерпретации мои слова, механически зафиксированные Вадимом, вдруг ожили, и это возмутило и напугало автора пьесы. Он ерзал на кресле, разводил руками, бросал какие-то резкие реплики сидевшему рядом с ним Юрию Николаевичу. Что же, Вадима можно было понять. Он, выражаясь его терминологией, «снял» меня, расчленил, разложил на составные элементы и разоблачил перед всем миром. И вдруг все эти составные элементы, столь тщательно разложенные им по полочкам, опять перемешались! Вновь возникла возмутительная неопределенность!

Впрочем, игра Виктора смутила и меня. Ему, конечно, и в голову не могло прийти, что в этой пьесе Вадим сводит счеты со мной и я являюсь прототипом того героя, роль которого ему поручено исполнять. Но по случайному стечению обстоятельств мы встретились с ним в областном центре, эта встреча имела продолжение. И вот, работая над образом своего героя, в силу неведомых мне причин Виктор решил ориентироваться на

меня. Он тщательно копировал мои интонации, жесты и мимику. Представляю, какую реакцию это вызывало у Вадима! И если бы только все сводилось к мимике и жестам! Оставаясь в полном здравии, я видел самого себя воплощенным во плоти другого человека и существующим независимо от меня.

Образ Вадима получился аморфным и блеклым. Трудно было упрекать в этом актера, которому выпало на долю произносить плоские сентенции, напыщенные и сентиментальные фразы. Если бы он обладал более сильным характером, чтобы противостоять давлению автора, или комедийным талантом Виктора, образ мог бы получиться ярким и гротескным. Но именно этого и не хотел Вадим, упорно добивавшийся и добившийся того, чтобы Виктору дали другую роль.

С образом Наташи (в пьесе она выступала под именем Ариадна) также происходили чудесные превращения. Вадим попытался представить ее как наивную Офелию, невинную Гретхен. Но отдельные реальные эпизоды и фразы все-таки прорывались сквозь сито, через которое автор процеживал прошлое, и вступали в противоречие с этим идеальным образом, что сразу же почувствовала его исполнительница — Надежда Павловна. Усмирить ее было еще труднее, чем Виктора.

Таким образом, у Вадима было достаточно оснований выразить недовольствие игрой актеров. Пьеса трещала по швам. А ведь, казалось бы, все было скрупулезно продумано и разложено по полочкам, все объяснено, оправдано то, что нужно было оправдать, и осуждено то, что требовало осуждения. И вдруг никудышные провинциальные актеришки, не считаясь с замыслом автора, все переделывают и перекраивают по-своему, внося дисгармонию и хаос туда, где были идеальный порядок и абсолютная ясность.

Значительную часть первого акта, вяло текущего и практически лишнего действия, занимали философские диалоги Вадима со мной. Но то, что в наших беседах десять лет назад Вадим выражал поэтическими образами и неясными намеками, теперь в пьесе приняло форму завершенной неоязыческой, пантеистической концепции. Земля-Гея с мыслящим ядром, живой и разумный Космос, вселенская симпатия, мировой Нус-Разум, растворенный в природе... Вадим, рисуясь, проводил параллель между собой и Джордано Бруно. Место инквизиции, естественно, занимала преподавательская корпорация Духовной академии. Весьма сомнительная роль при этом отводилась мне.

Второй акт был посвящен нашей с Вадимом поездке на остров Ариерон, который в пьесе превращается в Валаам. О поруганных святынях острова упоминается как бы мимоходом, вскользь. Получалось, что монастырь и скиты вроде бы и были там и в то же время их словно никогда и не было. Молитвенный восторг у автора вызывали не эти святыни, а красоты суровой природы Ладоги. И вот тут-то, собственно говоря, и начинается действие, сразу же достигающее своей кульминации. Праздношатающиеся семинаристы знакомятся с двумя девицами. На них они обратили внимание уже давно, но никак не могли найти подходящего повода для знакомства. Помогла Ладога. Флотилия лодок отправилась от пристани Голубого Скита к острову Иоанна Предтечи. При возвращении Ладога неожиданно взбурлилась. Поднялись волны, настоящие морские волны, которые разметали флотилию. Случайно, а может быть не совсем случайно, семинаристы оказались недалеко от лодки, где сидели те самые девицы, с которыми им так хотелось познакомиться. Девицы выбились из сил и были в отчаянии. Автору пьесы непременно нужно было поставить их в ситуацию смертельной опасности, чтобы главный герой, то бишь сам Вадим, мог, рискуя жизнью, спасти свою Офелию. Он перепрыгивает к ней в лодку, садится за весла и благополучно приводит судно в бухту острова Иоанна

Предтечи — до Валаама путь был бы более долгим и опасным. Что касается его друга, то он, оставшись в своей лодке, следует за главным героем.

Поскольку передать этот эпизод сценическими средствами было невозможно, он пересказывается и бурно обсуждается его участниками уже на берегу, где и происходит действие второго акта. После того как воздается должное мужеству главного героя, он начинает читать свои стихи, очаровывая дам своим поэтическим талантом, интеллектом и философской глубиной изрекаемых им сентенций. Офелия тает от умиления — наконец-то она нашла своего избранника! Но вот тут в действие вступает второй семинарист, до сих пор игравший роль статиста, предназначенного только для того, чтобы выслушивать монологи своего друга. Он не тратит время на велеречивые излияния и, оставшись наедине с Ариадной, сразу же ставит ее перед дилеммой: или ты отдаешься мне, или я постригаюсь в монахи. Доброе сердце Офелии, конечно, уступает. Добившись своей цели, коварный искуситель, погубивший невинность и осквернивший святое место — вот для чего Вадиму понадобился Валаам, — рано утром тайком покидает остров.

Следующий акт вновь происходит в семинарии. Герой, прототипом которого явился я, ради церковной карьеры принимает монашество, а преданный ему друг, разочаровавшись в христианстве, находит новые светлые идеалы и порывает с Церковью.

Последний акт, в котором я, уже в сане епископа, вновь должен встретиться с Ариадной, мне посмотреть так и не удалось. На сцене разразился скандал. Он назревал с самого начала репетиции, назревал неумолимо. Присутствие в зале трех главных действующих лиц пьесы вывело Вадима из равновесия. Он был недоволен всем. Однако больше всего ему не нравилась игра актера, исполнявшего его роль. Сначала он делал замечания Юрию Николаевичу, затем стал кричать на сцену:

— Бледно! Бесцветно! Больше эмоций!

Затерроризированный актер поддавал жару, впадая в невообразимую патетику, — получалось еще хуже. Виктор, которому предназначалась роль статиста, а потом вдруг коварного искусителя, не хотел быть ни тем, ни другим. Ограниченный словесным текстом, он мастерски пользовался языком мимики и жестов, порою, правда, позволяя себе произносить и не предусмотренные автором реплики. И тогда Вадим взрывался.

— Прекратите нести отсебятину! — кричал он.

Дерзко и вызывающе вела себя Надежда Павловна. Ей почему-то не хотелось быть Офелией и смотреть восторженными глазами на главного героя.

И вот терпение Вадима окончательно лопнуло. Он выбежал на сцену и гневно воскликнул:

— Все! Хватит! Это не спектакль! Это не пьеса! От моей пьесы ничего не осталось! Пьеса — единая, законченная вещь, а не набор эпизодов, где каждый актер делает то, что ему вздумается. Юрий Николаевич, меня удивляет ваша позиция! Мы же с вами все обговорили, согласовали концепцию. А теперь вы вдруг от всего самоустраились и все пустили на самотек. Я не в первый раз здесь на репетициях. Вы умеете наводить порядок на сцене. Почему же сейчас актерам позволено творить все, что им взбредет в голову? То, что происходит здесь, — заговор, заговор против меня и моей пьесы!

В ответ на это обвинение Юрий Николаевич не произнес ни слова. Он как сидел, так и продолжал сидеть в кресле в первом ряду, со скрещенными на груди руками, и спокойно смотреть на сцену, как будто спектакль продолжался. А раз так, дело было за актерами, и они не замедлили вступить в действие.

— Вадим Александрович, давайте по порядку, — заявила Надежда Павловна. — Какие у вас претензии персонально ко мне?

— Как будто вы не знаете! Как будто мы не говорили об этом! Но я могу еще раз повторить. Ариадна, образ которой вы должны исполнять, у меня не такая!

— А какая?

— Повторяю в десятый раз: чистая, светлая, наивная, готовая к самопожертвованию...

— Ба-ба-ба! И у вас она не такая.

— Любопытно. Какая же она у меня?

— Сама не пойму. Или дура набитая, или хищница. Скорее всего хищница.

— Да с чего Вы это взяли?

— Из пьесы. Про бурю на Ладоге хорошо придумано. Но этот трюк не спасает вашу героиню. Она и без бури осталась бы с вами на необитаемом острове и соблазнила бы мальчика, которого играет Виктор, ведь это она его соблазнила, а не он ее.

— Надежда Павловна, в данном случае я ничего не придумывал, за исключением, может быть, Ладоги и бури. Остальное все взято из жизни. Все так и было. Есть свидетели этой сцены.

— Значит, врут свидетели. Видимо, есть у них основания вводить вас в заблуждение.

— Что же, самому себе я не должен верить? — возбужденно спросил Вадим и, видимо, тут же пожалел об этом. Надежда Павловна немедленно среагировала на его оплошность:

— Это уже интересно. Вы что же, сами были на необитаемом острове? Кем же из двух?

— Угадайте.

— Тут и угадывать нечего — тем, к кому вы благоволите, тем занудой, на которого я должна смотреть влюбленными глазами.

— Ну, это уже слишком. Работать с такими актерами я не могу и не хочу. Я забираю свою пьесу. Идем, Наташа!

Я невольно оглянулся. Наташа смотрела куда-то перед собой непроницаемым взглядом, смотрела не на Вадима, не на актеров, не на меня и, казалось, не слышала

возникшей перебранки, касавшейся прежде всего ее самой и той роли, которую она сыграла в моей судьбе и судьбе Вадима. В этот миг она была далеко отсюда, от театра и пьесы. На лице Наташи не было ни малейшего смущения. И лишь на губах у нее блуждала загадочная улыбка.

Я направился к выходу, но Юрий Николаевич жестом попросил меня задержаться, а затем пригласил к себе в кабинет. Плотно закрыв за собой дверь и почему-то понизив голос, он произнес:

— Прошу простить меня за то, что произошло на репетиции, но я лично рад такому развитию событий. Накануне я принял твердое решение отказаться от постановки пьесы Вадима Александровича. Да, да, отец Иоанн. И принял я это решение после того, как мне стало известно о подготовке против вас бесчестной акции. Подозрения, что здесь не все чисто, у меня возникли сразу же. Мне дали зеленый свет. «Это можно?» — «Можно». — «А это можно?» — «Можно». — «А что нельзя?» «Все можно». Но вы же знаете, что у нас так не бывает. Значит, есть какой-то подвох. Это меня очень обеспокоило. Конечно, весьма заманчиво поставить спектакль, в котором все можно. Но уж очень не хочется быть пешкой в неясной для меня и явно нечистой игре, потому что от людей, которые оказались вовлеченными в нее, ничего хорошего ожидать нельзя. А вчера для меня все стало понятно. Вадим Александрович, изрядно подвыпив — а в последнее время он стал злоупотреблять этим, — признался, что прототипом епископа являетесь вы. «Вот оно в чем дело, — подумал я. — Наконец-то раскрылась интрига. Вадим Александрович выполнил свою роль — написал пьесу, теперь дело за мной. Я должен ее поставить и обеспечить ей шумный успех. Когда же общественное мнение будет в достаточной степени подогрето, взрывается небольшая бомбочка: герой пьесы, растлитель невинной девицы, бездушный карьерист и ханжа — не кто иной, как настоятель храма Преображения в городе Сарске иеромонах Иоанн!» И тогда я решил: в этой игре не участвую. Но как выйти из нее? Ссориться с могущественными силами, вовлеченными в интригу, сами понимаете, опасно. Ведь они потом стерли бы меня в порошок вместе с трупшой. И вдруг такой подарок судьбы! Вадим Александрович сам забирает свою пьесу! Актеры ничего не подозревали, но они нутром, с помощью данного от Бога таланта поняли всю ее фальшь. Я счастлив, отец Иоанн, что не смогу поставить спектакль, в котором мне впервые было позволено делать все, что захочу. Я рад, что избежал искушения.

— Но ведь те могущественные силы, о которых вы говорили, могут побудить или заставить Вадима Александровича вернуться в театр со своей пьесой.

— Я уже думал об этом. Скорее всего такие попытки будут предприняты, но вряд ли они возымеют успех. Сегодня на сцене были затронуты слишком важные вещи для Вадима Александровича. Он написал эту пьесу, как я понимаю, чтобы оправдать себя и разделаться с вами. Однако теперь он, видимо, осознал, что пьеса может бумерангом ударить по нему самому, и ударить больнее. Он не хочет терять свою Наташу... Впрочем, не знаю, может быть, у тех, кто дергает за веревочки, есть более сильные средства воздействия на него...

## *19 ноября*

Наташа! Моя несмолкающая боль, кровоточащая рана! Мое искушение! Моя судьба, мое самоотречение! Моя тайная радость, мой позор, мое унижение! Орудие дьявола и тяжкий крест, посланный мне Богом! Моя жертва и слеза, обжигающая мое сердце!

Я знаю, что делать, когда искушение подбирается ко мне, обволакивает пьянящим дурманом и размягчает волю. Нужно сконцентрироваться на молитве, собрать мысль и волю в единый пучок. Я научился это делать, научился управлять собой. Пройдет несколько минут, и я снова буду в порядке. Но мне не хочется этого делать. Я сознательно ослабляю поводья и отпускаю свою мысль на свободу.

Наташа! Наташа! В чем смысл нашей сегодняшней встречи? Так же как и предыдущая, она конечно же не случайна. Та изменила течение моей жизни... Какой же поворот ждет меня сегодня?



## 20 ноября

Мы с Вадимом давно вынашивали мысль о поездке по северным монастырям. Это, правда, были мечты и грезы. И вдруг действительно такая возможность представилась нам. Отец Вадима подарил ему старый расхлябанный «Москвич», но для нас это был царский подарок! Тут же было решено воплотить в жизнь наше заветное желание.

Получив благословение семинарского начальства, ранним августовским утром мы выехали из Загорска. Переславль-Залесский, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Ярославль, Вологда, Кирилло-Белозерский монастырь — таков был наш маршрут. Мы посещали храмы и монастыри, приходили в восторг от сохранившихся в них фресок, любовались русской природой, спокойной, уравновешенной, навевающей умиротворение, и удивлялись тому, как органически вписывались в нее милые сердцу церквушки и монастырские строения. Конечно, все это звучит банально, но сколько раз в жизни я убеждался, что самые сильные чувства в сущности банальны. Бурлившая в нас молодая энергия усиливала и обостряла наши впечатления. Наконец, нас пьянила свобода. Как бы ни относиться к внутреннему распорядку в семинарии, но сравнения с казармой не избежать. Мы вырвались на свободу, и автомобиль, каким бы убогим он ни был, доводил до сладостного и соблазнительного предела ощущение независимости. Нам не хотелось сковывать себя строгим расписанием и определенными маршрутами, нравилось неожиданно менять решения и ехать совсем не туда, куда мы только что предполагали направиться. В конце концов мы на все махнули рукой и поехали наугад, не глядя на карту и не обращая внимания на указатели. Нетрудно догадаться, к чему все это должно было привести.

Следуя своему мимолетному капризу, мы съехали на грунтовую дорогу. Стояли очень теплые и сухие дни. Дорога была ровной и гладкой - ехать по ней было приятнее, чем по асфальту. Она петляла под кронами деревьев, вплетаясь в запутанный лабиринт сумрачных лесных коридоров. Через несколько часов стало очевидно, что мы безнадежно заблудились. Бензин был на исходе. Заправиться было негде и не к кому было обратиться за помощью. Хотя дорога и выглядела хорошо наезженной, мы не встретили на ней ни одной машины.

Вот тут-то и начались чудеса, о которых не решился поведать Вадим в своей пьесе. Указатель уровня бензина упал до нуля, а машина продолжала ехать. Прошло не меньше часа. Какая-то неведомая сила тащила машину. Вадим даже не нажимал на газ, он лишь рулил, поворачивал направо или налево. Но и тут я не уверен: сам ли он принимал решение о том, куда ехать?

Стемнело. Мне показалось, что от нашей машины исходит необычное голубоватое свечение.

Мы выехали на открытую местность.

— Смотри, смотри! — воскликнул Вадим. — Смотри на небо! Прямо перед собой!

Небо было усыпано яркими звездами, но среди них выделялась одна. Подобно нам, петлявшим по лабиринту дорог, она двигалась впереди нас, постоянно меняя траекторию и скорость, выписывая на небе загадочные узоры. Это не мог быть ни искусственный спутник Земли, ни самолет. Так что же это такое? Вдруг звезда стремительно полетела вниз. В тот же миг машина стала, и никакими усилиями завести мотор мы уже не могли.

Я не склонен мистифицировать этот эпизод, готов допустить, что с указателем уровня бензина произошла неполадка — автомобиль был старенький и никудышный. Кстати говоря, и все другие стрелки на табло дергались и скакали. Я готов был бы согласиться и с тем, что неопознанный летающий объект, тащивший нас целый час по лесной дороге, привиделся мне (и Вадиму тоже!), если бы не все последующие события.

Когда мы убедились в том, что наша машина стала, и стала окончательно, нам ничего не оставалось, как выйти из нее. И тогда нашим глазам предстало удивительное зрелище. Звезды перед нами мерцали и пульсировали. В их сиянии проявлялись разноцветные отблески, они искрились всеми цветами радуги. Вадим достал бинокль, и, глядя в него, мы убедились, что это не обман зрения — в сиянии звезд отчетливо различались красные, голубые, синие, зеленые огоньки. С небольшими интервалами перед нами пролетали звезды, причудливо менявшие свою траекторию подобно тому неопознанному объекту, который следовал перед нашей машиной, а возможно, и завлек нас в это загадочное место. Иногда такие звезды появлялись стайками, и они словно резвились или исполняли в небе фантастические танцы. Порой они садились на землю. Однажды из того места, куда опустилась звезда, нас осветил яркий голубоватый луч, но он тут же погас. Сначала мы решили, что это свет фары автомобиля или скорее мотоцикла, поскольку луч был один, и несколько воспрянули духом — есть возможность раздобыть, если не сегодня, так завтра утром, бензин. Однако потом, уже на следующий день, мы убедились, что никакого автомобиля или мотоцикла в этом месте не было и быть не могло.

Ночью заснуть нам так и не удалось — невозможно было отвести глаз от таинственного, играющего, живого неба. А как только стало светать, мы обнаружили, что находимся рядом с большим озером, посередине которого виднелся зеленый остров. Судя по всему, именно на него и опускались «неопознанные летающие объекты».

Утомленные дорогой и слишком необычными впечатлениями, мы решили отложить обследование местности, разбить палатку и немного поспать.

Я заснул сразу же, как только положил голову на подушку. Сон был глубоким, без сновидений и, казалось, продолжался одно мгновение. Проснулись мы с Вадимом одновременно. Нас разбудил женский смех, визг и плеск воды. Выглянув из палатки, мы увидели двух девушек, купающихся в озере. Это было столь неожиданно и столь несовместимо с ночными видениями, что воспринималось как нечто ирреальное. Я бы скорее согласился поверить в то, что вижу перед собой обнаженных нимф или русалок. Вадим был поражен, по-моему, не меньше, чем я. Он машинально схватился за лежавший рядом бинокль, который через некоторое время передал мне. И я, приняв бинокль, без всякого стыда и смущения поднес его к глазам. И вот тут я испытал шок. Озноб пробежал по позвоночнику. Голова закружилась. Я почувствовал, что теряю над собой власть. Первобытные звериные инстинкты проснулись во мне, и сладостное неукротимое влечение овладело мной. Это было безумие, но я не мог и не хотел сопротивляться ему. Казалось, величайшая тайна находилась совсем рядом. Она была вне абстрактной умозрительности, имела живую плоть и кровь, ослепительную золотистую кожу с легким пушком, на котором искрились перламутровые капельки воды, — все эти волнующие подробности хорошо были видны в бинокль.

Да, да, величайшая тайна (и она же величайшее блаженство) заключалась в этой живой плоти, в ее упоительных округлых формах и соблазнительной ложбинке между ними. И как все было просто! Тайны можно было коснуться, ее можно было крепко-

крепко прижать к себе, замирая в экстазе, проникнуть, войти в нее и полностью слиться с ней.

— Одна из них очень даже ничего! — произнес Вадим.

«Какая же?» — подумал я и только тогда осознал, что «величайшая тайна» присутствует передо мной в двух воплощениях, что таких воплощений может быть бесчисленное множество, а если так, то, возможно, и тайны здесь никакой нет, и «величайшего блаженства» тоже. Такое заключение несколько отрезвило меня, но шок, который я испытал, столь быстро пройти, конечно, не мог.

И тут Вадим произнес вещую фразу:

— Да, скучать нам здесь, видно, не придется.

Поэты — народ своеобразный и, как я смог убедиться, обладают часто незаурядной практической сметкой. Это блестяще подтвердил Вадим второй фразой, достойной быть увековеченной в сборнике афоризмов:

— Здесь должно быть все, что необходимо на потребу: еда, девушки и бензин.

Еда в несложной системе приоритетов поэта оказалась на первом месте, а бензин все-таки на третьем. Девушки завершили свое омовение и, так и не обнаружив нашего присутствия, удалились, а мы, наскоро перекусив, направились обследовать загадочное место, в котором неожиданно для себя оказались. При дневном свете ничего загадочного в нем как будто и не было: озеро как озеро, остров как остров, обычный смешанный лес, только не загаженный пока цивилизацией. Мы побрели вдоль берега и вскоре подошли к лодочной пристани. Смешно, конечно, было называть ее пристанью, ибо представляла она собой три доски на деревянных сваях. И тем не менее к ней цепью была привязана лодка — значит, все-таки пристань.

В лодке сидел мужчина неопределенного возраста, одетый, несмотря на теплый день, в телогрейку. Вряд ли это был местный житель, внешнею он походил на цыгана — густая черная борода, лохматые кудрявые волосы, нос с горбинкой, в ухе серьга, колючий, пронизывающий взгляд.

— Добрый день, — сказали мы с Вадимом, подойдя к пристани.

— Добрый день, — сверкнув золотыми зубами, с усмешкой ответил лодочник. — Долго спите.

— А вы откуда знаете о нашем приезде? — спросил Вадим.

— Еще бы не знать! Такого шума наделали своей колымагой!

— Колымага у нас старенькая, да удаленькая! Полсотни километров проехали без бензина.

— При чем тут колымага? Не иначе — тащил ее кто-то.

— Кто?

- Тот, кому нужно. Откуда мне знать? Я человек маленький.
- Вы местный житель?
- Как тебе сказать... Свободный я человек. Нынче здесь, завтра там.
- Служите тут?
- Служу. Перевозчиком. Работенка несложная, но ответственная. На остров перевожу...
- Кого?
- Кого следует.
- А кого следует?
- Ну, это не нашего ума дело.
- А почему вы свою работу ответственной назвали?
- Потому что ответственная она. Мало ли что может случиться...
- Любопытный остров.
- Любопытный...
- У него и название есть?
- Как же без названия? Ариерон.
- Странное название.
- Чего в нем странного? Название как название.
- Интересно, из какого языка оно пришло... Цыган-перевозчик усмехнулся.
- Понятия не имею. Я человек темный. Но Константин наверняка знает.
- Кто такой Константин?
- Археолог. Он здесь раскопки ведет. Ученый человек! Все знает. Его, правда, сейчас нет. Уехал на конференцию. Здесь только две его ассистентки: Наташка и Лада. Вон их лагерь.
- Лодочник кивнул в направлении стоявших невдалеке вагончиков — а мы-то с Вадимом и не заметили их — и хитро подмигнул нам.
- Как бы нам на остров перебраться? — спросил Вадим.
- Нет проблем, — ответил перевозчик, — для того и сижу здесь. Такая у меня служба.

- Можно садиться?
- Погоди, не сейчас. В шесть часов пополудни приходите.
- Почему в шесть?
- Все должно идти по расписанию.
- Какое тут расписание! Все равно без дела сидите. А так отвезли бы нас. Десять минут туда, десять обратно. Ничего за это время не случится.
- Нельзя, братец. Все должно идти своим чередом.
- Даже здесь бюрократические порядки!
- Это ты напрасно. Порядок есть порядок. Отступи от него в каком-нибудь пустяке, и все пойдет кувырком. Так что приходите в шесть часов.
- Как звать-то вас?
- Арием.
- Как-как?
- Арием Михайловичем.
- Это в честь какого же Ария? — переглянулся со мной Вадим.
- В честь деда.
- А деда в честь кого так прозвали?
- Его деда. Это у нас семейная традиция.
- Стойте! Вы знаете, как Ариерон переводится? Святылище Ария!
- Может быть... Об этом Константина надо спрашивать. Константин все знает.
- Хорошо, Арий Михайлович, в шесть часов мы будем здесь.
- В шесть ровно. Не жду ни минуты. Нетрудно догадаться, куда мы направили свои стопы, простившись со странным лодочником, — конечно же в лагерь археологов или, вернее, археологинь, а еще вернее, очаровательных, соблазнительных нимф. Лагерь состоял из нескольких вагончиков, разрисованных, нужно полагать, студентами. На одном из них был изображен костер, а над ним — огромный котел. Вокруг костра прыгали черти. Сверху было написано: «КУХНЯ». На соседнем вагончике с надписью «КЛУБ» доморощенные художники нарисовали танцующих обнаженных девиц в стиле Матисса. Был тут и вагончик-музей; украшенный изображениями архаических каменных болванов, и административный вагон. На последнем в позе «Мыслителя» Родена был представлен мужчина средних лет с мощным сократовским лбом. Надпись над ним гласила: «КОНСТАНТИН». Два-три вагончика использовались, судя по всему, в качестве спален.

Около кухни мы увидели пленивших наши сердца нимф. И вновь я испытал шок. И вновь холодная молния пронзила мой позвоночник. И жаром пахло на меня, как будто бы от костра, на котором черти грели свое адское варево.

Мы подошли к хозяйкам лагеря.

— Здравствуйте, девочки! — непринужденно и весело воскликнул Вадим, а вслед за ним и я с трудом выдавил из себя приветствие.

Девушки удивились нашему появлению, но ничуть не смутились, хотя одеты они были более чем свободно — узкие полоски материи на груди и бедрах с трудом можно было принять за купальники. Тут же состоялось знакомство. Девушек, как уже сообщил нам Арий Михайлович, звали Наташей и Ладой.

Вадим начал с увлечением рассказывать о путешествии на нашем «Пегасе» — оказывается, старая развалина, на которой мы приехали сюда, называлась «Пегас». Слова, произносимые Вадимом, доносились до меня откуда-то издалека и с трудом пробивались в мое сознание. Оглушенный, я не совсем понимал, что происходит. В смущении я сначала боялся поднять глаза, но потом уже не мог оторвать их от очаровательных фей, пока не понял, что смотрю, собственно говоря, лишь на одну из них и, чем дольше смотрю, тем больше пьянею. Она была умопомрачительно красива. Темные волосы и голубые глаза, классически правильные черты лица — выражение того удивительного совершенства, которое дает смешение славянского типа с восточным, греческим и армянским. Для ее облика и манеры держаться была характерна мягкость и деликатность, особая изысканная утонченность, за которой скрывалось, однако, нечто неподвластное рассудку, дразнящее, вакхическое. Конечно же Наташа не могла не заметить тех восторженных взглядов, которые я бросал на нее, и, видимо, чтобы не травмировать меня, избегала обращаться ко мне и разговаривала в основном с Вадимом, что и явилось главной причиной сразу же возникших роковых недоразумений в отношениях между нами троими.

Девушки усадили нас за длинный деревянный стол и напоили чаем из самовара. Вадим начал читать свои стихи. Он был в ударе. Голос его звучал то бархатисто-мелодично, то с хрипотцой, выражавшей высшую степень возбуждения. Девушки, как и следовало ожидать, были очарованы им.

Время между тем приближалось к шести часам. Наташа и Лада охотно согласились сопровождать нас на остров, предупредив, что опаздывать ни в коем случае нельзя, поскольку Арий Михайлович очень капризен.

Вадим возмутился:

Это, что же, и вся его работа — раз в неделю перевезти кого-нибудь на остров?

.— Да, — ответила Наташа.

— Но деньги кто-то ему платит?

— У нас он оформлен на полставки. Говорят, служит еще в каком-то секретном ведомстве. А может быть, это просто пустые разговоры.

— Вам-то он зачем нужен?

— Как же! Мы ведь ведем раскопки на острове.

— Ну, так приобрели бы лодку и ездили бы сами на остров когда вздумается, без всякого расписания.

— Константин считает, что удобнее пользоваться услугами Ария Михайловича.

— Ерунда какая-то. И что за секретное ведомство может иметь тут свои интересы? Хотя... Пойдите! Неопознанные летающие объекты! Может быть, это военные их запускают?

— Военные тут ни при чем, — ответила Наташа, но развивать свою мысль дальше не стала.

Мы подошли к пристани. Арий Михайлович сидел в лодке и уже потирал ладони.

— Все в сборе, — заявил он, — вот и хорошо. Можно отправляться.

Как-то так само собой получилось, что мы сели с Наташей рядом на заднее сиденье. А поскольку это сиденье было самым узким, наши бедра оказались тесно прижатыми друг к другу, однако теснее, чем к этому побуждала нас узость пространства. Вадим и Лада сидели напротив нас. Наташа разговаривала с ними, как ни в чем не бывало, а у меня все плыло перед глазами. Я почти не вникал в разговор, впервые в жизни полностью погрузившись в мир физических ощущений. Прикосновение упругого тела Наташи вызывало у меня целую гамму сладостных чувств. В какой-то момент лодка неожиданно резко покачнулась — мне показалось, что Арий Михайлович сделал это умышленно, — и тогда Наташа инстинктивно обняла меня, прикоснувшись своей грудью, а моя рука, оказавшаяся у нее на бедре, ощутила его упоительную упругость. Сквозь тонкую ткань платья я почувствовал волнуемое тепло ее безукоризненно гладкого тела. И приступ острого блаженства испытал я в этот миг.

Нет сомнений, что Арий Михайлович качнул лодку умышленно. Он видел меня насквозь. Ему словно доставляло удовольствие наблюдать, как омут искушения все глубже и глубже засасывает меня. А Наташа? Когда качнулась лодка, она лишь вскрикнула: «Ой!», а затем весело рассмеялась и продолжала невозмутимо беседовать с Ладой и Вадимом, как будто бы меня и не было рядом.

Но вот мы причалили к острову. Там была такая же пристань, как и на «материке»: три доски на деревянных сваях. Вадим первым взобрался на пристань. Он протянул руки нашим спутницам, и тут вновь меня ждало испытание — Наташа, пытаясь выбраться из лодки, высоко подняла ногу, платье взбилось вверх, и моим взорам во всей красе предстали ее ослепительные округлости. Арий Михайлович взглянул на меня и только крикнул.

Когда мы все оказались на берегу, перевозчик махнул нам рукой и тоном, не терпящим возражений, отчеканил:

— В восемь тридцать быть на пристани! Без опозданий!

Остров, на который мы вступили, производил загадочное впечатление. Фантастическое зрелище представляли растущие на берегу березы — изогнутые, перекрученные. В принципе здесь не должно было быть сильных ветров, которые могли

бы таким образом искорежить их. Видимо, это было связано с внутренней энергетикой острова. На корявых ветвях берез размещалось бесчисленное множество огромных черных гнезд. Воронье тучами носилось над островом, и немолчное карканье раздавалось над ним.

— Необычный остров, — сказала Наташа. — Его растительный мир уникален. Вон, посмотрите, гигантский папоротник! Где вы еще увидите такое в наших широтах! Некоторые растения здесь обладают удивительными целебными свойствами.

По узкой, чуть заметной тропинке мы поднялись на вершину невысокой плоской горы, которая, однако, возвышалась над всем островом. Имевший форму вытянутой подковы, он полностью просматривался отсюда. С вершины горы были видны на «материке» вагончики археологического лагеря и пристань Ария Михайловича.

— Вот мы и пришли на святилище, — сказала Наташа.

Я недоуменно оглянулся вокруг: лысая вершина горы и груды хаотически разбросанных камней.

— Ни за что не догадаться, да? — спросила Наташа и звонко рассмеялась. — Это святилище было обнаружено во время съемок со спутника.

Наташа вынула из своей сумки фотографии и показала нам.

— Вот так все это выглядит из космоса!

На снимках были видны озеро, остров в форме подковы, вершина горы, на которой мы находились. То, что нам представлялось хаотическим нагромождением камней, на фотографиях приобретало четкие очертания спиралевидного лабиринта.

— Ариерон, — сказал Вадим, — ведь это святилище Ария?

— Совершенно верно, — подтвердила Наташа. — Одна из ветвей арийского племени пришла сюда с Южного Урала и основала здесь удивительную цивилизацию. Она принесла с собой и культ своего предка Ария. Константин полагает, что ему удалось расшифровать найденные здесь надписи на керамике.

— О чем же повествуется в них?

— Так же как и микенские, они в основном хозяйственного содержания. Но есть одна поразительная особенность — найдены надписи с астрономическими наблюдениями. Константин убежден в том, что это городище было не только святилищем, но и древней астрономической обсерваторией. Видите гору на «материке»? На ней также навалена груда камней. Если отсюда провести туда прямую линию и продолжить ее, то она окажется строго ориентированной на центр Галактики. Вряд ли это случайное совпадение, потому что и другие ориентиры на острове и «материке», как доказал Константин, связаны с астрономическими наблюдениями. Кстати говоря, место, где мы сейчас находимся, есть не что иное, как «омфалос», «пуп», центр Земли.

— Такие «пупы», — заметил Вадим, — согласно древним поверьям, существовали и в других местах, например в Дельфах.



— Верно. Ариеронская цивилизация имеет сходство с микенской. Прямые аналогии можно найти в керамике, каменных статуэтках, изделиях из бронзы. Вот, глядите!

Наташа подняла с земли керамический осколок.

— Видите изображение свастики? Знак племени ариев. Свастика нередко встречается и на микенской керамике, и в греческой архаике. И дело тут не только во внешнем сходстве. Между двумя цивилизациями существовали прямые связи. Вы, конечно, слышали о гипербореях. Так вот, гипербореи жили здесь. Да, да, именно здесь родился белокурый Аполлон. Здесь укрывалась от гнева Геры его мать Латона. Отсюда священные процессии с дарами направлялись на остров Делос, в храм Аполлона. В Дельфах, в другом святилище Аполлона, действительно находился «пуп» Земли, но его происхождение вторично. И вот что интересно. Возникновение религиозных центров в том или ином месте никогда не бывает случайным. Это связано с энергетикой Космоса и Земли. По мнению Константина, такие центры появляются в местах выхода энергетических каналов, то есть в шамбалах. Однако в силу непонятных для нас причин шамбалы могут угасать. Тогда приходят в запустение святилища и умирают цивилизации. Это случилось в Дельфах, когда оракул объявил о смерти Пана, вселенского бога Природы. Энергетический источник там иссяк, а здесь, как видите, бьет через край.

— Но ведь святилище и здесь разрушено, — заметил я.

— Разрушено, но не умерло.

— Наташа, — сказал Вадим, — сегодня ночью мы были свидетелями странных явлений...

Наташа рассмеялась.

— Это по части Лады.

— Почему только моей, Ариадна?

— Ариадна?! — одновременно воскликнули мы с Вадимом.

— Да, у меня есть второе имя.

— Какое же из них настоящее?

— И то, и другое. ?!!

— По паспорту я Наталия.

— А второе имя?

— Это уже из другого измерения.

— Непонятно.

— Не ломайте голову, Вадим. Зовите меня Наташей.

Время летело быстро. Вадим украдкой поглядывал на часы. Я тоже. Приближался час, назначенный Арием Михайловичем. Ни у меня, ни у Вадима не было ни малейшего желания покидать остров. Наши спутницы, видимо понадеявшись на нас, на часы не смотрели. Когда же мы вспомнили о договоренности с лодочником, Ария Михайловича на пристани не оказалось. Наташа-Ариадна и Лада для приличия поохали и поахали, а потом согласились вместе с нами в справедливости древней сентенции: «Что Бог ни делает, все к лучшему».

Мы тут же сотворили импровизированный ужин. Провизия оказалась не только в сумке у предусмотрительного Вадима, но и у наших спутниц. Оставалось только найти место для ночлега, но мы об этом не думали.

Сгущались сумерки. Не только мы с Вадимом, но и Наташа с Ладой все чаще поглядывали на небо. Мы ждали встречи с загадочными блуждающими звездами, разумными и свободными, произвольно меняющими свою траекторию, не считаясь с законами трехмерного пространства, живущими своей, непонятной для нас жизнью. Конечно, что-то во всем этом смущало и тревожило меня. Какова природа этих явлений? Какие силы проявляют себя в них: света или тьмы, добра или зла? В Евангелии говорится о звезде, приведшей магов в Вифлеем для поклонения божественному Младенцу. Ее траектория, несомненно, была такой же свободной, как и той звезды, которая привела нас, а скорее даже притащила в Ариерон. Притащила! В том-то вся и разница! Вифлеемская звезда лишь указывала путь, и маги по собственной воле следовали за ней. А нас ариеронская звезда тащила, игнорируя нашу волю! Но может быть, она вовсе и не тащила нас? В таком случае какая существует связь между происходящими здесь аномальными явлениями и языческим капищем? Да при чем тут разрушенное языческое капище?! Стоит ли всерьез воспринимать своеобразное мнение очаровательной Наташи и мифического Константина? А что бы сказал в отношении всего этого мой духовник из лавры отец Кирилл? Бесовщина! От такой мысли мне сразу же стало нехорошо. Тревога моя не проходила, и все-таки сильнее всего было любопытство к происходящим здесь странным фантастическим явлениям и в не меньшей степени к находящимся рядом двум существам, созданным, как и я, из плоти и крови, но казавшимся столь же загадочными, как и блуждающие звезды.

Между тем отблески вечерней зари погасли на западе. В сгустившейся темноте безлунного неба ярко горели звезды. Но вот одна из них стала пульсировать, затем вторая, третья... Вскоре уже множество звезд искрилось разноцветными огнями.

— Мне никогда еще не приходилось видеть подобного зрелища, — сказал я.

— Пульсации звезд? — переспросила Лада. — Да, она впечатляет. Звезды разговаривают между собой. Это их язык. Как там у Лермонтова?.. «И звезда с звездой говорит». Но они разговаривают не только между собой. Они передают информацию своим контактерам в Космосе и на Земле.

— Контактерам?

— Всем, кто готов к общению с ними. Выберите какую-нибудь немерцающую звезду.

— Какую?

— Любую. Под каким созвездием вы родились?

— Рака.

— Отлично. Вот оно, видите? Оно не пульсирует. Смотрите теперь на него. Внимательно. Призывно. Можете воздеть к нему руки. Видите?!

К моему изумлению, созвездие Рака запульсировало.

— Оно отреагировало на призыв, — пояснила Лада, — и посылает вам информацию.

— Какую?

— Не знаю. Информацию, адресованную мне, я понимаю. А сейчас это созвездие говорит с вами.

— Но как понять его язык?

— Это придет. Не сразу, но придет. Это будет как откровение! Главное, есть контакт. Звезды реагируют на ваш призыв.

— Такой контакт возможен только здесь?

— Где угодно. Но здесь для него наиболее благоприятные условия. Естественный энергетический поток как генератор усиливает сигналы.

— Объясните мне тогда другое. Световые волны от этих звезд идут до Земли тысячи или даже миллионы лет. Реальное расположение звезд на небе совсем иное. Часть из них скрыта от нас за горизонтом, а некоторые светила и вовсе уже не существуют.

— Те, что не существуют, фантомы и не будут реагировать на ваши сигналы. Но существующих звезд энергетические импульсы в отличие от световых волн достигают мгновенно. И не имеет значения, где сейчас находится звезда, в пределах видимости или нет. Вы видите образ звезды, и по нему ваш сигнал найдет ее в любой точке пространства.

— Выходит, если звезда не пульсирует, она не существует?

— Отнюдь. Она может находиться в нерабочем режиме. И потом, у вас с ней должна быть совместимость.

Объяснения Лады казались вполне логичными. В самом деле, почему не может быть особой энергии, способной моментально достигать любой точки Вселенной? Тут я был готов с ней согласиться. Но вот ответная реакция! Она меняла все мои представления о мире. А что, если Лада, обладая сильным гипнотическим даром, внушила нам все это и на самом деле никакой ответной реакции нет? Тогда я сам, ни слова не говоря, выбрал наугад одну из неппульсирующих звезд и мысленно обратился к ней. Через несколько секунд она запульсировала. Потрясенный, я решил не делать поспешных выводов, понаблюдать за тем, что будет дальше, а потом все тщательно обдумать.

Пульсация звезд была для Наташи и Лады нормальным, обычным явлением. Напряженно вглядываясь в небо, они ждали чего-то иного.

— Вот он! — наконец воскликнула Лада. — Это Орион.

По небосводу быстро двигалась звезда. Ее полет походил на движение искусственного спутника Земли. Но вдруг звезда сделала резкий вираж, не мыслимый ни для естественных, ни для рукотворных небесных тел.

— Орион приветствует вас! — торжественно объявила Лада. — Он говорит, что прибытие на Ариерон — поворотное событие в вашей жизни. Отсюда ваши пути разойдутся. Ориончик, а что ты обо мне скажешь? Куда ведет мой путь?.. Смеется! Ну, хорошо, хорошо, возвращайся! Гедену привет!.. Сказал, что через три минуты вернется вместе с Геденом и Дориком. Они должны будут появиться вон там, на западе.

С изумлением мы с Вадимом молча наблюдали за этой сценой, не зная, как на нее реагировать. Что это, глупый фарс, розыгрыш? Или шизофренический бред?

Прошло три минуты, и на западе, там, куда указывала Лада, показались три звездочки. Они приблизились к нам и стали исполнять замысловатые пируэты прямо над нами.

Лада захлопала в ладоши.

— Bravo! Bravo! Ариадна, да это они ради тебя стараются. Геден и Норик явно к тебе равнодушны! Смотри, смотри, что делают! Bravo, Норик! Хорошо, хорошо, я все поняла. Ровно в двенадцать буду ждать Альфу.

Наши спутницы замахали руками улетающим звездам. Но в этот миг появилась еще одна.

— Гляди, Лада, — сказала Наташа, — какая-то новая девица прилетела. Серьезная! На нас внимания не обращает.

— Нет, она уже была здесь.

— Не помню что-то.

— Не отвлекай ее. Она работает.

— О чем вы говорите?! — не выдержал я. — Какие девицы? Какие ориончики и гедены?

— Вы не видите их? — искренне удивилась Лада. — Это операторы кораблей.

— Операторы? Кораблей?

— Ну да.

— Так, значит, там живые люди?

— Ну как вам сказать... Живые... Разумные... Имеющие облик людей... Это высшие существа, умеющие управлять собой. Они могут существовать в полевой форме и моментально переноситься в любую точку пространства, но могут проявлять себя и в биологических структурах.

— Зачем им тогда корабли?

— Корабли для них не столько транспортное средство, сколько энергетическая капсула. А летать в конце концов можно на чем угодно, даже на метле. Я шучу, конечно.

От этой шутки, правда, мне стало не по себе.

— Что, однако, эти высшие существа, — спросил я, — делают здесь? Ведь они прилетают сюда, наверно, не только для того, чтобы покрасоваться перед Наташей и пошутить с вами?

— Разумеется. Хотя пошутить они любят, а Гедеон и Норик действительно равнодушны к Наташе. Но вы правы — прилетают они сюда с другой целью, очень серьезной. Земля — невралгический узел Вселенной. В центре планеты находится живое, мыслящее, энергетическое ядро — недаром древние обожествляли Землю! От этого ядра энергетические каналы идут к земной поверхности, где расположены сверхчувствительные зоны — шамбалы. На Ариероне находится одна из них. Отсюда осуществляется информационный и энергетический обмен с Космосом. Здесь каждая точка строго ориентирована на тот или иной сектор космического пространства. Нарушение механизма энергоинформационного обмена чревато катастрофическими последствиями не только для Земли, но и для всей Вселенной. Вот почему здесь находятся Орион, Гедеон и Норик.

— Позвольте, Лада, — сказал я, — быть предельно откровенным. Как вы знаете, я православный христианин, и мне хотелось бы знать, какое место в ваших воззрениях занимает Бог и кто такие Гедеон и Норик, божественные ангелы или демонические духи.

Лада улыбнулась.

— Я ждала такого вопроса и столь же откровенно отвечу. Я верю в Бога, но не хочу ограничивать себя какой-либо одной религией или конфессией. Бог един, хотя у Него много имен: Саваоф, Иегова, Зевс, Перун. Догматические системы и мифы отражают лишь нашу меру познания Его Сущности. Что касается христианства, то я не отрицаю воплощения, распятия и воскресения Богочеловека. На одном из таких кораблей, которые летают здесь, Он был вознесен на Небо и реанимирован. Образно выражаясь, можно сказать, что сейчас Он сидит «одесную Отца», но только образно выражаясь, потому что Бог — это мыслящая Себя безобразная энергия, что, по-моему, не противоречит и вашей вере.

— Противоречит. Бог — не только энергия.

— Все понятно. Вы выносите Бога за рамки мира. Но Он весь в мире. Да, да, не возражайте. Вам пока еще не все открыто. Скоро вы убедитесь в моей правоте.

Спорить с нею было бессмысленно.

Время от времени по одной или стайками на небе появлялись летающие звезды и, словно красуясь перед нами, выписывали замысловатые узоры.

— А ведь это не просто танцы, — сказала Лада. — Они посылают нам знамения. Каждая фигура — круг, восьмерка, эллипс — имеет свой сокровенный смысл. Очень важно их сочетание. Они предвещают нам радость, боль, встречу и расставание. А если вы вдруг увидите, — при этом Лада почему-то обратилась ко мне, — как летящие рядом четыре звезды резко разойдутся в разные стороны, образуя крест, знайте, это к Голгофе.

Ровно в двенадцать часов на небе появилась Альфа. Она быстро скользила по небосводу и вдруг замерла у нас над головой. От звезды упал на землю луч. Светлое пятно скользнуло по острову, осветило нас и тут же пропало. Звезда устремилась вниз. У самой поверхности земли ее движение замедлилось, и она плавно приземлилась приблизительно в километре от нас. Вновь вспыхнул устремленный на нас луч и, словно убедившись, что мы на месте, погас.

Лада, впавшая в сомнамбулизм, с закрытыми глазами стояла перед нами, как каменное изваяние. Руки ее были обращены к приземлившейся звезде. Эта немая сцена продолжалась минуты три. Но вот Лада опустила руки и сказала:

— На рассвете в четыре часа я должна совершить коррекцию оси Земли.

— Коррекцию чего? — спросил я, не веря своим ушам.

— Оси Земли.

— Да как же вы будете делать это?

— Увидите. Коррекция будет совершена у вас на глазах. А теперь мы должны покинуть святилище. Альфа просит нас удалиться. Мы мешаем ей работать. Ее излучение для нас опасно.

Мы направились вниз и, пробираясь сквозь заросли берез, спугнули колонию ворон. Сначала вскрикнула одна из них, а затем тысячи летающих тварей почти одновременно поднялись в воздух. Их отвратительный крик, шум крыльев, треск ломающихся сучьев — все это взорвало ночную темноту и буквально оглушило нас, оказавшихся словно в крошечном аду.

Колония угомонилась не скоро, когда мы уже были на почтительном расстоянии от вороньих гнездилищ. И тогда наступила какая-то неземная, абсолютная, космическая тишина. Она вызывала жуть, и в то же время ее страшно было нарушить не только голосом, но и неосторожным движением. За горой, где опустилась звезда, временами вспыхивали сполохи холодного голубоватого света.

Взяв свой рюкзачок, Лада удалилась от нас. Вернулась она не скоро, уже на рассвете, одетая в длинный белый хитон. Сначала я решил, что это просто ночная рубашка, однако, приглядевшись, увидел, что она расшита звездами, свастикой и какими-то непонятными знаками, возможно древними гиперборейскими письменами. Лада молча и торжественно прошествовала мимо нас. Наташа поклонилась ей. Вадим тоже слегка наклонил голову, и этот чуть заметный жест привел меня в оцепенение, ибо я понял его настоящий скрытый смысл — то не был куртуазный жест вежливости, но истинный акт отступничества.

Лада поднялась на вершину горы, не потревожив колонию ворон. Она стояла на фоне красновато-золотистой зари с воздетыми к небу руками. Так же, наверно, три или четыре тысячи лет назад на эту же самую гору поднимались жрицы исчезнувшего арийского племени, приветствуя восхождение солнца, а может быть и опускавшуюся сюда летающую звезду. Была ли это искусная имитация древнего обряда, спектакль, в котором ведущая актриса настолько вошла в роль, что для нее стерлась грань между реальным и нереальным, или действительно на моих глазах совершалось мистическое языческое действо? В последнем случае Лада должна была ясно осознавать, что подвижка оси Земли

осуществляется мистически, что это элемент религиозной драмы, в которой она сама выступает в роли могущественной языческой богини. Либо... либо перед нами просто сумасшедшая.

Понимая всю абсурдность ситуации, я тем не менее время от времени поглядывал на часы. Но вот и четыре ровно. Микроскопическая фигурка в белом жреческом одеянии, стоящая на вершине горы, опускает руки. Ничего не произошло. Я не почувствовал никакого толчка, не услышал никакого звука, и мне стало стыдно, что вопреки рассудку я еще смотрел на часы и как будто ждал чего-то.

— Да, — сказал Вадим, — как плавно совершилась коррекция!

— Боже мой! — воскликнул я. — Что ты говоришь! Опомнись! Какая коррекция?!

— Вы ничего не почувствовали? — спокойно спросила Наташа и пожала плечами.

В этот момент с невообразимым шумом и криком в воздух поднялась туча ворон, а над нею пронеслась огромная звезда.

— А вот вороны отреагировали на коррекцию, — заметил Вадим, — умные птицы! Лада сошла с вершины горы. Она выглядела настолько уставшей, что еле держалась на ногах.

— Альфа подтвердила, что коррекция совершена с абсолютной точностью, — сообщила она и тихо улыбнулась.

— Ты должна отдохнуть, — сказала Наташа.

— Мы все должны отдохнуть, — ответила Лада и, обратившись к нам с Вадимом, поведала, что на острове должны находиться стога сена, которое Арий Михайлович заготавливает для своих коз, и что там можно поспать. Стога оказались совсем рядом. Мы проделали в них норки и забрались в них.

Я заснул моментально, но сон был тяжелым и тревожным. Снились кошмары: огромные черные птицы с острыми когтями и человеческими глазами.

Проснулся я уже после полудня. Где-то рядом раздавались голоса Вадима, Наташи и Лады. Они уже встали и готовили завтрак.

— А мы уже собирались будить вас, — весело воскликнула Лада, отдохнувшая и бодрая, вновь превратившаяся из языческой жрицы и даже скорее богини в обычную девушку в современном, весьма откровенном купальнике.

За завтраком мы шутили и смеялись. О ночных событиях никто не обмолвился ни словом, но мы не забывали о них ни на миг. Поэтому, наверно, наше веселье было каким-то экстатически-нервным.

После завтрака мы отправились на экскурсию по острову и прежде всего посетили место посадки Альфы, оставившей четкий круглый след в виде полегшей и обожженной травы. Потом наши спутницы повели нас к пещере, которая, по их словам, представляла собой провал в бездну Земли. Вход в пещеру был еле различим среди каменных глыб. Я хотел протиснуться в него, но Наташа меня остановила:

— Это рискованно. Там глубокий колодец и очень легко потерять равновесие. Нисходящий энергетический поток засасывает, как в воронку. И в то же время из недр Земли поднимаются дурманящие испарения. На глубине пятнадцати метров мы обнаружили человеческие скелеты, в основном женские. Вероятно, здесь совершались жертвоприношения. Нельзя исключать, что в этом месте жрицы, возбужденные испарениями, подобно дельфийским пифиям, изрекали волю богов.

Из пещеры веяло холодом и сыростью. Откуда-то из глубины доносилось журчание источника и неприятный гул, похожий на стоны жертв. Не здесь ли вход в преисподнюю, в подземное царство Аида? Не отсюда ли берет начало река забвения?

Мы еще долго бродили по острову. Новые впечатления наслаивались на ночные события, заволакивая их и возвращая нас к обыденной, земной и привычной жизни с запутанными сплетениями человеческих отношений. В образовавшемся треугольнике — Наташа, Вадим и я — ситуация становилась все более непонятной и драматической. Мне казалось, что именно я пользуюсь наибольшей благосклонностью Наташи, но она хочет сохранить это в тайне и потому так демонстративно проявляет внимание к Вадиму. Тот, с самого начала ложно оценив эти знаки внимания, стал претендовать на большее. С другой стороны, и у меня в какой-то момент стали возникать подозрения: а не ведет ли Наташа двойную игру? Обмениваясь шутками и беседуя с Вадимом, она в то же время ни на миг не выпускала меня из виду и, когда я начинал приходить в уныние, взглядом, улыбкой или легким неожиданным прикосновением давала понять, что оснований для этого нет. Такое положение все больше и больше нервировало меня. Состояние блаженства с жесткой периодичностью сменялось отчаянием, и наоборот. Я как будто оказался на гигантских качелях, амплитуда колебаний которых угрожающе возрастала. Не выдержав этих жутких перепадов, я решил и, собрав в комок всю свою волю, перестал реагировать на Наташины взгляды, жесты, телодвижения, чувственный голос и дразнящие прикосновения. Недоуменно понаблюдав за мной некоторое время, Наташа изменила тактику. Она также перестала обращать на меня внимание. К огромному удовлетворению Вадима, мы разделились на две пары. Он с Наташей шествовал впереди и, судя по его жестам, с упоением читал ей стихи. Мы с Ладой на почтительном расстоянии шли следом, порой совсем теряя их из виду.

От Лады не укрылись все эти драматические коллизии, но она уклонялась от разговоров на эту тему и вообще о Наташе, из чего я заключил, что их отношения тоже непросты. Но одно загадочное замечание она все-таки сделала.

— Наташа живет одним днем, — сказала Лада, — но этот день так мимолетен! Если бы она знала, что ждет ее завтра!

— А вы знаете это?

— К сожалению.

— И уверены, что это (я не спрашиваю что) произойдет неизбежно, неумолимо и никто, даже Бог, не в состоянии предотвратить то, что должно произойти?

Лада ответила не сразу, но твердо и не колеблясь:

— То, что должно произойти завтра, произойдет. Это отвечает и Божественному Промыслу, который вас ведет, Иоанне.



— Как? Как вы меня назвали?

— В Книге Бога ваше имя Иоанн.

— А ваше имя?

— Лада, Лато, богиня Лато.

— Простите, богиня, сколько же вам лет?

— Если говорить о моей нынешней биологической оболочке, то двадцать два года. Вы, конечно, не верите в перевоплощение душ?

— Нет, не верю.

— И я не верила. Вернее, не думала об этом и не знала, что это такое. Но три года назад я попала в автомобильную катастрофу и сорок дней находилась без сознания. Наступила клиническая смерть. И вот тогда произошло чудо. Мне приснился сон, необычный и настолько яркий, что я запомнила его до мельчайших подробностей. Мне приснилось, что я плыву на лодке к острову. Удивительная лодка! Резная корма, украшенная архаическими деревянными статуями богов. Я стою на корме с воздетыми к небу руками, с распущенными волосами, в длинном белом одеянии. А остров — все ближе, ближе... И кажется он мне таким знакомым! На причале стоит мужчина с аккуратно подстриженной русой бородой, длинными волосами, перевязанными надлобной лентой, в коротком хитоне. Он опирается на посох и ласково смотрит на меня. И каждая черточка на его лице близка мне. Лодка подплывает к причалу. Мужчина протягивает ко мне руки, легко поднимает меня и ставит с собою рядом. От прикосновения его рук я прихожу в экстаз. Я узнаю эти руки, сильные и ласковые.

— Тебе тяжело? — спрашивает он.

— Нет, мне хорошо, — ответила я.

— Ты узнала меня? -Да.

— Ты вспомнишь все. К тебе вернется память. Ты исцелишься. И снова будешь со мной.

В этот момент я проснулась, проснулась на каталке, на которой меня везли в морг. Врачи были в шоке. Но главное испытание их ждало на следующий день, когда они обнаружили, что у меня полностью срослись, причем идеальным образом, во многих местах переломанные кости, треснувший позвоночник и зажали, не оставив рубцов, раны на теле.

Смерть и воскресение, однако, не прошли для меня бесследно. Я стала слышать какие-то голоса и странные, непонятные звуки. Но постепенно я научилась различать их и угадывать их смысл, стала видеть сквозь стены то, что происходит за сотни километров от нас, видеть внутренние органы людей.

— Вы видите и мои?

— И ваши, — улыбнулась Лада.

— Но это же, наверно, ужасно.

— Почему же? Внутренние органы людей тоже по-своему красивы. У вас, например, очаровательная селезенка. Это очень интересный орган. Человек без него может жить и быть здоровым как бык, но при этом являясь полнейшим дебилом. Состояние селезенки свидетельствует об интеллекте человека. Так что интеллектом вас Бог не обидел.

— Очень польщен столь оригинальным комплиментом.

— У вас и другие органы очень красивы. Если бережно к ним относиться, можно прожить двести лет. Но увы! Вам дан короткий срок жизни.

— Я не верю в судьбу. Конечно, у каждого человека свой генетический код и свои биологические часы. Но нам дана от Бога свобода выбора, и, главное, есть Божественная благодать, которая выше закона и которая все может изменить, даже в самый последний момент.

— Все, что происходит, предопределено предвечно. В этом и заключается Божественная мудрость, которая не нуждается в корректировке. Если бы Божественный Разум менял свои волеизъявления, Он был бы несовершенен. Но воля Бога неизменна, и Он есть судьба.

— Значит, Вседержитель есть судьба?

— Я говорю о Высшем Разуме.

— А это не одно и то же?

— Нет. Вседержитель — первый среди богов. Я говорила уже, что у него много имен, и среди них есть одно, сокровенное, которое он открыл только мне. Когда я произношу это имя, он приходит ко мне. В нынешней жизни я не имею права видеть его лицо. Он приближается сзади и кладет руки мне на плечи. И я впадаю в транс. Иногда он является ночью. Теперь я все вспомнила — и свою предыдущую жизнь, и свои будущие воплощения. В облике Зевса-Ария он любил меня здесь, на этом острове. Здесь я родила ему двоих детей-близнецов, мальчика и девочку, Аполлона и Артемиду.

Лицо Лады напряглось, превратившись в безжизненную маску, за которой могло скрываться что угодно, взгляд стал отсутствующим, непроницаемым. Господи! Да она же просто одержима! Спорить с нею было бессмысленно. Мне стало не по себе. Это не просто шизофрения, а именно одержимость бесовской силой! Сам же остров не что иное, как исчадие ада! Я попал в западню.

Как только мы нагнали Вадима и Наташу, я предложил отправиться к причалу. Лада и Наташа переглянулись, Вадим пожал плечами. Они тут же согласились с моим предложением, однако по всему было видно, что всерьез его не восприняли. У причала Ария Михайловича, конечно, не оказалось. Мы без особой надежды на успех покричали ему, но наши крики потонули в карканье ворон.

Стустились сумерки. На сей раз звезд на небе не было видно — ветер нагнал облака, что весьма опечалило моих спутников. Я же был рад этому обстоятельству.

Встречаться с Гедеоном и Нориком мне не хотелось. Любопытство уже не мучало меня. Все было ясно.

Мы направились на ночлег к стогам Ария Михайловича. Пожелав всем спокойной ночи, я забрался в свою норку. Лада, по-видимому, последовала моему примеру. Вадим и Наташа продолжали вполголоса беседовать, затем послышалась возня и, как мне показалось, звук пощечины. Потом Вадим, как ни в чем не бывало, стал читать свои стихи. Я не различал слов, но по ритмике и мелодике догадывался какие. Все это мне изрядно надоело. Утомленный, я быстро заснул.

Не знаю, сколько прошло времени — судя по всему, часа два. Я проснулся от прикосновения чьей-то руки. Она гладила меня по щеке. Это казалось непостижимым и невероятным. Я сразу понял, кто рядом со мной. Тонкие, нежные пальцы... У Лады они, вероятно, должны быть другими: сухими, нервными, обжигающими. И потом, Лада, находящая противоестественное самоудовлетворение в общении с призрачным бесплотным духом, вряд ли впала бы в подобное искушение. Впрочем, мысли о Ладе у меня тогда даже и не возникло.

Пальцы Наташи коснулись моих губ, и я прильнул к ним с упоением, позабыв о своих обидах, о Вадиме и обо всем на свете. Наташа накрыла ладонью мой рот, как бы заговорщически призывая меня хранить молчание, а затем проскользнула ко мне в норку.

Впервые в жизни я лежал рядом с девушкой, робко обнимал ее и прикасался к ней руками. В моих новых ощущениях Наташа предстала совсем другой. Она была более миниатюрной и хрупкой, чем казалась. Особенно меня поразила ее тонкая талия. Но неожиданно пышными оказались бедра. И вся она была нежнее и мягче, чем я мог себе представить. Я как будто плавно погружался в нее, и она обволакивала меня своей плотью, как сладостным дурманом.

Мысль о монашестве никогда не приходила мне в голову. Я хотел стать женатым священником и ждал встречи с моей избранницей. В воображении я видел ее в храме, поющей в церковном хоре, или дома, с детьми, но мне трудно было представить сцены интимной жизни. Нельзя сказать, что эта сторона супружеских отношений не занимала меня — наоборот, она манила своей почти космической тайной и обещаниями необыкновенного, полузапретного, сверхзаконного блаженства, но на каком-то иррациональном уровне вызывала и неприятие. И дело тут было не в умозрительном восприятии христианской концепции первородного греха. Помню, в детстве, когда уличные приятели популярно объяснили мне, что такое половой акт, я не поверил им. В моей голове просто не укладывалось, что взрослые люди, матери и отцы семейств, могут предаваться таким «несерьезным», постыдным занятиям. Трудно было допустить, что причиной загадочного возникновения новой жизни является столь примитивный акт. Позднее, однако, у меня возникла потребность в его идеализации и даже мистификации — сознание искало примирения с проснувшимся зовом плоти. В сновидениях меня преследовали соблазнительные женские образы, порой очень неясные, но иногда имевшие облик знакомых мне людей, интимную близость с которыми я посчитал бы смертным грехом. Случалось, что приснившееся мне очаровательное создание оказывалось вдруг гермафродитом, что оставляло чувство ужаса и отвращения. Болезненную брезгливость к самому себе вызывало ощущение нечистоты, связанное с ночными поллюциями.

Таким неоднозначным, мучительно раздвоенным было мое отношение к физической близости с женщиной, близости, которой я одновременно жаждал и страшился. И вот этот момент настал. Рядом со мной был не иллюзорный, ускользающий

из рук, расплывающийся женский образ, а живая плоть, жаркая и пульсирующая. Но странное дело! Я не воспринимал происходящее как реальность. Находясь в экстатическом состоянии, я почти не ощущал своего тела, а соприкасающаяся со мной иная плоть казалась мне более иллюзорной, чем фантастические ночные видения. Моя душа, словно отделившаяся от тела, потеряла над ним всякий контроль, и оно существовало теперь как бы само по себе, подчиняясь лишь инстинктам и импульсам, которые исходили от Наташи. Это, вероятно, давало ей ощущение полноты власти, пьянило и возбуждало ее. Судорожными движениями она обнажала мое тело и покрывала его поцелуями.

Неужели это и есть высший, кульминационный момент в жизни человека? Я испытал острое разочарование. И даже самый миг оргазма не вызвал у меня особого трепета и восторга, оставив впечатление чего-то эфемерного и какого-то коварного обмана. А Наташа пришла в исступление. Ее пальцы острыми ногтями впивались в мое тело, словно пытаясь разорвать его. Она застонала, и теперь уже я вынужден был закрывать ее рот ладонью.

Когда все кончилось, Наташа не хотела меня отпускать, физически расслабленного и духовно сломленного. Ее руки и ноги, как сильные, упругие змеи, обвивали меня, и вырваться из их плена не было сил.



И тут мне внезапно открылся иной облик любви — трагический и утрашающий. Пленившее меня эльфическое создание неожиданно предстало в своей плотоядной, звероподобной сущности. Я понял, что за акт, ведущий к возникновению новой жизни, нужно платить жизнью. Цена жизни — жизнь. Чувство опустошенности и тоски охватило меня. Возникло непреодолимое желание омыться, смыть с себя греховную нечистоту.

Освободившись от объятий Наташи, я покинул свою нору, свое звериное логово.

Уже рассветало. Над озером стелился легкий туман. Воздух был прохладный, и раздеваться не хотелось, но я без колебаний сбросил с себя одежду и вошел в воду. Боже мой, что может быть прекраснее чистой свежей воды! Она очистила, укрепила и воскресила меня. Я выходил из нее другим человеком.

И тут я услышал плеск воды — к пристани приближалась лодка.

— Ну что, поехали? — спросил меня Арий Михайлович.

— Поехали! — не задумываясь, ответил я, и голова закружилась от сладостного чувства освобождения.

Арий Михайлович не задавал мне вопросов. Он был лишь исполнителем, как тот, другой, мифический лодочник, равнодушно перевозящий в страну без возврата тени умерших. Но ведь путь мой сейчас лежал в обратном направлении! Я возвращался! И потому Арий Михайлович порой не без любопытства поглядывал на меня. Вопросы задавать, однако, было не в его компетенции.

А я ликовал, не чувствуя ни малейших угрызений совести ни по отношению к Вадиму, оставленному мною в весьма щекотливом положении, ни по отношению к Наташе-Ариадне, ждущей меня, как в другом тысячелетии — только теперь это сравнение пришло мне в голову — на другом острове другая Ариадна ждала покинувшего ее возлюбленного. Мы причалили к пристани.

— Сейчас подойдет машина, — деловым тоном сообщил мне Арий Михайлович. — На ней только что приехал в лагерь Константин. Она подбросит тебя до станции. Будь здоров.



На следующий день по прибытии в лавру я отправился на исповедь к отцу Кириллу. По обыкновению он исповедовал в Серафимовском приделе Трапезного храма. Выслушав начало моего рассказа, старец прервал меня:

— Э-э-э... разговор у нас с тобой будет длинный. После службы приходи ко мне в келью.

И в самом деле, исповедь моя затянулась до полуночи.

— Да... — сказал наконец старец, — один, значит, Бог... Саваоф, Зевс, Перун — все едино. Православные и язычники, все скопом... Это почище экуменизма Отдела внешних церковных сношений. А ведь будет так, брат мой. Соорудят в Москве храм единому Богу, только Богу ли... Вот они, новые козни дьявола! Не получается открыто против Бога — именами прикроемся — и вроде бы и сатаны уже нет. Великая опасность тут кроется. Многие соблазняются, особенно ученые люди...

И «контактерство» очень опасно. Нового тут ничего нет. Отцы-пустынники все это на себе испытали. Но у них был опыт духовный, сила молитвы, трезвение ума. Не просто было бесам к ним подступиться, и то искушали. А здесь что? Младенческий ум, никакой духовной опоры и любопытство. Обращаться к могущественным силам, не зная их природы, не значит ли играть с огнем? От этого легко свихнуться или впасть в одержимость. Та несчастная, о которой ты говорил, — одержимая! Ишь чего захотела — ось земную сдвинуть! Мало ли бед мы уже натворили? Ядерную энергию на свободу выпустили. А тут сила помогущественнее! И страшно то, что по команде все делается. Сказали ей: «Сдвигай ось», и сдвинула бы, если бы силенки хватило. А кто сказал? И нужно ли сдвигать-то? Много уже надвигали...

А ты тоже хорош. Вырвался на свободу! Для свободы духовно созреть нужно. Вот теперь замаливай свои грехи! И не оправдывайся! Сам попустил соблазну войти в свое сердце. А что теперь с девицей той будет? Об этом ты подумал? Так вот, выход я вижу только один: каждый день ты за нее молиться должен, каждый день! Это крест твой, и всю жизнь отныне тебе его нести! Знай, от молитвы твоей теперь ее спасение зависит, о твоём спасении я уж не говорю.

Ну а теперь о главном. Принимай, брат мой, пострижение. Семейная стезя не для тебя. Иные в монахи идут для карьеры, ты же монах по призванию. Никогда ты не станешь епископом, но хороший монах из тебя получится.



Через несколько дней состоялся мой постриг. С волнением я ждал, какое же имя мне нарекут. И вздрогнул, когда прозвучало имя любимого ученика Христа, святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

## *19 декабря*

Давно не брался за дневник. Богослужения, требы, хозяйственные заботы о храме не оставляют свободного времени. Два-три часа каждой ночью я молюсь в алтаре. Это священное для меня время. Часы проходят как секунды. Если бы не молитва, вряд ли я бы смог выдержать перегрузки, которые легли на меня в последнее время.

А храм живет! Храм возрождается! Коля пишет иконы, прекрасные иконы! Некоторые из них я уже освятил, и они заполнили зияющие ниши в иконостасе. Арсений Елагин работает на лесах у западной стены храма. Она закрыта пленкой. Елагин хочет раскрыть ее и представить свою фреску людям, как только она будет полностью завершена. Общая композиция, конечно, согласована со мной. Убедившись в соответствии его письма принятым канонам, я предоставил Арсению полную свободу. В этой работе его мятущаяся душа, стремление выйти «за рамки искусства» нашли, по моему, идеальное выражение. Он перестал пить. Изменился сам его облик. Походил он теперь не на божьего художника, а на благочестивого, смиренного монаха.

Храм благоукрашается, приход живет, власть имущие словно забыли о нас. И все-таки чувство тревоги не покидает меня. Никак не могу отделаться от ощущения, что некто незримый тайком следит за каждым моим шагом и готовит для меня западню. Особое беспокойство испытываю я, отправляясь на требы. Тут подстроить ловушку проще всего. У меня даже вызывает удивление, почему он, мой тайный враг, не спешит воспользоваться такой возможностью. Конечно, интуиция до сих пор не обманывала меня. Но разве могу я отказаться пойти к умирающему человеку, что бы ни говорила мне она?!

## 23 декабря

Вчера после литургии ко мне подошла пожилая интеллигентного вида женщина в шляпке, в красивом пальто и, смутившись, спросила:

— Батюшка, не могли бы вы посетить мою больную сестру и крестить ее?

— Конечно.

— Можно это сделать сегодня?

— Далеко живет ваша сестра?

— Полчаса езды на автомобиле. Машина будет. Об этом не беспокойтесь. Когда бы вы смогли поехать?

— Через час.

В назначенное время я вышел из храма. Машины пока не было, но на некотором удалении у тротуара стояла черная «Волга» с «мигалкой» и антенной для радиотелефона.

«Так, так, так... — подумал я, — это уже интересно. Когда будут брать? Неужели сразу около храма?»

Из «Волги» вышел мужчина атлетического сложения с короткой стрижкой и направился ко мне.

— Приказано доставить вас до объекта, — по-военному отчеканил он.

— До какого объекта?

— Мне сказали, что вы в курсе.

«Конечно, в курсе, — подумал я, — о чем тут спрашивать? Ясно, до какого».

— Не проще бы было пешком пересечь площадь?

— Да, сюда было бы удобней, — ответил мужчина.

— Значит, нам в другое место?

— В другое.

— Ну, что ж, поехали.

К моему удивлению, мужчина оказался в единственном числе. Я почему-то думал, что арест обычно совершают несколько человек.

Водитель включил сирену, в чем, по-моему, не было никакой необходимости. Во-первых, улицы города были полупустые, а во-вторых, развить сколько-нибудь приличную скорость по дорожным колдобинам Сарска все равно было невозможно. Водитель молчал.



И хотя любопытство мучало меня, вопросов я не задавал, полагая, что в данной ситуации это не принято.

Машина выехала на дорогу, ведущую к областному центру, а затем свернула с нее. Миновав охраняемые ворота, мы оказались в дачном поселке. Глядя на комфортабельные особняки, я невольно подумал: «Неплохо устроились и великолепно замаскировались!» Около одного из особняков машина остановилась. В сопровождении водителя я подошел к дверям дома, где нас встретила та самая женщина, которая приходила в храм и приглашала меня для совершения таинства крещения. В ее лице не было ни скованности, ни смущения, ни злорадного торжества человека, завлекшего жертву в западню. Она смотрела на меня доброжелательно и открыто. Я растерялся.

— Проходите, отец Иоанн, — почтительно произнесла женщина и, обратившись к водителю, добавила: — А вы, пожалуйста, обождите.

Я вошел в дом. В гостиной, в кресле, укрывшись пледом, сидела Сталина Дмитриевна, секретарь горкома партии по идеологии. При моем появлении она с усилием поднялась. Лицо ее было изможденным и бледным. Она была больна, тяжело больна.

— Здравствуйте, отец Иоанн. Не ожидали увидеть меня?

— Признаюсь, не ожидал.

— Маша, моя двоюродная сестра, пригласила вас сюда... пригласила по моей просьбе. Отец Иоанн, я хочу креститься. Вы удивлены?

— Нисколько. Это естественное человеческое желание. Неестественно другое — не принимать крещения и преследовать тех, кто желает стать христианином.

— Но ведь я была среди гонителей...

— «Была»! Среди гонителей был и апостол Павел.

— О, нет! Такое сравнение неуместно. В моей душе возник слабый росток веры. Я хочу сохранить его, не дать ему увянуть за две-три недели, которые мне осталось жить. У меня нет времени искупить свои грехи делами. У меня очень мало времени. Но вы верно подчеркнули — «была», ибо выбор уже сделан. Жаль только, что путь к нему был таким мучительным и долгим.

За время болезни я многое передумала. И главное, поняла, что по-настоящему еще не жила. Как лошадь с зашоренными глазами, я видела перед собой только узкую полосу дороги и шла туда, куда поворачивали мне голову. Эта узкая полоса дороги была для меня Вселенной, хотя порой у меня и возникали подозрения, что мир устроен гораздо сложнее и что однообразно прямой и утомительно занудный путь в светлое будущее есть, собственно говоря, путь в никуда.

Моя судьба была запрограммирована изначально. С детских лет я выступала в ореоле дочери героя-революционера, очень рано постигнув фальшь той роли, которую вынуждена была играть изо дня в день. Эту фальшь я видела всюду, но прежде всего она поражала меня в моем отце. Он был неподкупным и несгибаемым, справедливым и праведным, воплощением всех добродетелей. Я не помню его, однако из обрывков разговоров, случайных фраз, которыми неосторожно обменивались при мне моя бабушка

и тети, возникал иной образ — омерзительный и страшный. Я стала догадываться, что преждевременная смерть моей матери не была случайной, и в конце концов узнала, что ее нашли мертвой после драматического выяснения отношений с моим отцом. Вот чьи гены я унаследовала! Потому, наверно, я не могла, инстинктивно не желала иметь семью и детей, каким-то внутренним чутьем постигнув, что мой род проклят, что лучше всего, если он оборвется на мне во избежание новых жутких трагедий и преступлений.

Вероятно, оптимальным решением для меня было бы принятие монашества и таким образом выход из цепи греховной наследственности. Но именно этой возможности для меня и не существовало. Я была обречена оставаться в миру с парализованной волей и деформированной психикой. Я что-то делала и что-то изрекала, подчиняясь заложенной в меня программе. Иногда бывали проблески сознания, но они тут же заглушались.

Вы знаете, отец Иоанн, когда живешь и работаешь в запрограммированных структурах, не замечаешь всего ужаса и греховности своего существования в них. Там все настолько обыденно, что и мысли об этом не возникает. Я проработала в таких структурах много лет и никого не убивала, не истязала, наоборот, стремилась принести людям хоть какую-то пользу. Не хочу хвалить себя, но это я не допустила закрытия вашего храма, несмотря на все усилия небезызвестного Валентина Кузьмича — на какие только хитрости он не пускался! Так вот, вроде бы и винить меня не в чем... Ан нет! Когда оказалась у порога вечности, все предстало передо мной в ином свете. Оказывается, можно убивать, не убивая, истязать, не будучи по призванию палачом и полагая, что делаешь доброе дело.

Посмотрите, что я читаю в последнее время: отец Сергей Булгаков, протоиерей Георгий Флоровский, отец Александр Шмеман, ваши работы... Все это из спецхрана! Да, да, ваши труды тоже среди запрещенных книг! Не могу сказать, что мне все понятно. Принимаю и верю в первичность духовного начала, в существование Бога-Творца. Но вот богочеловечество Христа... Не проще, не естественнее было бы — простите меня, если говорю что-то не то, — признать Его божественным пророком, человеком, наделенным исключительными нравственными достоинствами и прозорливостью? Сложно понятие Троицы. Смущают меня и некоторые жития святых. Ну, в самом деле, как можно поверить? Человеку отрубает голову, а она тут же прирастает, его бросают в кипящую смолу — а он выходит из нее как ни в чем не бывало!

— Вы правы, в это трудно поверить. Средневековые жития святых не лишены фольклорных элементов. Хотя... разве не большее чудо — сотворение мира? Понятие Троицы действительно является сложным, и не то что сложным — умонепостижимым, парадоксальным, абсурдным! Как единица может быть равна трем? В нашем Евклидовом мире такое невозможно. Но в данном случае речь идет об Инобытии, где аксиомы Евклида не действуют. Это же касается и сущности Христа. Божественное Слово, Предвечный Разум и в то же время смертный человек, испытывающий голод и жажду, физические муки и духовные страдания! Совместимо ли это? Разумеется, естественнее и проще признать Христа пророком, человеком, наделенным высокими нравственными достоинствами и прозорливостью, как вы сказали. Но это суждение еретиков, ведь всякая еретическая мысль отличается удивительной односторонностью, прямолинейностью, плоскостью. Любая ересь, какую бы мы ни взяли, есть попытка втиснуть Божественное Инобытие в прокрустово ложе элементарной логики. Отрицать богочеловечество Христа — значит искоренять всю суть христианского учения. В этом случае разом утрачивается все — и смысл нашей жизни, и прорыв к вечности, и торжество над смертью, и блаженство соединения с Богом. Остается несколько благих, но абстрактных, потерявших глубину и жизнеспособность нравственных постулатов. Божественные заповеди Христа превращаются в худосочную стоическую мораль.

— Охотно соглашаюсь, отец Иоанн. Простите меня за мои рассуждения. Они свидетельствуют лишь о том, как мало я смыслю в христианском учении. Конечно же мне нужно еще многому поучиться. Но времени осталось очень мало. И в многознании ли дело? Ведь главное — я верю; не разбираясь в богословских тонкостях, верю каждой частицей души и своей страждущей плоти. Я жажду покаяния, духовного исцеления. Хочу прожить последние дни свои в чистоте, со спокойной совестью. Помогите мне.

По возможности кратко, чтобы не утомлять больную, я рассказал ей о таинстве крещения, а затем совершил его. Купелью послужила простая деревянная бочка. Поскольку событие это происходило в день зачатия святой родительницы Богоматери, крещаемая получила благопристойное имя Анна. Восприемницей стала ее двоюродная сестра Мария.

Пока Анна сидела в кресле, накрытая пледом, я не осознавал до конца, в каком тяжелом состоянии она находится. Стоило ей, однако, подняться, как стало ясно, что дни ее действительно сочтены. Без посторонней помощи она уже не могла передвигаться. Тело ее высохло. Она была легкой, как ребенок.

— Видите, отец Иоанн, что со мной стало. Работают только мозг и сердце. Господь оставил их мне, чтобы я все обдумала, покаюсь и сделала выбор. Слава Богу, теперь он сделан! Сегодня у меня легкий и светлый день. Невыносимые боли оставили меня. Говорят, перед смертью человеку становится легче. Значит, мне недолго жить. Но я не боюсь смерти, всю жизнь боялась, а теперь не боюсь. Знаю, смерть не есть уход в небытие, а лишь переход к новой, высшей жизни.

Отец Иоанн, я обращаюсь к Вам с последней просьбой. Хочу, чтобы меня похоронили по православному обряду, не на «Новодевичьевке», где уже заготовлено место, а рядом, среди крестов, и чтобы на моей могиле был крест и написано было на нем не «Сталина Дмитриевна Овчарова», но просто: «Раба Божия Анна». Маше я дам все необходимые распоряжения. Она все выполнит точно. На нее можно положиться.

**3 января 1986 г.**

Анна умерла в канун Нового года. Ее двоюродная сестра воспользовалась сумятицей праздничных дней — сразу же после регистрации смерти тело усопшей было перенесено в Преображенский собор. А в это время напротив, через площадь, полным ходом шли приготовления к траурной церемонии. Над центральным порталом здания горсовета и горкома партии был водружен огромный портрет покойной в красно-черном обрамлении. Там же в актовом зале установили помост для гроба, во все учреждения направили разрядку на представителей трудящихся. Когда все было готово и организаторы похорон с гробом, обитым кумачом, явились к дому покойной за ее телом, его там не оказалось. Сообщение о том, что усопшую отпевают в церкви, привело их в шоковое состояние. С пустым гробом они явились в горком, а поскольку представители трудящихся уже собрались для прощания, под звуки траурного марша его пришлось поставить на постамент в актовом зале. После этого начались совещания на высшем районном уровне и обсуждение скандальной ситуации с областными и московскими инстанциями. Наконец, было признано недопустимым совершение над усопшей религиозного обряда, было решено отобрать ее тело у похитителей, вернув его партии и трудящимся, которым оно по праву должно принадлежать. Принять такое мудрое решение в короткий срок было невозможно. Вот почему организаторы похорон, явившиеся в храм в сопровождении сотрудников безопасности, прокуратуры, милиции и дружинников, тела там уже не обнаружили. Из собора они устремились на кладбище. Но и тут их ждала неудача. Тело усопшей было уже предано земле. Над свежим холмиком был воздвигнут крест. Лаконичная надпись на нем: «Раба Божия Анна» повергла представителей власти в оцепенение. Производить эксгумацию тела без санкции свыше они не решились. Трудно сказать, как в дальнейшем работала их мысль, но, видимо, элементарная логика привела отцов города к осознанию очевидного факта, что «раба Божия Анна» — это уже не Сталина Дмитриевна Овчарова, дочь прославленного чекиста и секретарь горкома партии по идеологии. Потому, наверно, они пришли к выводу, что не совершат подлога, если проведут параллельное траурное мероприятие, не вступая в унижительную полемику с представителями чуждой идеологии. На следующий день на Соборной площади прошел грандиозный митинг. Заманивать и сгонять на него население в этот раз не было необходимости. Слухи о том, что Сталина Дмитриевна была уже похоронена под другим именем, взбудоражили город. Уверяли, что в тот момент, когда тело опускали в могилу, вырытую на «Новодевичьевке» рядом с монументом в честь неслышимого чекиста, гроб сорвался с веревок, его крышка отскочила и взорам изумленных могильщиков предстало лицо усатого мужчины восточного типа.

Сразу после завершения похорон, гимна Советского Союза и ружейной пальбы толпа любопытных отправилась на соседнее кладбище, к скромной могиле с крестом и надписью: «Раба Божия Анна».

## 14 января

Прошло Рождество Христово. Я совершил праздничную ночную службу. Храм был полон, как никогда, и это понятно: великий христианский праздник! С другой стороны, повышенный интерес к Церкви, и в частности к нашему храму, возбудили похороны Анны. И дело тут не в простом любопытстве. Не почувствовал ли на этом примере народ, что «системка», выражаясь словами архиепископа, «зашаталась» и что альтернативой умирающей идеологии может быть только Православие? Это почувствовали, конечно, и мои враги. Крещения и отпевания Анны они мне не простят. Сейчас было бы глупо с их стороны что-либо предпринимать против меня. Санкции последуют позднее. Реакция, без сомнения, будет жесткой и даже жестокой. Вчера после службы ко мне подошел Владислав Ефимович Турин со товарищи. «Святодуховцы», как их называет Георгий Петрович, изредка бывали у меня на службах, однако не исповедовались и не причащались. На этот раз Владислав Ефимович предложил мне посетить место, где они, по его словам, собираются для молитвы. Он отозвал меня в сторону и сказал:

— Отец Иоанн, вы нам нужны. Мы долго приглядывались к вам здесь, в храме, и, не скрою, информацию собирали — вы уж простите нас! И вот пришли к выводу: доверять можно.

— Ну, спасибо. Что же из этого следует?

— А вот что. Нам необходим духовный пастырь. Не от хорошей жизни мы ушли из мира. Не было иного выхода. О гонениях на Церковь нет смысла говорить и об отступничестве иерархии тоже. Цари мирские и князья Церкви не учли только одного — молиться везде можно, а для настоящей молитвы и слов не надо. Им это невдомек, но вы-то знаете силу умной молитвы! В общении с Богом можно обойтись и без посредников. Так-то вернее будет.

— Но ведь и в соблазн впасть, и в западню к дьяволу угодить таким образом тоже можно. Недаром же отцы Церкви не советовали приступать к умному деланию без надежных наставников.

— В самую точку попали, отец Иоанн. Необходим нам надежный наставник, и желательно в сане. Конечно, можно и без священника обойтись. Не ссылаетесь ли вы на Симеона Нового Богослова, который говорил, что «вязать и решить» имеет право даже нерукоположенный старец? И все-таки благодать священства, передаваемая через апостольское преемство, есть благодать Святого Духа. Вот почему нам нужен канонический священник, но не любой — любого мы давно могли бы найти. Нам нужен священник «по чину Мельхиседекову», такой, как вы.

— И что же?

— Мы вас низайше просим посетить нашу пустынь, убежище нищих духом, поговорить с братией, рассказать об исихазме и умном делании, а там... там видно будет. Может быть, и возьмете нас под свое окормление.... Это совсем недалеко отсюда. Если бы можно было поехать сейчас... Очень удобный случай — почти все в сборе.

Решив окончательно разобраться с братией Владислава Ефимовича, я согласился. Мы вышли из храма, сели в стоявший рядом автомобиль и отправились на окраину города.

Убежище, в котором «подвизались» те, кого Георгий Петрович называл «святодуховцами», размещалось в невзрачном одноэтажном домике, окруженном, правда, весьма большим приусадебным участком. Интерьер дома был под стать его внешнему облику. Таинственно улыбнувшись, Владислав Ефимович поднял половицу в прихожей, и перед нами открылась лестница, ведущая в подzemелье. Лестница была сделана капитально, с перилами. Спустившись вниз, мы оказались в просторном зале, где не было ничего, кроме скамеек и стульев. С трех сторон в стенах были двери, значит, подzemелье располагало по крайней мере еще тремя помещениями.

— Обождите здесь, пожалуйста, — сказал мне Владислав Ефимович, — мы скоро вернемся.

Кивнув одному из своих спутников, он дал понять ему, что следует остаться со мной, а сам с остальными удалился в одну из дверей. Моим компаньоном оказался молодой человек, совсем мальчик, с бледным лицом и глазами, в которых сквозили боль, печаль и внутренняя борьба, — он словно что-то хотел сказать мне и не решался.

— Может быть, познакомимся? — предложил я, когда мы остались одни.

— Называть свои имена и даже разговаривать с внешними нам не положено, но, поскольку вас пригласили сюда... Наверно, я могу назвать себя... Алексей Уваров.

— Кого вы называете «внешними»?

— Всех, кто не входит в братство.

— Какое братство?

— Святого Духа.

— И много членов в этом братстве?

— Вы сейчас увидите почти всех. Но есть и другие семьи...

— Семьи?

— Отделения. Но их членов мне знать не положено.

— Здесь, я вижу, есть еще помещения?

— Да. Здесь много помещений. Но в некоторых из них я никогда не бывал.

— Почему?

— Не положено.

— А кому положено?

— Посвященным.

— Так что же это за помещения, где бывают только посвященные?

— Святая святых.

— Там совершаются богослужения?

— Мне не положено этого знать.

По всему было видно, что я ставлю молодого человека в неловкое положение. И так он, должно быть, сказал больше, чем следовало. Я перестал мучать его вопросами.

Прошло несколько минут. Вдруг за дверями напротив меня раздался звук деревянной колотушки. Двери открылись, и в них гуськом друг за другом стали входить мужчины и женщины, одетые в балахоны из грубой мешковины, с куколями, подпоясанные пеньковой веревкой, с босыми ногами. Их взгляды были устремлены вниз. Меня они как бы не замечали. Впереди шествовал Владислав Ефимович. Чинно, без суеты они расселись на скамьях и стульях.

— Братья, — сказал Владислав Ефимович, — мы пригласили иеромонаха Иоанна, настоятеля Преображенского собора в городе Сарске. Он имеет репутацию праведного человека, выдающегося богослова и молитвенника, преуспевшего в умном делании. Погрязшая в грехах и лишенная благодати иерархия Московского патриархата сослала его сюда. Ему не нашлось места ни в Троице-Сергиевой лавре, ни в Духовной академии. Но мы, нищие духом, не обремененные благами мира сего, способны в должной мере оценить его святое горение и хотели бы, если он сочтет нас достойными, принять его как своего отца и наставника.

— Спасибо за приглашение, — ответил я, — но давайте будем предельно откровенны и сдержанны в оценках. Я не праведник, не вещающий богослов и молитвенник весьма посредственный. Мой приезд в Сарск не ссылка, а призвание, великая милость, дарованная мне Господом. Что касается иерархии Московского патриархата, то она имеет благодать Святого Духа в силу прямого апостольского преемства. Достойны епископы этой благодати или нет, судить не нам. Судия один — Господь. Это в связи с тем, о чем говорил здесь Владислав Ефимович. А поскольку он сказал о вашем желании стать моими духовными чадами, то у меня, естественно, возникает к вам ряд вопросов. Скажите, ваш внешний облик, эти балахоны... Они, вероятно, являют собой символ нищеты, духовной и материальной, не так ли?

— Совершенно верно, — ответил Владислав Ефимович.

— Но вы же не ходите в таком виде по городу?

— Конечно, нет.

— В таком случае не очевидно ли, что в этом наряде есть нечто театральное, искусственное, что-то от игры, но от игры с серьезными вещами. Нельзя же нищету духовную надевать и снимать с себя по обстоятельствам?

— Что же вы предлагаете?

— Известно, что в православном церковном быту все устроено просто и прагматично. Как православный священник, я смотрю на вещи таким же образом. Одеваться, думаю, нужно без выкрутасов и прежде всего с учетом наших климатических условий. Не ходите же вы зимой по улице босиком?

— Это одеяние, так же как и монашеские одежды, дает нам возможность почувствовать единство членов братства.

— Монашеские одежды не оторваны от жизни. Они приспособлены к ней. И надевают их на всю жизнь. А потом — истинное единство достигается не внешними атрибутами...

— Значения которых отрицать все-таки нельзя.

— Нельзя. Меня смутило, например, отсутствие здесь икон и христианской символики. Может быть, все это есть в других помещениях, в святая святых?

Владислав Ефимович бросил резкий, колючий взгляд на молодого человека, с которым я оставался в зале до прихода сюда членов братства, и от этого взгляда тот вздрогнул и сжался. Я пожалел, что невольно поставил его под удар. Владислав Ефимович, однако, тут же взял себя в руки и совершенно невозмутимо сказал:

— Это не Преображенский собор. В таких же укрытиях находили себе пристанище первохристиане и анахореты-пустынники. Разве отшельники украшали места, где они подвизались, которыми служили для них пещеры и логова зверей, дорогими иконами, золотом и драгоценными камнями? Это произошло потом, когда христианство стало торжествующей религией, когда епископы и священники надели на себя золотые ризы и от прежней нищеты духа не осталось и следа. Вот почему я нахожу суетной и тщетной вашу деятельность по восстановлению храма. Он осужден на разрушение, и ничто не предотвратит его гибель. Большевики явились лишь могильщиками того, что отжило свой век. Для общения с Богом, для личной встречи с Ним нет необходимости в храме, ибо такая встреча лицом к лицу может произойти и в многолюдном городе, и в пустыне, — это не мои, это ваши слова, от себя лишь добавлю: и здесь, в подземелье.

— Бог вне мира, — ответил я, — но Его светонесущие энергии, для которых нет преград, пронизывают любую точку пространства, и в каждой энергии Бог присутствует во всей Своей полноте. Встреча с Богом может произойти где угодно, это верно. И все же есть особые места на Земле, где горний, божественный мир приходит в прямое соприкосновение с нашим трехмерным миром. Эти места — храмы.

Я долго говорил о том, что храмы являются генераторами божественной энергии и молитвенной энергии людей, рассказывал о литургии, о ее вселенском, космическом значении, объяснял взаимосвязь образа и первообраза, без чего невозможно понять смысл православных икон, являющихся как бы окнами в трансцендентный мир Божественного бытия, пытался раскрыть богословское понимание красоты. В самом деле, говорил я, благолепие храма не в роскоши его убранства, а в соразмерности частей, отражающей красоту божественного домостроительства, красоту, которая так поразила наших предков, впервые оказавшихся в византийском храме, и определила исторический выбор России.

Я видел, что для этих людей, укрывшихся от мира в подземелье, одетых в уродливые одеяния из мешковины, мои слова звучали как откровение. Ничего подобного они раньше не слышали. И если вначале члены «братства Святого Духа» сидели, низко опустив головы, надвинув на глаза капюшоны, то теперь они с нескрываемым любопытством смотрели на меня. Такая реакция не могла не вызвать у Владислава Ефимовича неудовольствие, которое он тщетно пытался скрыть. Решив сменить тему беседы, он заговорил о том, что есть красота внешняя, тленная, ведущая к соблазну и гибели, но есть и внутренняя, богооткровенная красота, не зримая телесными очами. Та



красота, о которой говорил я, якобы есть красота язычников, и только с момента Пятидесятницы, когда Святой Дух сошел на апостолов и начался новый зон (цикл творения), людям открылась истинная красота, узреть которую дано лишь совершенным.

В ответ мне пришлось сказать, что сошествие Святого Духа на апостолов действительно явилось великим событием и тем не менее, если говорить о новом зоне, начинать его нужно не с Пятидесятницы, а с боговоплощения. Нет ничего опаснее отказа от христоцентризма, противопоставления Святого Духа Христу, разрыва умонепостигаемого единства Святой Троицы. Я стал приводить примеры из истории, рассказывать о средневековых ересьх богомилов, катаров, беггардов, саккатов.

— Ничего нет нового на этой грешной земле, — говорил я. — Все уже было. Беггарды, например, так же как и вы, называли себя братьями Святого Духа. И богомилы, и катары, и беггарды, а еще ранее мессалиане видели высшую цель в стяжании Его благодати. Богомилы внешне были близки исихастам и знали умную молитву, которой по их представлениям и должны были заниматься совершенные. Они избегали богослужений в храмах, проповедовали в уединенных местах. Если человек, достигший совершенства, получал благодать Святого Духа, то он, как полагали еретики, мог после этого делать все, что захочет, и это не считалось грехом и преступлением, ведь действовал уже как бы не он, а вселившийся в него Дух.

Мессалиане утверждали, что «совершенные» могут предаваться обжорству и низменным страстям, так как они стоят выше всего этого и свободны от греха. Беггарды заявляли, что для человека, оказавшегося в бездне Божества, исчезает различие между ним и Богом. Он становится безгрешным и достигает высшей духовной свободы. В этом состоянии для него нет надобности не только в трудах, посте и воздержании, но даже в молитве.

Все эти еретические секты отвергали церковную и социальную иерархию, для них не существовало ни общепризнанных нравственных норм, ни государственных законов. Они сами присваивали звания священников и диаконов и учили, не имея епископского рукоположения.

Беггарды проповедовали, что не следует повиноваться ни епископу, ни папе в чем-либо противном совести, заявляя, что они Святым Духом освобождены от повиновения Церкви и не связаны ни канонами, ни запрещениями, как совершенные и святые. Одежда их походила на монашескую. Бродили беггарды гуськом, по два и по три, подобно журавлям, так что всегда одни предшествовали, а другие следовали по одной линии. Подарками и лестью они завлекали к себе детей. Среди них много было мужчин, оставивших свои семьи, монахов, не захотевших подчиняться монастырской дисциплине, развратниц, воров и убийц. Некоторые беггарды молились нагими. Проповедуя общность имущества, то бишь социализм, они одобряли воровство- Их взгляды на брак и семью тоже весьма своеобразны. Так же как и некоторые революционеры у нас, они недалеко были от идеи обобществления жен. Чешские беггарды-адамиты считали супружество грехом и отдавали предпочтение свободным половым связям.

К богомилам и беггардам примыкали итальянские саккаты, то есть «одетые в мешки». Я не уверен, что их одеяние полностью совпадало с вашим, но сходство, вероятно, есть. Кстати говоря, они тоже ходили босиком, но в Италии в этом отношении полегче.

Не хотел бы упустить одну немаловажную деталь: беггарды делили время на три эпохи, или зона: Отца, Сына и Святого Духа. Таким образом, Новый Завет, так же как и Ветхий, оказывался для них пройденным этапом и утрачивал силу в свободе Духа.

Однако и Дух Святой не являлся для еретиков Богом в полном смысле слова. Он нужен был им как источник энергии, похитив которую, они могли бы действовать, как им заблагорассудится. Объявляя себя носителями божественной сущности, беггарды заявляли: «Бог ничего не знает, не хочет и не может без нас. Чтобы осознать и занять подобающее нам место в мире, необходимо устранить все существующие формы, отношения, образы, отказаться от познания и любви, следуя при этом нашим естественным побуждениям, вытекающим из человеческой природы, ибо она тождественна природе Божественной». Сказано ясно и откровенно: «Бог нам не нужен. Мы сами боги». Не тот ли это вызов, который бросил Творцу Люцифер? Вот почему идеи и образ жизни мессалиан, богомилов, катаров, беггардов, саккатов и так далее столь тесно переплетаются с учением и действиями люцифериан, которые открыто провозгласили Люцифера своим высшим отцом. Веря в его грядущую победу над Богом и небесной ангельской ратью, они спешили угодить ему, сознательно одобряя совершение любых грехов и преступлений: воровства, убийств, оргий, кровосмесительства. Возникла зазеркальная мораль как антитеза христианской нравственности, зазеркальный кодекс поведения, зазеркальные обряды с «черной мессой», пародией на Божественную литургию.

Любопытно, что наши ученые мужи охотно берут под защиту средневековые еретические учения, находя в этом лишний повод обвинить во всех смертных грехах Католическую Церковь и ее инквизицию. Но такое пристрастие имеет, видимо, более глубокую основу. Стоит только вспомнить, какое гипнотизирующее воздействие оказывало на российских революционеров черное сияние Люцифера! Я имею в виду Бакунина и некоторых ближайших сподвижников Ленина, например, Богданова и Луначарского, во всяком случае тех, кто открыто признавался в этом.

По мере того как я говорил, лицо Владислава Ефимовича мрачнело. Но он не прервал меня и не стал вступать со мною в полемику, когда я завершил свой рассказ. Сохраняя внешнее спокойствие, он лишь сказал:

— От себя лично и от имени членов нашего братства благодарю вас за интересную лекцию. Честно говоря, я рассчитывал услышать больше об исихазме, но теперь вижу, что ваши познания в истории средневековой религиозной мысли намного шире. Большое впечатление производит ваше умение предельно ясно излагать свои мысли. У меня не возникло ни одного вопроса. Очень важно, когда позиции четко определены.

Все это Владислав Ефимович произнес размеренно, спокойно, на одной ноте, тщательно выговаривая каждое слово. Может быть, лишь последняя фраза прозвучала чуть более жестко, чем предыдущие, и во взгляде его появился стальной отблеск. Но для меня этого было достаточно. Мы поняли друг друга, поняли, что между нами не может быть компромисса.

Не знаю, на что рассчитывал Владислав Ефимович, приглашая меня в свое «убежище». Вероятно, мои рассуждения о личностном характере взаимоотношений человека с Богом и миссии Третьей Ипостаси в божественном домостроительстве, односторонне истолкованные, внушили ему надежду, что в моем лице он может найти единомышленника, стоит только слегка подтолкнуть меня, вывести из состояния, как ему казалось, неустойчивого антиномийного равновесия, побудить сделать выбор между

«свободой Духа» и отторгшей меня иерархической структурой. И вот тут он совершил глубокую ошибку мировоззренческого плана. Антиномийное равновесие оказалось более устойчивым, чем он предполагал, более надежным, чем выбор одного-единственного решения и заикленность на нем. Попытка склонить меня к «выбору» — а ведь это слово по-гречески звучит как «хайресис», «ересь»! — была обречена на неудачу.

Владислав Ефимович встал, и тут же поднялись остальные члены братства Святого Духа. Не попрощавшись со мной, гуськом, низко опустив головы, покрытые капюшонами, они стали выходить из зала. Но один человек из проходивших мимо взглянул мне в глаза не смиренно, как полагалось, не потупив взор, а с откровенной, нагловатой усмешкой, которую я не мог не узнать. Это была Елизавета Ивановна. Встреча с нею, конечно, поразила меня и заставила посмотреть на катакомбную братию под новым углом зрения. «А почему бы и нет? — подумал я. — Все сходится. Почему не допустить, что где-то рядом, в соседней комнате например, в «святая святых», восседает Валентин Кузьмич, который и управляет всем этим маскарадом?

Из зала вышли все, за исключением Владислава Ефимовича.

— Так что же будем делать, отец Иоанн? — спросил он.

— Что вы предлагаете?

— Наилучшим выходом из положения был бы Ваш отъезд из Сарска. Но ведь добровольно вы не уедете отсюда, даже в Москву, даже в Троице-Сергиеву лавру?

— Нет.

— Ну вот, видите... Надо принимать какое-то решение...

— Делать выбор?

— Да, делать выбор.

— Ну, это уже по вашей части. Я выбора не делаю.

— Я понял это. Хочу надеяться, что о посещении нашего убежища...

— Если речь идет обо мне, можете не беспокоиться. Но утечка информации может произойти с другой стороны.

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду Елизавету Ивановну.

— А-а-а... Нет, тут все в порядке. Мы вполне доверяем ей. Она пришла к нам с хорошей рекомендацией.

— От Валентина Кузьмича?

— Ну а если б даже от Валентина Кузьмича?

— В таком случае ей действительно можно доверять. Непонятно только, от кого и зачем вы скрываетесь.

— Неужели не понятно?

— Теперь понятно, Владислав Ефимович.

— Легко с вами разговаривать, отец Иоанн, только вот договориться, к сожалению, невозможно, к большому моему сожалению...

## 17 февраля

Как же быстро бежит время! Прошли Рождество, Крещение, Сретение, началась Масленица. Скоро Великий Пост. Господи, Господи, продли дни живота моего! Позволь дожить до великого дня и отслужить пасхальную службу в возрожденном соборе!

Иконостас храма полностью восстановлен. У меня нет слов, чтобы выразить восхищение работой Николая. Арсений Елагин завершил свою работу над фреской сошествия во ад. Перед изумленным народом предстало удивительное изображение. Мятущаяся, грешная, кающаяся душа Арсения нашла свое выражение в экспрессивных движениях и конвульсиях страдающих грешников. Это вопль покаяния за грехи и преступления, совершенные всеми нами за тысячелетнюю историю, за Иудин грех и богоборчество последних десятилетий. Одна деталь в работе Арсения обращала на себя особое внимание. На фреске был представлен Валентин Кузьмич, и не как-нибудь, а в облике беса! Портретное сходство было очевидно: «маленький, плюгавенький, один глаз меньше другого». Неожиданностью для меня явился еще один сюжет. В сонме грешников оказались фигуры в серых балахонах с куколями. На мой вопрос, кто они, Арсений ответил:

— Ей-богу, не знаю. В каком-то озарении увидел их и написал, не мудрствуя лукаво. Вот, оказывается, как бывает!

Потом искусствоведы будут ломать голову: кого изобразил художник и что имел в виду? А он просто писал, не мудрствуя лукаво, сам не ведая, что творит.

— Ладно, оставим это, — сказал я, — а вот Валентин Кузьмич как оказался на фреске?

— Тут другое дело. Валентина Кузьмича я сознательно увековечил. Вначале, правда, думал опустить его в котел с кипящей смолой, но потом решил, что это для него то же самое, что прохладная водичка. Валентин Кузьмич не грешник, а воплощенное зло.

Появление в храме новой фрески наделало много шума в городе. Толпы людей приходили, чтобы специально посмотреть на нее. Они внимательно разглядывали изображенные фигуры и помимо Валентина Кузьмича находили немало знакомых лиц из числа городских сановников. Арсений Елагин не имел возможности, да и не был в состоянии по своему душевному складу мстить кому-либо за обиды, но по праву, данному Богом художнику-творцу, он воздал должное грешникам, осудив их на вечные муки в ином мире.

Реакция со стороны низвергнутых во ад последовала мгновенно. Я получил несколько писем с угрозами. Нет сомнений, что это дело рук Валентина Кузьмича и конечно же «братьев Святого Духа». Почерк последних слишком заметен. В городе распространяются листовки с резкими выпадами в адрес патриархии. В них сообщается, что я направлен в Сарск безбожным епископатом, чтобы задушить здесь всякую свободную религиозную жизнь. Парадоксальным образом я оказываюсь одновременно агентом Ватикана, криптокатоликом. В листовках утверждается, что православные священники не служат литургии одни, без участия по крайней мере чтеца. Действительно, у православных это не принято, но есть же экстремальные ситуации... Во всяком случае ясно одно — профан, не знакомый с богослужебной практикой, подобного написать не мог. Похоже, к листовке приложил руку Владислав Ефимович. А может быть, и сам

Валентин Кузьмич? Не говорил ли мне Георгий Петрович, что он знает службу, как афонский монах?

## *17 марта*

Наступил Великий Пост. Вчера было Прощеное воскресенье. Совершался трогательный обряд взаимного прощения. Когда-то в этот день египетские пустынноики собирались для совместной молитвы, после которой, испросив друг у друга прощение и благословение, с пением пасхальных стихир расходились для уединенных подвигов в пустыне, чтобы встретиться уже на Страстной неделе.

Сегодня начинается сорокадневный путь к Пасхе Господней, трудный путь соблазнов и искушений. Господи, дай мне силы преодолеть их, остаться верным Тебе до конца, повторить Твой крестный путь до Голгофы, умереть с Тобой и воскреснуть для новой жизни! Осталось сорок дней... Так много и так мало!

На этой седмице Церковь празднует Неделю Православия. Господи, прости меня за кощунство! Можно ли в наши дни говорить о торжестве православной веры? Можно! Можно вопреки очевидным фактам, вопреки всему. Да, совершаются гонения, преследуется Слово Божие. Но диавол уже не всемогущ на этой грешной земле. Он изощрается в уловках, клеветает, хитрит, суетится, однако сокрушить православную веру не может! Здесь, в несчастной, истерзанной России он потерпел сокрушительное поражение. Об этом я буду говорить в своих проповедях всю неделю, может быть, не столь резко, но так, чтобы верующие вполне осознали, что торжество Православия относится не только к прошлому и будущему, оно совершается уже сейчас!

В первую неделю Великого Поста я всегда исповедовался в лавре у отца Кирилла. Сейчас я оказался в сложном положении. Ехать в лавру далеко, да и покинуть епархию без согласия правящего архиерея не положено; рассчитывать же на его благословение по многим причинам не приходится. Но не идти же мне, в самом деле, на исповедь к епархиальному секретарю, отцу Иннокентию! Я стал расспрашивать о настоятелях других приходов в епархии.

— Недалеко от Сарска, — сказал Георгий Петрович, — есть село Зюзино. Там настоятельством отец Никита, ему восьмой десяток идет. Достойный священник! В Зюзине был великолепный пятиглавый Спасский собор, но в тридцатые годы его разрушили. В сараюшке около собора отец Никита устроил церковь во имя Спаса Нерукотворного и вот уже тридцать лет своими руками восстанавливает из руин большой каменный собор. Где-то достает материалы, сам месит раствор и кладет кирпичик за кирпичиком. Местное начальство сначала смеялось над ним: не безумие ли это — одному человеку восстановить каменную громадину, которую за много верст видно было?! Прошел год, второй, третий, и стены собора стали подниматься. Объявились добровольцы, готовые безвозмездно помогать настоятелю. Тогда начальство всполошилось — не дай бог, действительно собор построят! Стали препоны чинить. Говорят, нельзя без чертежей строить. Добрые люди помогли — откопали где-то в архиве чертежи собора. Новое препятствие выдумали: что он в чертежах смыслит? Смыслит, оказывается! А где диплом инженера-строителя? Без диплома только разрушать можно. Ишь как заговорили! Нашелся, однако, помощник с дипломом. После этого отцу Никите просто запретили строить без всяких объяснений. Он с властью никогда не спорит — нельзя так нельзя, а сам тайком все равно хоть десяток кирпичей в день да положит! За тридцать лет много начальства сменилось: одни всеми путями мешали ему (некоторые судом грозили), другие смотрели на его строительство сквозь пальцы. Церковные власти относились к его затее также неоднозначно. Что касается нынешнего архиепископа, то он, говорят, якобы даже деньгами помогает. И вот тридцати лет не прошло, а собор уже под своды подведен. Как вам батюшка Никита? — То, что надо, Георгий Петрович!





## 21 марта

Сегодня после службы ко мне подошел Георгий Петрович и спросил:

— Помните, когда в последний раз к нам приходили «святодуховцы», с ними был мальчик?

— Алеша Уваров.

— Правильно, Алеша Уваров. Так вот, его нашли убитым. Ходят слухи — ритуальное убийство. Уверен, это их дело, «святодуховцев». Страшные люди! Будьте осторожны, отец Иоанн. Вы у них как бельмо в глазу!

Буквально через два часа после этого разговора Григорий принес мне письмо... письмо от Алеши Уварова! Вот оно:

**Отец Иоанн!**

*Долго не решался Вам написать. Хотел даже прийти на исповедь, но побоялся, не смог. Три раза подходил к храму. Однако каждый раз какая-то темная сила во мне сопротивлялась, не пускала. Видно, погибший я человек, и нет мне спасения.*

*Вы правы, отец Иоанн, абсолютно правы! То, что Вы говорили в нашем капище, совершенная правда! Как четко Вы все разложили по полочкам, как ясно представили нашу родословную! И никто ничего возразить не смог! Все так и есть. После этого какое брожение умов началось! У многих глаза раскрылись. Как же Владислав Ефимович (он же — апостол, учитель!) неистовствовал! А крыть-то нечем! Нечем, батюшка.*

*То место, где Вы были, — истинный вертеп разбойников. Завлекают туда красивыми словами о Боге, о добродетели, о спасении и вечном блаженстве, а в итоге сплошная чертовщина выходит. Вначале, со ссылкой на Евангелие, требуют отречения от всех родных и близких. Принуждают полностью порвать с так называемым внешним миром. Второй этап — отсечение собственной воли, разрушение своего «я» как последней преграды на пути к воссоединению с Богом. Вам следует преисполниться презрением к собственному телу и своим желаниям. Новопосвященных раздевают донага, их насилуют, над ними издеваются с садистской изощренностью. Они обязаны безропотно сносить надругательства и пытки, как будто все это не имеет к ним никакого отношения. Вы знаете, некоторые входят во вкус и начинают получать мазохистское удовлетворение от такой жизни, другие превращаются в безропотных истуканов с разрушенной психикой и подавленной волей, готовых исполнять любые распоряжения «совершенных». С апостатами жестоким образом расправляются. Новопосвященным демонстрируют фотографии и видеозаписи истязаний, чтобы они видели, что их ждет в случае отступничества.*

*Лишь немногие, пройдя сквозь этот ад, достигают ступени «совершенства». Они оказываются на другом полюсе бытия, становятся «богами». Им можно все, абсолютно все! Что бы они ни совершили, свято и совершенно! Им оказываются божеские почести. Пряди их волос и обрезки ногтей считаются святынями. Их мочу хранят в «священных» сосудах.*

*Боже мой, отец Иоанн, но ведь это никакая не свобода! Вседозволенность, за которой скрывается наглая ухмылка дьявола, — не свобода, а рабство!*

*Отец Иоанн, я решился! Конечно же мне страшно. Они постараются расправиться со мной, но так жить я больше не могу! Помолитесь обо мне, грешном.*

*Алексей Уваров*

С самого начала я не строил иллюзий в отношении братства «святодуховцев». Оказавшись в их убежище, я хотел предостеречь несчастных заблудших людей от опасности, показать на исторических примерах, во что вырождаются ереси. Но мне и в голову не приходило, что в Сарске возникла сатанинская секта в самой уродливой и зловещей форме. Это был вызов не только православной вере, но и общественным нравственным устоям, каким бы ни было государственное устройство. И тем не менее, как это ни парадоксально, государство было на стороне преступной секты в борьбе против законопослушной и лояльной по отношению к нему Церкви. Объяснение могло быть только одно: и преступная секта, и государство имеют одну природу, правящий режим сам преступен и незаконен.

Наивно было бы полагать, что мое обращение к властям с письмом Алеши Уварова даст какие-либо результаты. Письмо замусолят и потеряют. Власти (во всяком случае Валентин Кузьмич) наверняка прекрасно осведомлены о том, что творится в секте. Поэтому, приглашая меня в свой вертеп, Владислав Ефимович, собственно говоря, ничем не рисковал. Правда, у меня есть еще одна возможность, которую мои оппоненты, по-видимому, не принимают всерьез. Я могу публично разоблачить преступников. И этот ход скорее всего ни к чему бы не привел (его представили бы как примитивное сведение счетов с конкурентами), если бы не письмо Алеши, о котором они, должно быть, не знают. Предав его гласности, я нанес бы им сокрушительный удар. С чем это связано для меня, лучше не думать. Вряд ли они удержатся от того, чтобы свести со мной счеты.

## *23 марта*

После долгого отсутствия в храме появился Андрей Иванович Корягин.

— На ловца и зверь бежит, — сказал я. — Вы не могли бы помочь мне?

— Я весь в вашем распоряжении.

— Вместе с автомобилем?

— Конечно, ведь это все, что у меня осталось.

— Если не возражаете, поговорим по дороге. Мне нужно съездить в Зюзино и вернуться к вечерней службе.

Мы сели в машину. По дороге Андрей Иванович рассказал мне обо всем, что произошло с ним за последние месяцы.

— Наша встреча, отец Иоанн, бесповоротно изменила мою жизнь. Вы знаете, что я сделал после возвращения из Речицы?

— Вышли из правления Союза писателей.

— Правильно. Ушел со всех постов в писательском министерстве. Отказался от казенной дачи в Переделкине. Перевел свою личную «Ясную Поляну» и квартиру в Москве на имя жены, после чего она тут же оформила со мной развод. Остался я с одним автомобилем, на котором и переехал в Сарский район, но не в свое родное село Речицу, а в деревню, где меня никто не знает, и устроился на работу в школу учителем словесности. Ну как?

— Хорошее начало, Андрей Иванович.

— Вы считаете, что это начало?

— Не сомневаюсь.

— Мне сейчас удивительно легко. Я словно помолодел на двадцать лет. До этого меня мучили головные боли и бессонница. Давление зашкаливало за двести. Одышка мешала подняться по лестнице выше третьего этажа. Куда все подевалось! Я даже стал заглядываться на женщин! Господь подарил мне вторую жизнь, ибо первая уже закончилась, она потеряла смысл и зашла в тупик. Духовно я умер, да и физически, кажется, начал разлагаться. Прогнившая ниточка неизбежно где-нибудь оборвалась бы: инфаркт, инсульт, рак желудка или печени, просто воспаление легких. И вдруг все сначала! Мне дан шанс, не знаю за что. Может быть, по вашим молитвам... Сейчас я решил поработать сельским учителем. Мне нравится работать с детьми. И все же где-то подспудно, в душе остается сокровенная мысль, тайное желание...

— Написать книгу?

— Да, отец Иоанн. Не ведаю еще, о чем она будет и будет ли. Я только молюсь о даровании мне силы духа.

Незаметно мы доехали до Зюзина. Еще издали показалось сводчатое здание собора с остовом центрального купола. Вблизи храм поражал своей монументальностью, и трудно было поверить, что один человек даже с десятком помощников, даже в течение тридцати лет мог воздвигнуть эти капитальные стены.

Около собора находилось несколько дощатых строений. Над одним из них возвышался невысокий шатровый купол с крестом. Здесь размещался действующий храм. Мы направились туда.

Храм был малюсенький, с низкой алтарной перегородкой, но иконы были великолепны. На скамеечке возле солеи сидел старенький священник в сером поношенном подряснике и читал поминальные записки. При моем появлении он встал, окинул меня настороженным взглядом, но потом вдруг сразу успокоился.

Мы поприветствовали друг друга и расцеловались.

— Откуда вы, батюшка? — спросил старичок священник.

— Из Сарска. Настоятель Преображенского собора иеромонах Иоанн.

На лице старичка появилась приветливая улыбка.

— Слышал, слышал... Какими судьбами в наши края?

— Хотел посетить ваш храм, помолиться с вами и исповедаться.

— Неужто лучше и достойнее никого не нашли?

— Да как сказать... Не к отцу же Иннокентию в епархию ехать...

— Да, да, да... Вы правы, конечно. Ну что ж, идемте в алтарь.

Мы вошли в алтарь и приложились к престолу.

— Тесновато у нас, — сказал отец Никита, — но ничего, есть где помолиться. А даст Бог, восстановим собор. Сто лет простоял он. Только попустил Господь за грехи наши разрушить его. Искупать грехи теперь нужно, с самого начала все начинать. Приехал я в Зюзино молодым священником в сороковые годы, сразу после войны. Тогда послабление нам от властей вышло. Говорю: «Хочу собор восстановить». Смотрят, как на сумасшедшего, смеются: «Восстанавливай!» Ну, я и начал восстанавливать. Епископ много помогал. Но вначале я этот временный храм построил, тоже во имя Спаса Нерукотворного. Все иконы из собора, которые спрятать и спасти удалось, люди мне принесли. Здесь только малая часть. Вот восстановим собор, все туда перенесем.

— Сколько же времени для этого нужно?

— Думаю, лет пять — семь. А там как Бог даст. Где ж мне было предвидеть, когда начинались работы, что епископа через два года на новую кафедру переведут, а новый прекратит всякую помощь. Потом, когда снова гонения начались, и этот храм чуть не закрыли. Пришлось тогда сидеть тише воды, ниже травы. Сейчас, слава Богу, полегче. Но диавол хитер, батюшка. Нельзя нам расслабляться. Слышал я о том, что вам претерпевать приходится. Много об этом разговоров идет. Сарск — не Зюзино. Он, может, и

кафедрального города поважней. Есть предание у нас, что именно в нем диавол посрамлен будет. Так что, батюшка, крепитесь!

Отец Никита провел нас с Андреем Ивановичем в собор, и я еще раз поразился масштабам его работ. Разве может с этим сравниться то, что сделано мною в Сарске! Настоятель прихода познакомил меня со своим хозяйством: аккуратно сложенный и хорошо укрытый кирпич, лес, запасы цемента, извести, жести и бог знает чего еще, столярная мастерская, бетономешалка. Помимо настоятельского дома здесь же стояли четыре дощатых утепленных домика для паломников, добровольных строителей храма, приезжающих сюда из разных уголков России.

Настало время обеда. Мы прошли в трапезную, располагавшуюся в одном из деревянных домиков. Там, посередине просторной комнаты, стоял длинный стол. За ним уже сидело человек двадцать мужчин и женщин. Были и дети. К трапезе они не приступали — ждали настоятеля. Когда мы вошли, все встало. Отец Никита прочитал молитву и попросил меня благословить трапезу. Обедали молча, как в монастыре. Назначенный чтец за аналоем читал из житий святых.

На стенах трапезной кроме икон висели дореволюционные фотографии Спасского собора и рисунки, изображавшие его интерьер. Фотографии запечатлели различные фазы восстановительных работ и прекрасные просветленные лица людей, восстанавливавших собор.

После обеда отец Никита вынужден был оставить меня — нужно было решить какие-то неотложные хозяйственные вопросы, — а я пошел в храм. Встав на колени в алтаре, я погрузился в безмолвную молитву. Время исчезло, и в удивительном состоянии выхода из окружающей действительности передо мною вдруг предстала сжатая в единое мгновение вся моя жизнь. Я увидел склонившееся надо мной улыбающееся лицо матери и понял, что это видение из младенчества. Потом возникла выжженная солнцем степь. Ветряная мельница. Грунтовая дорога. Я ощутил, как ступаю по ней босыми ногами, обжигая их в раскаленной пыли. Но вот другая картина. Вокруг меня напоенная солнцем вода. Ее золотистая кромка уходит вверх. Состояние невесомости и необычайного спокойствия. Откуда-то, словно из другого мира, доносятся веселые крики и визг детей. И тут страх пронзает меня. Я начинаю делать судорожные движения руками и ногами. И всплываю вверх. Господи, как же давно это было! Мой первый опыт встречи со смертью, оставившей впечатление светлого сияния, невесомости и безмятежности. Чувство тяжести, боль и страх — достояние жизни. Это я понял еще ребенком.

Картины и видения сменяли друг друга, как в калейдоскопе. Вот разноцветными огнями заискрились небесные светила. В стремительном полете небо рассклала блуждающая звезда. На вершине горы в белом жреческом одеянии возникла микроскопическая фигурка Лады. Роковое мгновение встречи с Наташей. Блаженство и отчаяние от невозможности соединения несоединимого. Шум крыльев и оглушительный мерзкий крик взмывших в небо ворон. Лавра и мое пострижение в монахи. Бессонная ночь в Троицком храме. Мерцание лампадок и свечей перед ликами святых и явственно зримое золотистое сияние, исходящее от мощей преподобного Сергия. Еще одна бессонная ночь и первая литургия, совершенная мною в Сарском Преображенском соборе. И вдруг Крест. Некто, Кого распинают на нем. Венец то ли из терновника, то ли из колючей проволоки. Стук молотка, забивающего гвозди в живую плоть. Я, наблюдающий это страшное зрелище со стороны, чувствую пульсирующую боль в ладонях и ступнях. Голова горит. Но неожиданно боль проходит. Жуткое видение исчезает. Ощущение полета и невыразимой радости.

И тут я вернулся к реальности. В алтарь вошел отец Никита. Он с удивлением посмотрел на меня и в нерешительности остановился.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

— Нет, нет, ничего.

— Тогда, может быть, начнем?

— Начнем, батюшка.

Отец Никита прочитал молитвы, и я начал свою исповедь. Я исповедовался за всю жизнь, за все грехи, которые уже отпускались мне, как исповедуются люди, готовые предстать перед Судом Всевышнего. Я каялся в своем грехопадении на острове Ариерон, винил себя за то, что недостаточно любил Христа и, ослепленный сиянием Третьей Ипостаси, не почитал в должной мере Единосущную и Нераздельную Святую Троицу. Господь предостерег меня от падения в бездну, и тем не менее грехи и преступления свято-духовцев лежат на мне. Я говорил о том, как страшно мне решиться на тот единственный шаг, которым я могу искупить свою вину и остановить распространение ереси, не допустить совершения новых жутких преступлений.

— Да, да, да... — говорил отец Никита. Простой деревенский священник, он, должно быть, не понимал всех богословских тонкостей моих рассуждений о троичном догмате, однако твердо знал, что ставить под сомнение единство Троицы нельзя. О ереси святодуховцев он слышал, но, так же как и я, не мог предположить, что они дошли до такого изуверства. Не нужно было убеждать его в том, как важно сдержать распространение этой ереси. Но, как здравомыслящий человек, твердо стоящий на земле, он, конечно, понимал, чем мне это грозит.

— Батюшка, — сказал он, прочитав разрешительные молитвы, — вы умнее и образованнее меня. Что я могу посоветовать? Молиться! Но это ведь и без меня известно. Властью, мне данной от Бога, разрешаю вас от грехов ваших. А в остальном да поможет вам Господь.

## **27 апреля**

Вчера, в канун Вербного воскресенья, в Сарск прибыл архиепископ. Почти всю службу он находился в алтаре — вышел лишь на полиелей. Во время чтения канона мы обменялись с ним несколькими словами.

— Как тут у вас дела?

— Слава Богу, владыка.

— С Валентином Кузьмичом виделись?

— Нет.

— Плохо.

— Не идти же к нему на поклон!

— Нет конечно. Но то, что он сам не проявляет инициативы, дурной признак. Вот что, отец Иоанн, как вы смотрите на то, чтобы завтра нам рукоположить отца Петра во иерея, а его брата Андрея — во диакона?

— Мудрое решение.

— Тогда пишите прошение задним числом и готовьте их. Ответственный момент наступает. Трещит системка! Думаю, развалится сразу, в одно мгновение. Но легче нам не будет, отец Иоанн. Новые проблемы возникнут. Инославие, ереси. Нужны новые кадры священнослужителей, образованные, с высоким интеллектом, не скомпрометировавшие себя компромиссами. Такие, как вы. Необходимо готовиться к созданию школ. Так вот, отец Иоанн, я решил: после Пасхи вы перебираетесь ко мне. Вашего мнения я уже не спрашиваю. Такова моя воля. Здесь вам оставаться небезопасно. Вы нужны Церкви, и мы обязаны сохранить вас.

Поскольку архиепископ заговорил о ересях, я хотел было рассказать ему о святодуховцах и своем решении публично раскрыть совершенное ими преступление, но удержался. Можно было не сомневаться в том, что он запретит мне это сделать.

Сегодня во время литургии архиепископ рукоположил обоих братьев: Петра — во священника, Андрея — во диакона.

## *30 апреля*

Позавчера в Страстной понедельник я рассказал верующим о ереси святодуховцев и зачитал письмо Алеши. Моему рассказу сопутствовало гробовое молчание. Затем тишину храма нарушил гул негодования. Верующие разошлись, возбужденно обсуждая жуткое сообщение. Что-то теперь будет.

Реакция последовала незамедлительно. Часа через три ко мне явился запыхавшийся Юрий Петрович.

— В городе брожение, — заявил он, — распространяются самые невероятные слухи об убийстве мальчика и какойто преступной секте. При этом ссылаются на вас. Вы можете мне объяснить, что произошло?

— Могу.

Пришлось рассказать Юрию Петровичу все от начала до конца, и, по мере того как я рассказывал, лицо его мрачнело.

— Да, дело серьезнее, чем я думал. Главное — Валентин Кузьмич наверняка тут замешан. Нет сомнений, что он имеет в секте своих людей и, вероятно, дергает за веревочки. А может быть, и сам в их радениях участие принимает. Где письмо Алеши? Можно прочитать его?

Я дал ему письмо. Юрий Петрович долго и внимательно читал, потом сказал:

— Страшный, разоблачительный документ! Не отнести ли вам его в прокуратуру?

— Чтобы там его положили под сукно или даже потеряли?

— Это маловероятно.

— Учитывая заинтересованность Валентина Кузьмича?

— Если учитывать его заинтересованность в этом деле, то конечно... Тогда вам нужно хорошо припрятать письмо или отдать на хранение в чьи-нибудь надежные руки. И вообще следует подумать о мерах предосторожности. Я обратил внимание на ваши замки. К ним, по-моему, подходит любой ключ, и гвоздем их открыть ничего не стоит. Хотите я принесу вам настоящие замки, сделанные по спецзаказу?

— Я был бы вам очень признателен.

Через час Юрий Петрович вернулся со спецзамками, которые Василий тут же приспособил к дверям храма и входным воротам.





Укоряя себя на исповеди в недостаточной любви ко Христу, я, наверно, все-таки преувеличивал. Начиная с минувшего Рождества я ощущаю особую близость к Нему. Во время рождественской службы перед моими глазами почему-то постоянно стояла одна редкая икона греческого письма, на которой только что родившийся Божественный Младенец возлежал в колыбельке, устроенной из камней и напоминающей скорее жертвенник. Как никогда раньше, взволновала меня таинственная связь светлого праздника Рождества Христова со скорбными днями Страстной недели. Я ждал ее с необыкновенным волнением, с предчувствием того, что в эти дни должно произойти нечто исключительно важное для меня, замыкающее еще один цикл моей жизни. Теперь, когда архиепископ объявил мне о своем решении, стало ясно, что настала последняя неделя моего служения в Сарском Преображенском соборе. Не знаю, что будет дальше. Думаю, однако, что прошедший год — вершина, кульминация моей жизни. Выше я уже не поднимусь.

Архиепископ верно говорил о новых проблемах, встающих перед Церковью. Но, кажется, решать их не придется уже ни мне, ни ему. Придут другие люди. Что же касается меня, то я, по-моему, сгорел... Полностью, дотла. Свою миссию я выполнил и могу спокойно оставить храм Петру. На него можно положиться. Он, как скала, которую не сдвинуть с места. Валентину Кузьмичу Петр не по зубам. Медленно, но верно он будет продолжать начатое мною дело.



Сегодня же замкнулся еще один круг. Поздно вечером ко мне прибежала Наташа, растрепанная, страшная, вся в слезах. Она упала передо мной на колени.

— Отец Иоанн, спаси его!

— Кого?

— Моего сына, Сереженьку, он умирает.

— Что с ним? Ты приглашала врачей?

— Они ничего не знают. Они тут бессильны. Спасти моего мальчика можешь только ты.

— Почему ты так думаешь?

— Тут действует Лада.

— Кто?

— Лада. На Святки я видела сон. Страшный сон! Мне приснилась Лада. В короне, украшенной драгоценными камнями. Но оправа для одного камня в центре короны была пуста. Лицо Лады было искажено от злости. Она кричала и топала ногами. Ей не хватало одного камня в короне, чтобы ее провозгласили царицей духов.

— Но какое отношение этот сон имеет к твоему ребенку?

— Самое прямое. Каждый камень в ее короне — чья-нибудь погубленная душа. Чтобы подняться на высшую ступень в иерархии темных сил, ей нужно еще кого-нибудь погубить. Два дня назад я пришла за сыном в детский сад и около ограды увидела Ладу. Она наблюдала за Сереженькой. Сердце мое сжалось. Я окликнула ее. Она усмехнулась и быстрыми шагами пошла прочь.

— Может быть, ты обозналась?

— Это она! Мне ли ее не узнать! Она сейчас в Сарске. И приехала сюда не случайно. Да, да! Когда я привела Сереженьку домой, лицо его побелело. У него начались судороги. Он уже сутки без сознания. Помогите мне, отец Иоанн! Только ты можешь вымолить у Бога исцеление для моего мальчика, даже если все предопределено. Лада бессильна перед волей Божией. Прошу тебя, идем, скорее, скорее! Пока он не умер!

Я взял требник, и мы бегом устремились к квартире Наташи. В комнате с больным ребенком находился Вадим. При моем появлении он смутился, чуть заметно кивнул мне и тут же вышел.

Мальчик был почти бездыханен. Пульс едва прослушивался. Господи, что делать? Я никогда не занимался экзорцизмом. На все случаи в жизни у меня было только одно средство — молитва. И я обратился к Богу с молитвой, попытавшись вложить в нее всю душу, всего себя без остатка. «Господи, — безмолвно говорил я, — возьми мою жизнь,

только не дай умереть этому невинному ребенку, прости грехи его матери и отступничество отца. Их прегрешения я готов взять на себя, искупить любыми муками. Боже милостивый! Боже милостивый!»

Не знаю, сколько прошло времени. Я словно растворился в молитве. Была только молитва и светоносная теплота, нисходящая свыше. Я пришел в себя от возгласа Наташи.

— Отец Иоанн! Отец Иоанн!

Я взглянул на мальчика и только тут заметил, что лицо его покраснело. Он слегка застонал, стал метаться в постели, затем забился в конвульсиях. Наташа пыталась удержать его, чтобы он не упал на пол, но не могла совладать с той неимоверной силой, которая извивала и сотрясала худенькое тельце ребенка. И вдруг истошный крик вырвался из его рта, а вместе с ним исторгся огромный комок зловонной мокроты. Наташа умыла мальчика. Я перекрестил его, и он сразу успокоился. Пунцовая краснота сошла с его лица, остался только легкий румянец, дыхание стало ровным и спокойным.

— Не уходи, посиди еще немного, — попросила меня Наташа.

Мы сели около ребенка. Наташа положила голову на постель и, как мне показалось, заснула. Неожиданно она встрепенулась:

— Отец Иоанн! Я видела Ладугу. Она была довольной и веселой. В руке у нее был очень большой драгоценный камень. Сейчас для него готовят новую оправу. Это не Сереженька. Ты спас его. Но она получила взамен другую жертву. Что же мне делать?

— Благодарить Бога за сына и молиться за себя и других.

— Я хочу, чтобы ты крестил Сережу. Сегодня ночью. Сейчас.

— Кто же будет восприемником?

— Бог. Я посвящаю ему мальчика. Я даю обет — он будет священником и, если пожелает Господь, монахом.

— Хорошо. Приготовь ванночку, а я схожу за крестильными принадлежностями.

Дорога в храм и обратно не заняла много времени. Квартира Наташи находилась недалеко от Соборной площади. Когда я вернулся, Сережа сидел на кровати и как ни в чем не бывало разговаривал с мамой.

— Видите, какие мы! — с сияющими от радости глазами воскликнула Наташа.

— А я этого дядю где-то уже видел, — сказал Сережа и улыбнулся.

Во время крещения он был удивительно серьезен. И, глядя на него, в который раз я убеждался в том, что религиозное чувство является прирожденным, что детям оно особенно свойственно и лишь наши грехи притупляют и убивают в нас этот великий дар Божий.

— Я очень прошу, — обратилась ко мне Наташа, — наречь моего сына Иоанном.

— Да будет так, — сказал я.

После завершения таинства Серезу-Иоанна уложили в постель, а мы с Наташей вышли на балкон.

Была безлунная звездная ночь. Город спал, погруженный в темноту. Лишь кое-где мерцали редкие фонари, и трудно было понять: фонари ли это или опустившиеся на землю звезды.

Так же как и десять лет назад, я стоял рядом с Наташей и глядел в ночное небо. И, приветствуя нас, опять запульсировали загадочные, бесконечно далекие и все же достигаемые небесные светила. И вдруг разом показались четыре блуждающие звезды. Они летели рядом в одном направлении, с востока на запад. На какой-то миг они замерли над нами, а затем устремились в разные стороны, вычерчивая в небе гигантский крест.

— Вот он, Голгофский Крест! — с ужасом прошептала Наташа. — Ты помнишь, что говорила Лада? Он предвещает крестные муки.

— Ныне Страстная неделя.

— Нет, нет, я боюсь другого. Ты можешь сегодня заночевать здесь?

— Я должен вернуться в храм. Мне нужно подготовиться к службе.

— Господи, почему все так получилось? Почему я, любившая в жизни тебя одного, должна жить с нелюбимым человеком, жить отражением единственного мгновения, связавшего мою судьбу с твоею?

— Неужели это не ясно, Наташа? Есть мера человеческих желаний, а у Господа свои планы. И разве была бы ты счастлива со мною здесь, на земле?

— Так в чем же тогда смысл нашей первой встречи и встречи нынешней?

— Первая встреча решила нашу с тобой судьбу, решила так, как угодно было Господу. Вторая встреча принадлежит уже не нам. Она решила судьбу твоего сына.

— Нашего сына, отец Иоанн! Ты его духовный отец. Я хочу, чтобы он был похож на тебя. И он похож на тебя, как это ни парадоксально, даже внешне, чертами лица, манерами, интонациями голоса. Видимо, я слишком много думала о тебе и произошло чудо, вопреки законам генетики. Это очевидно не только для меня, но и для Вадима. Во время наших ссор он говорит, что ты похитил у него все, даже ребенка. Но настоящий похититель, самозванец — это он. Я должна была по праву принадлежать тебе, и мой ребенок должен был быть твоим ребенком. Так ведь оно и случилось! Его второе, настоящее рождение состоялось при твоём участии.

— Ну что ж, мне пора, Наташа.

— Благослови меня, отец Иоанн.

Я перекрестил и поцеловал ее, на этот раз не испытыв бросающего в дрожь волнения. Магнетизм Наташи уже не вызывал у меня ответной реакции, не заставлял, как

прежде, пульсировать каждую частицу моей души. Она не пыталась протестовать. Ей все было ясно, так же как и мне. Второй раз я уходил от нее, но теперь уже навсегда.

Чувство сожаления и тоски вызывало у меня лишь расставание с маленьким человеком, безмятежно спавшим в детской кроватке. В нем я оставлял часть самого себя. Наташа права — он мой сын, истинный, настоящий, проявление поразительного торжества духовности над биологизмом. Но дело было не только в этом. Экстремальность ситуации, в которой я оказался, предельно обострила мои ощущения, я словно переступил грань, отделяющую настоящий миг от будущего, и увидел то, что скрыто за завесой времени. Передо мной был избранник Божий, спасенный Господом не только по моей молитве, но и потому, что ему уготована от Бога особая судьба. В нем, в этом мальчике, первая поросль, обновленный генотип возрождаемой России.

Я возвратился в храм. Спать не хотелось — слишком сильны были переживания минувшей ночи. Чтобы снять стресс, я сел за дневник — очень помогает. По мере того как анализируешь свои впечатления, придавая им законченную языковую форму, неизбежно происходит процесс их отчуждения, они начинают свою самостоятельную жизнь, уже независимую от нас. В последнее время я испытываю особую потребность в дневнике. К этому побуждает меня не только эмоциональная насыщенность моей жизни за минувший год, но и возрастающая убежденность в том, что завершается какой-то важный цикл моего духовного и физического бытия. Как змея, я должен сбросить старую кожу или, как бабочка, оставить тесный обременительный кокон.

Два часа просидел над дневником, но обычного успокоения не наступило.

Чувствую — что-то нисходит на меня. Возбуждение нарастает с каждой минутой. Пульс лихорадочный.

Боже, что со мной?!

Свет! Море Света! Как легко в нем! Во мне просыпаются неисчерпаемые силы!

Вижу! Так ясно и отчетливо!

Преображение...

*Председателю Отдела религиозного  
образования и катехизации  
Московского Патриархата  
игумену Иоанну*

*Ваше Высокопреподобие, дорогой отец Иоанн!*

*Недавно, разбирая архиерейскую библиотеку, я обнаружил в ней любопытный документ -Дневник иеромонаха Иоанна Горского. Вы хорошо знали отца Иоанна, и думаю, что его записи Вас заинтересуют.*

*Как Вам известно, он погиб весной 1986 года при загадочных обстоятельствах. По этому поводу ходили самые невероятные слухи, но достоверно никто ничего не знал. Следствие, как и положено в таких случаях, зашло в тупик. И вот обнаружен дневник,*

который на многое проливает свет. Внимательно ознакомившись с ним, я начал собственное расследование.

Что же мне удалось установить? 1 мая 1986 года в Сарском Преображенском соборе было совершено двойное убийство. Были убиты настоятель храма отец Иоанн и церковный сторож Василий. Трупы обнаружил регент хора Георгий Петрович Денисов, который тут же вызвал милицию. Неизвестно, дал ли он какие-либо показания, поскольку его в тот же день поразил инсульт, от которого единственный свидетель, видевший в храме тела убитых, вскоре скончался. В городе говорили, что отец Иоанн якобы был распят на стоявшем в соборе большом Голгофском кресте. Во всяком случае, когда в храм вошли священнослужители (Петр и Андрей), Голгофского креста там не оказалось. Не удивительно ли? Преступники не тронули ни церковной утвари, ни икон, а огромный голгофский крест исчез! Нужно полагать, его увезла милиция вместе с убитыми.

В келье отца Иоанна все было перевернуто вверх дном. Преступники что-то искали. Если не материальные ценности, то что? Дневник дает на это ответ — письмо Алеши Уварова. Может быть, отца Иоанна даже пытали. Письмо оказалось заложенным между страницами дневника, а тот находился под престолом, куда Господь не попустил преступникам заглянуть. Дневник был обнаружен отцом Петром. Он, не читая, передал его бывшему правящему архиерею. Многоопытный архиепископ предпочел не передавать дневник органам правосудия — на это у него были основания, — а надежно упрятал его в своей библиотеке. Тот факт, что ни преступники, ни власти не обнаружили письмо, вызвал и у тех, и у других замешательство. Атмосфера в городе накалилась. Нужно было заметить следы. Святодуховцы исчезли. Как в воду канул и Валентин Кузьмич.

Отца Иоанна и Василия отпевал сам архиепископ. По его распоряжению лицо о.Иоанна было закрыто, как закрывают лица умерших архиереев. Руки также были закрыты. Похоронили его рядом со старцем Варнавой.

В это же время в Сарске произошел еще один трагический случай. На следующий день после смерти отца Иоанна покончил с собой чиновник местного отдела по охране памятников Юрий Петрович Лужин. Дневник проливает какой-то свет и на это самоубийство. Сверхсекретные замки, которые он принес в храм, преступникам взламывать не пришлось. Был ли он двойником, или Валентин Кузьмич использовал его втемную, сейчас уже не определить. Но чувство вины делало для него жизнь невыносимой.

Я пытался разыскать Наташу — уж очень хотелось посмотреть на ее мальчика. Но она и Вадим куда-то уехали из города.

Сарский Преображенский собор ныне в прекрасном состоянии. Раскрыты древние фрески. Реставратор Анатолий Захарович, переселившийся в Сарск и ставший прихожанином собора, пишет о них монографию. Теперь он самая знаменитая личность в городе.

При соборе открыта иконописная школа, где преподают Анатолий Захарович и Арсений Елагин. Коля уехал в один из северных монастырей, говорят, к отцу Зинону.

И еще одна деталь. В тот момент, когда преступники вошли в собор, отец Иоанн работал над иконой Преображения. Все-таки он успел ее завершить! Я видел эту икону.

*Такое можно написать, только увидев своими глазами нетварный Фаворский свет. В городе почитают ее как чудотворную.*

*В ночь, когда было совершено преступление, altarника Григория не оказалось в храме. Накануне отец Иоанн направил его за свечами на склад епархиального управления, откуда он не успел вернуться. Это спасло ему жизнь. Григорий продолжает трудиться altarником. Каждый день его можно видеть на кладбище у могилы отца Иоанна.*

*Прошу Ваших молитв.*

*Священник Григорий Троицкий 9 марта 1991 г.*